О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ
Н.А. Чарушин

О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ



Н.А. Чарушин





Н. А. Чарушин

О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

Из воспоминаний о революционном движении 70-х годов XIX века

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»
МОСКВА · 1973

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Общая редакция и введение
Б. С. ИТЕНБЕРГА

Статья
«К характеристике идеологии «чайковцев»»
и примечания
Ш. М. ЛЕВИНА

Чарушин Н. А.

Ч-20 О далеком прошлом. Из воспоминаний о революционном движении 70-х годов XIX века. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., «Мысль», 1973.

408 с., 1 л. портр.

Автор — активный деятель так называемого кружка «чайковцев», один из пионеров революционной пропаганды среди петербургских рабочих, участник «процесса 193-х». Книга его воспоминаний «О далеком прошлом» (первое издание вышло в 1926 г.) — ценный источник по истории революционного движения в России после реформы 1861 г.

Ч $\frac{0164\text{-}0160}{004(01)\text{-}73}$ 85-73 9(С)16

Н. А. Чарушин и его воспоминания

Николай Аполлонович Чарушин был рядовым участником революционного народнического движения 70-х годов XIX в. Его мемуары — это воспоминания непосредственного исполнителя больших и малых поручений, практика революционного дела. Деятельность Чарушина протекала в суровых условиях пореформенной России, в условиях самодержавного деспотизма, полицейских преследований, гонений всего передового, свободолюбивого, оппозиционного.

Но ничто не могло остановить передовую разночинную молодежь в ее самоотверженных действиях. Расширялось число участников борьбы, формировалось революционное подполье, вырабатывались идейные основы движения. Центральное место в идейных исканиях демократической интеллигенции занимал народ. Нравственная сила, чувство долга перед народом, неистощимое желание помочь угнетенным и обездоленным избавиться от социального гнета и создать гуманное общественное устройство — все это воодушевляло на борьбу. Ее возглавили тогда революционные народники.

Революционные народники были идеологами крестьянской демократии. Они считали, что Россия может миновать капиталистический путь развития и, опираясь на общинный уклад жизни русского крестьянства, непосредственно перейти к социализму. Оценивая деятельность революционных народников, Ленин писал: «*Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни;* отсюда — *вера в возможность крестьянской социалистической революции,* — вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством» [1].

На путь этой борьбы вступил и Н. А. Чарушин. Его приобщение к революции было характерным и для многих его современников. Перед нами мальчик из

---

[1] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 1, стр. 271.

Вятской губернии, из провинциального глухого городка Орлова с патриархальными нравами и обычаями. Обучаться Николай начал у дьячка, затем потекли тусклые дни занятий в приходском и уездном училищах. Перед поступлением в гимназию мальчик лишь овладел грамотой, но книг не читал; был слабо развит.

Таким, собственно, мы и застаем Николая Чарушина в 1862 г., когда он поступил в первый класс Вятской гимназии. Первые годы занятий еще не разбудили гимназиста. Но постепенно жизнь брала свое. Началось с увлечения западноевропейской художественной литературой: Майн Рид, Фенимор Купер, Диккенс, Сервантес, Теккерей. Затем интересы сосредоточились на русских авторах, таких, как Помяловский, Решетников, Гоголь. Перед юным читателем начали раскрываться неприглядные стороны жизни России. Тревожные вопросы обсуждались в гимназических кружках, в личных беседах с товарищами. Особенно сильное влияние оказывала передовая демократическая публицистика. Журнальные статьи Чернышевского, Добролюбова, Писарева, «Положение рабочего класса» Флеровского, «Исторические письма» Лаврова действовали самым радикальным образом.

Беспросветная жизнь как бы уходила в прошлое. Постепенно, но все более сильно пробуждалось желание борьбы с несправедливостью, расширялись умственные горизонты и общественные интересы Чарушина. Начала вырисовываться будущая борьба за освобождение угнетенного народа. Властно охваченные новыми идеями, Чарушин и его гимназические товарищи стремились расширить круг своих единомышленников. Это стремление нашло свое полное осуществление в Петербурге, где в 1871 г. Чарушин стал студентом.

Летом 1871 г. в Петербурге начался открытый судебный процесс над революционной организацией, которую возглавлял Сергей Нечаев, сам скрывшийся за границу. Гласное рассмотрение дела, публикация стенограммы процесса были задуманы с определенной целью. 3 июля управляющий министерством юстиции О. В. Эссен докладывал по этому поводу царю: «Быстрое и подробное печатание отчетов заседаний в Правительственном Вестнике будет иметь, по моему глубокому убеждению, самое благодетельное влияние на

присутствующую публику». Александр II благословил такой ход дела: «Дай бог!» — написал он на докладе [2].

Однако царь и его окружение просчитались. На суде вскрылись причины, породившие недовольство и вызвавшие революционно-демократическое движение. Многие программные документы революционеров сделались достоянием широкого круга читателей. Получилось так, что организованный правительством публичный процесс помог сделать то, чего не в силах были выполнить сами участники движения, — распропагандировать идею необходимости социальной борьбы. И об этом узнала вся Россия.

Узнала и другое. В ноябре 1869 г. Нечаевым был убит в Москве студент Иванов, не согласившийся с методами борьбы руководителя организации. Из опубликованной в газетах стенограммы судебного процесса было видно, какими методами пытался действовать Нечаев (обман и мистификация, шантаж и угрозы, беспринципность и требование бездумного подчинения). Сразу возник вопрос: можно ли следовать призыву Нечаева применять в целях подготовки и развития революции любые средства? Демократическая интеллигенция ответила на этот вопрос определенно отрицательно. Революционная молодежь выступила против иезуитской системы, применявшейся в организации Нечаева, против авантюризма и беспринципности, против фальши и диктаторства в политическом движении. Николай Чарушин в этой связи вспоминал: «Такая организация, где в основе был обман, а во главе стоял генерал, которому безапелляционно должны повиноваться все, и не могла рассчитывать на длительное и продуктивное существование» [3].

«Его теория — цель оправдывает средства — отталкивала нас, а убийство Иванова внушало ужас и отвращение», — писала о методах Нечаева Вера Фигнер [4]. Сергей Кравчинский считал, что как политический деятель Нечаев — «одна олицетворенная срамота» [5].

Так устремления передовой интеллигенции прийти

---

[2] ЦГАОР, ф. Министерства юстиции (ф. № 124), 1871, д. 1, л. 47.

[3] Настоящее издание, стр. 100.

[4] *В. Н. Фигнер*. Полное собрание сочинений в 7-ми томах, т. 1, М., 1932, стр. 91.

[5] *С. М. Степняк-Кравчинский*. Избранное. М., 1972, стр. 10.

на помощь обездоленному народу столкнулись с проблемой революционной нравственности. Основные направления движения народников стали с самого начала развиваться в борьбе с «нечаевщиной», в борьбе не только за политические цели, но и за высоконравственные принципы движения.

В борьбе с «нечаевщиной» формировалось и общество «чайковцев»[6], активным членом которого стал Чарушин. Вопрос о революционной этике стал в этом обществе одним из центральных: не было господствующих авторитетов, все отношения строились на доверии, уважении к человеческой личности, на искренних отношениях к товарищам, в члены принимались испытанные, хорошо известные люди. Кандидатура вновь поступающего подробно обсуждалась. «Малейший признак неискренности или сомнения — и его не принимали. Чайковцы не гнались за тем, чтобы набрать побольше членов. Тем меньше стремились они к тому, чтобы непременно руководить всеми многочисленными кружками, зарождавшимися в столицах и в провинции, и взять, так сказать, на откуп все движение среди молодежи. С большинством из кружков мы были в дружеских отношениях: мы помогали им, и они помогали нам; но мы не покушались на их независимость», — вспоминал участвовавший в обществе «чайковцев» Петр Кропоткин[7].

Студент А. В. Низовкин в своих предательских показаниях рассказывал, что «чайковцы» очень скрытны в своих отношениях с посторонними, но между собой абсолютно доверяют друг другу: «Между ними нет ни старших, ни младших — все равнозначащи, и каждый действует сообразно обстоятельствам, не справляясь о желании со стороны других, хотя образ действия их носит на себе характер странного единства, ибо они ведут и всегда преследуют одну и ту же цель...»[8]

---

[6] Общество «чайковцев» — народническая организация первой половины 70-х годов XIX в., получившая название (исторически неоправданное) по имени одного из ее членов — Н. В. Чайковского, сравнительно скоро отошедшего от участия в делах. После Октябрьской революции Чайковский стал активным врагом Советской власти.

[7] *П. А. Кропоткин.* Записки революционера. М., 1966, стр. 273.

[8] «Революционное народничество 70-х годов XIX века». Сб. документов, т. 1, 1870—1875 гг. М., 1964, стр. 247.

Действительно, высоконравственная атмосфера «чайковцев», их личная близость, индивидуальная самостоятельность позволяли решать трудные вопросы движения в интересах всей организации [9].

Таковы были моральные принципы «чайковцев». Все участники организации отличались безграничной преданностью народному делу. Участь народа глубоко волновала «чайковцев». Но как подойти к народу? С чего начать? Решено было отбросить революционные авантюры, призывы к немедленному народному восстанию. Пришли к выводу начать с основательной пропаганды, просветительской работы. Так и стала разворачиваться деятельность «чайковцев», о которой подробно рассказывается в воспоминаниях Чарушина. По ним читатель ознакомится с революционно-демократическим движением, развернувшимся в России в первой половине 70-х годов XIX в., с его участниками, широким кругом идейных исканий, личной жизнью передовой молодежи того времени. Сильное впечатление оставляют те страницы мемуаров, в которых раскрывается мужественное поведение революционеров во время судебного процесса.

Воспоминания «О далеком прошлом» заканчиваются повествованием о вынесении приговора участникам «процесса 193-х». Как сложилась дальнейшая судьба Чарушина?

В ночь на 23 июля 1878 г. Чарушина и его товарищей ввели в арестантский вагон, находившийся на запасных путях Николаевского вокзала. Опять все вместе. Настроение несколько приподнялось. «Только что пережитое, — вспоминал Чарушин, — отодвигается куда-то вдаль. Позвякивая своими кандалами, мы передвигаемся с места на место, чтобы повидаться со своими и перекинуться с ними парой слов» [10].

По железной дороге везли только до Нижнего Новгорода. В Нижнем осужденных пересадили на баржи: плыли по Волге и Каме до Перми. От Перми до Тюмени каторжан везли на почтовых тройках, а затем вновь на арестантских баржах по Туре, Иртышу, Оби

---

[9] Подробнее см.: *Н. А. Троицкий*. Большое общество пропаганды. 1871—1874 (Так называемые «чайковцы»). Саратов, 1963, стр. 36—37.

[10] *Н. А. Чарушин*. О далеком и прошлом на Каре. М., 1929, стр. 9.

и Томи. Небольшая остановка в Томске, баржи заменяются почтовыми, на них — до самого Иркутска. Заболев перед Иркутском тифом, Чарушин в бессознательном состоянии был доставлен в иркутскую тюрьму. Партию отправили. Чарушин остался. Болеть ему пришлось в кандалах...

В ноябре 1878 г. Чарушин и его жена в сопровождении иркутских жандармов прибыли на Кару. Кара постепенно наполнялась политическими каторжанами. Вести о бурных российских событиях конца 70-х — начала 80-х годов волновали заключенных. Н. А. Чарушин вспоминал: «Доходившие до нас отрывочные сведения о начавшейся в России героической борьбе определенно политического характера сравнительно небольшой группы людей с всесильным русским правительством не могли не вызвать среди нас, с одной стороны, искреннего сочувствия, а с другой — и некоторого сомнения в правильности метода борьбы и опасения за исход последней. Но там, в передовом отряде, стояли наши прежние товарищи, которых мы уважали и любили, в которых верили и которых беспощадная русская действительность из стойких и убежденных народников, как Перовская, Желябов и многие другие, превратила в идейных террористов, вопреки их природе и склонности. Стало быть, иначе уже было нельзя, выхода другого не было» [11].

В Сибири Чарушиным пришлось прожить 18 лет: сначала — на Каре, затем — в разных районах Забайкалья. В апреле 1881 г. окончился срок каторжных работ, и Чарушин с женой и годовалой дочерью в сопровождении конвоя были отправлены в Нерчинск, затем в Читу. Проходят годы. Чарушин работает в конторе Даведенских приисков, расположенных в глухой тайге, потом в Нерчинске овладевает фотографическим делом, этим зарабатывает на жизнь. В 1886 г. семья переезжает в находящийся на границе с Монголией Троицкосавск — последнее сибирское пристанище Чарушиных. Здесь Николай Аполлонович открывает фотографию, устанавливает связи с другими ссыльными, включается в общественную жизнь. Он становится инициатором создания общедоступной библиотеки, которая получила большую популярность. «Круг чита-

---

[11] Там же, стр. 54.

телей с первых же дней был весьма значительный, не переставая возрастать в последующее время, как росла и сама библиотека. Вслед за тем было приступлено к организации этнографического и естественноисторического музея... За музеем последовало далее образование отделения Географического общества»[12].

Троицкосавск был тесно связан со слободой Кяхтой, расположенной на тракте, по которому путешественники отправлялись в Монголию и Китай. В качестве такого путешественника прибыл сюда и Дмитрий Клеменц, бывший участник кружка «чайковцев», теперь уже ученый-этнограф. Остановился он у Чарушиных. По свидетельству ссыльного народовольца И. И. Попова, «квартира Чарушиных стала постоялым двором: монголы, китайцы, буряты, русские крестьяне, казаки, кяхтинцы — визитеры сменяли друг друга»[13]. Неоднократно приезжал в эти места и Г. Н. Потанин — известный путешественник, этнограф и фольклорист. Однажды, с разрешения департамента полиции, Чарушин совершил с ним экскурсию в столицу Монголии — Ургу, откуда привез богатую коллекцию фотографий — антропологических снимков монголов.

В конце 80-х годов по поручению Александра III генерал Русинов объезжал сибирских политических ссыльных. Царский посланник пытался убедить их подать прошение о помиловании, обещая немедленно, по телеграфу, получить полное прощение. Но почти никто не пошел на это. Ссылка продолжалась. Продолжалась она и для Чарушина. Только в 1895 г., после очередного манифеста, Чарушину и его семье разрешили возвратиться в Европейскую Россию, однако с запрещением проживания в столичных, университетских и некоторых других городах.

Совершив длительный обратный путь, Чарушины прибыли в Вятку, где над бывшим политическим был установлен негласный надзор полиции, продолжавшийся до конца 1903 г. Вятка к приезду Чарушина сильно изменилась: развилась промышленность,

---

[12] Энциклопедический словарь «Гранат», т. 40, стб. 557. Автобиография Н. А. Чарушина.

[13] *И. И. Попов.* Минувшее и пережитое. Сибирь и эмиграция. Л., 1924, стр. 116.

действовало земство, пробуждалась общественная жизнь города. Чарушин начинает работать страховым агентом в губернском земстве, но не отходит и от политической деятельности. В конце XIX — начале XX в. Вятская губерния становится средоточием политических ссыльных. Дом Чарушиных превращается как бы в политический клуб, где собирались представители народнических и марксистских течений. «Нередко, — писал Чарушин, — на этих собраниях возникали и жаркие споры, не приводившие, разумеется, к соглашению, но не нарушавшие установившихся дружеских отношений. Пунктом нашего разъединения служил, конечно, крестьянский вопрос» [14].

Чарушин не стал марксистом. До конца своих дней он не мог понять значения и роли пролетариата в освободительном движении. И в начале XX в. Чарушин продолжал оставаться народником, но, отрицательно относясь к террору, не примкнул к эсеровской организации, а стал участником нелегальной организации «Вятский демократический союз», слившийся в 1906 г. с мелкобуржуазной партией «Народных социалистов».

Приехав осенью 1905 г. в Москву, Чарушин был свидетелем объявления манифеста 17 октября, восхищался подъемом общественной борьбы и, по его свидетельству, был удовлетворен первыми победами революции: «Мечта молодости, казалось, осуществлялась и даже ранее, чем тогда предполагали» [15]. В Москве он получил от известного издателя Чарушникова, вятича по рождению, 2 тыс. руб., затем от сочувствующих изданию газеты в Вятке были собраны дополнительные средства. В декабре 1905 г. вышла газета «Вятская жизнь» — демократический орган с народническим уклоном. Одним из ее основателей и руководителем был Чарушин. Судьба газеты оказалась тяжелой. Через семь месяцев газету временно закрывают, а жену Чарушина Анну Дмитриевну как издательницу высылают за пределы губернии. После этого репрессии градом посыпались на газету: судебные преследования, неоднократное закрытие типографии, аресты, штрафы, высылки сотрудников. В таких условиях приходилось менять название газеты,

---

[14] Энциклопедический словарь «Гранат», т. 40, стб. 558.
[15] Там же, стб. 559.

и все же она просуществовала до конца 1917 г. После Великой Октябрьской революции Н. А. Чарушин занимался культурно-просветительной работой, был сотрудником научной библиотеки имени Герцена. В 1922 г. он стал членом «Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев».

* * *

Свои воспоминания Н. А. Чарушин начал писать, когда ему было уже за семьдесят. Он, может быть, так и не взялся бы за перо, если бы не энергичное побудительное вмешательство Веры Николаевны Фигнер. 8 января 1924 г. она написала в Вятку Чарушину: «Я настоятельно прошу Вас написать воспоминания о возникновении, деятельности и организациях по городам кружка «чайковцев». Такой истории этого во всех отношениях замечательного кружка нет, и Вы должны записать все, что Вы знаете, в чем участвовали и что от других Вам известно» [16].

Призыв Веры Николаевны подействовал. Прошло несколько дней, и Чарушин ответил ей. «Я все ждал, — писал он 19 января, — что кто-нибудь из более осведомленных членов кружка выполнит эту работу, но до сих пор ожидания мои не оправдались. Не раз ко мне обращались с просьбой, аналогичной Вашей, но в постоянной житейской сутолоке, когда текущее поглощает почти все твое внимание, как-то некогда было сосредоточиться на прошлом. Теперь же, когда из чайковцев не осталось в живых почти никого, несомненно, много острее чувствуется обязанность, по мере сил и возможности, восполнить имеющийся пробел в данной области» [17].

Роль Фигнер этим не ограничилась. Хорошо понимая трудность задуманного, она стремилась помочь своими советами Н. А. Чарушину. 8 сентября 1924 г. Вера Николаевна извещала его, что в Историко-революционном архиве в Ленинграде хранятся материалы по кружку «чайковцев» и что работник этого архива Ш. М. Левин (далее следовал его адрес) пишет книжку

---

[16] ЦГАЛИ, ф. Н. А. Чарушина (ф. 1642), оп. 1, д. 77, л. 1.
[17] ЦГАЛИ, ф. В. Н. Фигнер (ф. 1185), д. 817, л. 5.

об этом кружке, интересуется ролью и личностью Низовкина. «Он хотел бы, — продолжала Фигнер, — написать Вам, но стесняется: у него есть какие-то вопросы, которые могли бы Вы решить. Я думаю, и Вам для работы эти вопросы его могут быть полезны, наведя на то, на что Вы не обратили бы внимание. Поэтому не пошлете ли Вы ему открытку с вопросом, что именно он хотел бы узнать у Вас» [18].

Чарушин последовал совету и 18 сентября написал в Ленинград Ш. М. Левину. Так завязалась интересная переписка между убеленным сединой ветераном русского революционного движения и молодым пытливым научным сотрудником. Читатель, нам думается, с интересом ознакомится с этой перепиской, помещаемой в приложениях к публикуемым воспоминаниям.

Между тем Чарушин с большими трудностями принимался за написание мемуаров. В письме от 28 декабря он жаловался Фигнер, что с его воспоминаниями «дело обстоит плохо. Нет подходящего настроения, да не мало мешает и служба в библиотеке, каковую собираюсь бросить, но не решаюсь на это из боязни окончательно испортить свое настроение» [19]. Однако постепенно настроение изменилось, и далекое прошлое начало воскресать на страницах рукописи. Чарушин работал много и увлеченно.

К началу 1926 г. написание мемуаров приближалось к завершению. Автор решил проверить точность своих воспоминаний. Единственным человеком, который мог это сделать, была проживавшая в Новгородской области Александра Ивановна Корнилова-Мороз, принимавшая участие в кружке «чайковцев». К ней и обратился Чарушин. Согласие было получено. «Конечно, Ваши воспоминания представляют для меня большой интерес и я с нетерпением буду ждать Вашей рукописи» [20], — писала А. И. Корнилова-Мороз Чарушину 24 марта 1926 г. Встретиться решили в Москве. 3 апреля 1926 г. Корнилова-Мороз писала Чарушину: «Если Вы находите для себя удобнее познакомить меня с Вашими воспоминаниями в Москве, то я, ко-

---

[18] ЦГАЛИ, ф. Н. А. Чарушина, оп. 1, д. 77, л. 5.
[19] ЦГАЛИ, ф. В. Н. Фигнер, д. 817, л. 10 об.
[20] ЦГАЛИ, ф. Н. А. Чарушина, оп. 1, д. 51, л. 16.

нечно, могу туда приехать в начале мая, как Вы предлагаете. Чтение и обсуждение Ваших воспоминаний, надеюсь, мы получим разрешение устроить в Музее, в кабинете Петра Алексеевича, где никто нас не потревожит, так как Музей бывает открыт только два раза в неделю» [21].

Встреча в Москве состоялась, рукопись была прочитана и одобрена Корниловой-Мороз. В конце 1926 г. воспоминания «О далеком прошлом» вышли из печати. К новому году друзья Чарушина начали получать их от автора. 31 декабря 1926 г. известная в прошлом народоволка А. В. Якимова отправила из Москвы к Чарушину в Вятку открытку: «Дорогой Николай Аполлонович! Поздравляю Вас с наступающим новым годом и желаю Вам всяких благ духовных и материальных. За присланную книжку приношу Вам большую-пребольшую благодарность. Читаю эту книгу с большим удовольствием. Будьте здоровы! Крепко, крепко жму Вашу руку. А. Якимова» [22].

«О далеком прошлом» привлекли внимание и научной общественности. Начали появляться рецензии. Высказал свое отношение к воспоминаниям Н. А. Чарушина и Ш. М. Левин, выступивший в 1927 г. с рецензией на страницах журнала «Историк-марксист». Высоко оценив вышедшую работу, рецензент, глубоко знавший материал эпохи, высказал и ряд критических замечаний в адрес мемуариста. Чарушин решил ответить на выступление ленинградского историка. 3 октября 1927 г. он направил в журнал «Историк-марксист» письмо «По поводу рецензии Ш. Левина о моей книжке «О далеком прошлом»». Письмо опубликовано не было, но оно сохранилось в личном архиве Левина и поможет нам сейчас восстановить главные вопросы спора.

Первая спорная проблема касалась политической борьбы. Рецензент считал «несколько наивными» «старания Чарушина» «доказать, что политические вопросы не чужды были чайковцам, а лишь заслонялись в их глазах обширностью задачи по подготовке масс к участию в освободительной борьбе». В своем письме Чарушин на это возражал: «Что политические воп-

---

[21] Там же. Имеется в виду музей П. А. Кропоткина.
[22] ЦГАЛИ, ф. Н. А. Чарушина, оп. 1, д. 24, л. 5.

росы не были чужды чайковцам, в особенности в первую половину жизни кружка, не свидетельствуют ли участие их, почти в полном составе, на собрании у Таганцева в конце 1871 г. для обсуждения реферата о конституции, а затем попытка их связаться с земским элементом...»

Далее мемуарист отмечал, что эти попытки разрешения политического вопроса без участия масс оказались безнадежными, поэтому-то кружок «в последний период своей жизни и сосредоточил свое внимание» на подготовке народа к задачам «более широким, чем одни политические достижения».

Второй вопрос относился к влиянию бакунизма на «чайковцев». Ш. М. Левин, полемизируя с Чарушиным, считал, что сила сопротивления многих из «чайковцев» по отношению к «овладевшим все более умами революционной молодежи бунтарским идеям далеко не была особенно велика...». «Вышеприведенное возражение, — писал по этому поводу Н. А. Чарушин, — очевидно, результат недоразумения. Когда я говорил об отношении чайковцев к бакунизму, то я имел в виду петербургскую группу чайковцев, где отношение чайковцев к бакунизму, и в частности к бунтарству, было вполне определенное, и совсем не имел в виду чайковцев из отделений, где состав членов был более разнообразен и менее сплочен, чем в центральном петербургском кружке».

По-видимому, в этих научных спорах и родилась идея второго издания воспоминаний Чарушина. Мемуарист в ряде случаев учел критику, сделал необходимые дополнения и уточнения. В свою очередь Левин написал вводную статью «К характеристике идеологии «чайковцев»» и составил подробные примечания к книге. Вся эта работа в 1934 г. была закончена. Но обстоятельства сложились так, что воспоминания «О далеком прошлом» изданы тогда не были [23].

Ознакомившись с новым изданием воспоминаний Чарушина и со статьей Левина «К характеристике идеологии «чайковцев»», читатель поймет, что спорящие стороны остались все же во многом на своих исходных позициях: мемуарист не соглашался с до-

---

[23] Подготовленные рукописные материалы сохранились в личном архиве ныне покойного Ш. М. Левина.

водами своего оппонента, доказывавшего сильное влияние бакунизма на «чайковцев» и их аполитизм. Вопросы эти и сейчас решаются не однозначно советскими исследователями. Думается, что некоторая полемичность нового издания мемуаров Чарушина важна не только как историографическое явление, но интересна своей актуальностью и послужит дополнительным стимулом к дальнейшему изучению проблем идейного движения 70-х годов XIX в.

Как и всякое воспоминание, мемуары Чарушина не лишены субъективизма. Это относится и к оценке некоторых событий 70-х годов, и к пониманию значения земского либерализма, и к определению роли I Государственной думы, и к некоторым другим вопросам общественной борьбы. Но в общем этот субъективизм не столь уж значителен. Автор воспоминаний находился в гуще революционного движения первой половины 70-х годов, осуществлял связи петербургских революционеров с провинциальными группами: встречался с десятками людей Москвы и Киева, Одессы и Воронежа, Херсона и Николаева, Орла и Харькова. Он хорошо знал настроения, намерения и планы широкого круга представителей революционной России. Все это мемуаристу удалось убедительно донести до читателей, и в этом значение воспоминаний Чарушина. Они ценны для нас тем, что дают яркую характеристику революционеров той поры, рисуют людей, непримиримых к самодержавию, самоотверженных и стойких в борьбе, высоконравственных и честных.

В марте 1937 г. в возрасте 85 лет Николай Аполлонович умер в своем родном городе. Местная газета поместила следующее уведомление: «Семья и родные извещают о смерти Николая Аполлоновича Чарушина, последовавшей 6 марта в 10 часов вечера. Вынос тела на кладбище из квартиры — улица МОПР, дом 19/33, в 4 ч. 30 м. дня 8 марта» [24].

* * *

При подготовке настоящего издания «О далеком прошлом» мы исходили из того, что обстоятельные примечания Ш. М. Левина были составлены около

---

[24] «Кировская правда», 8 марта 1937 г.

40 лет тому назад. Их пришлось дополнить отсылками к некоторым новым исследованиям и дополнительным источникам, опубликованным за последние десятилетия. В комментариях к книге подобные тексты заключены в квадратные скобки. Было сочтено также целесообразным исследовательскую статью «К характеристике идеологии «чайковцев»», написанную в качестве введения ко второму изданию и представляющую интерес главным образом для специалистов, отнести в приложения. В текст воспоминаний внесены некоторые редакционные поправки, в основном стилистического характера, сокращены и обнаруженные повторения, уточнены ссылки на архивные фонды.

Первоначальную подготовку к печати текста воспоминаний Н. А. Чарушина выполнили Р. Г. и Р. Ш. Левины.

Б. Итенберг

Предисловие к первому изданию

Я не собирался писать своих воспоминаний, полагая, что общественная ценность их будет не велика, в особенности же ввиду развертывающихся и все нарастающих крупных событий русской жизни, в которых эти воспоминания, как незначительная мелочь, потонули бы никем не замеченные и никому не нужные. К тому же текущая жизнь, от которой никогда раньше я не стоял в стороне, приковывая к себе мое внимание, не давала возможности углубиться в далекое прошлое. А потом, с годами, краски этого прошлого все больше и больше стирались, многое и совсем улетучилось из памяти, а главное — всегда существовало опасение, что при воспроизведении событий давно минувших дней и их оценки невольно скажется настроение последующего времени и наложит не вполне соответствующую действительности окраску на описываемое. Все это, вместе взятое, и удерживало меня от попытки взяться за перо, чтобы приняться за свои воспоминания. Но настояния за последние годы моих друзей и знакомых, не разделявших моих соображений и опасений, заставили изменить мое решение и попытаться, хотя в общих и беглых чертах, изобразить пережитое.

Предлагаемые вниманию читателей пока две части моих воспоминаний охватывают период времени с 1856 г. по 1-ю половину 1878 г. Первая часть — детские годы и гимназическая жизнь в Вятке — служит как бы введением во вторую более обширную и ответственную, где главное содержание составляет «Кружок чайковцев», а затем тюрьма и суд («процесс 193-х»).

Эта вторая часть всего более меня и смущала. О кружке чайковцев и самих чайковцах, сыгравших весьма заметную роль в русском революционном движении первого его периода, уже многое и многими писалось, а потому немного нового я мог бы прибавить к уже написанному ранее. Поэтому в этой части моих воспоминаний мне хотелось главным образом

более подробно остановиться на постепенном ходе развития кружка и той эволюции — идеологической и деловой, — каковую он претерпевал со 2-й половины 1871 г. по 1874 г., т. е. в период наибольшего его расцвета, когда и мне вместе с другими приходилось быть участником этих событий. Но правильно ли я собираюсь освещать эти последние и передавать фактическую сторону дела — у меня уже не было полной уверенности, так как более чем 50-летняя давность в том или другом отношении могла наложить свой отпечаток и нарушить историческую правду.

Для разрешения моих сомнений, возникавших по тому или иному поводу, мне оставалось одно — обратиться к единственному оставшемуся еще в живых, кроме меня, члену петербургского кружка чайковцев и непосредственному участнику в жизни его именно за этот же период времени — Александре Ивановне Корниловой-Мороз, которой и приношу мою искреннюю и глубокую признательность за содействие при разрешении моих сомнений. Она всегда охотно шла мне навстречу в этом, а позднее, когда рукопись была уже готова, Александра Ивановна столь же охотно согласилась съехаться со мной в Москве, где совместно с нею она была внимательно прочитана, в целом ею одобрена, и лишь незначительные поправки были внесены в фактическую сторону изложения.

Вятка. 5 июля 1926 г.

Н. Чарушин

Предисловие ко второму изданию

Настоящее издание выходит с небольшими дополнениями и поправками, сделанными мною как по собственной инициативе, так и по замечаниям критики, главным образом, в самом существенном и наиболее ответственном отделе — о кружке чайковцев.

К первой книжке моих воспоминаний критика отнеслась весьма благожелательно, но из 4-х известных мне рецензий, помещенных в столичных журналах, только в одной, принадлежащей перу Ш. М. Левина [1], вместе с лестным в общем отзывом о ней содержался и справедливый упрек за неполноту изображения работы чайковцев среди заводских рабочих, делались указания на кое-какие ошибки и неточности и оспаривались некоторые из моих заключений и оценок.

Здесь я позволю себе привести вступительную часть рецензии Левина, содержащую в себе оценку моей книги.

«Литература о кружке чайковцев, влиятельнейшей революционной группе начала семидесятых годов, — говорит Левин, — довольно обширна... но тем не менее, далеко не все в истории кружка было выяснено авторами с достаточной отчетливостью и желательной полнотой, тем более что большинство из них писали свои воспоминания в дореволюционное время, когда иные из мемуаристов, часто даже без сколько-нибудь веских оснований, кое-чего сознательно не договаривали. Н. А. Чарушин, автор новейших воспоминаний о чайковцах, был активнейшим работником кружка и хорошо знал как состав и деятельность основной, петербургской, группы, так и работу московских, одесских и киевских чайковцев, с которыми петербуржцы поддерживали связь в значительной степени именно через него. Кроме того, Чарушин писал позже всех своих товарищей и современников, имел перед собой и воспоминания упомянутых выше революционеров,

[1] См. «Историк-марксист», 1927, т. 4, стр. 242—244.

и ряд опубликованных в последнее время весьма существенных для истории кружка документов, благодаря чему его работа не могла не принять характера, так сказать, итоговой. Все это достаточно объясняет тот интерес, с которым все, занимающиеся историей нашего раннего революционного движения, ожидали появления книги Чарушина. И можно смело утверждать, что ожидания эти не оказались обманутыми. Для истории возникновения кружка, для истории его личного состава и изменений в нем, для характеристики его работы в интеллигенции и среди рабочих, наконец, — что особенно важно — для выяснения общественного мировоззрения его членов книга Чарушина дает много ценного материала.

Но при всех своих несомненных достоинствах книга Чарушина, как и всякое, конечно, произведение мемуарной литературы, не свободна и от некоторых прямых неточностей и от более или менее произвольных заключений и оценок...» И дальше: «Не во всем также можно согласиться с Чарушиным в его характеристике — в общем, повторяем, интересной и ценной — взглядов и настроений чайковцев» [2].

Ш. М. Левин, видимо, хорошо осведомлен не только в мемуарной литературе о чайковцах, но и основательно знаком с относящимися к ним архивными материалами, благодаря чему многие его замечания получают для меня, не имевшего возможности пользоваться этими последними, особенную ценность, и за них я приношу ему мою искреннюю признательность.

Все замечания Левина мною приняты во внимание. Согласно этим замечаниям я пополнил свой рассказ о пропаганде чайковцев среди заводских рабочих Петербурга и исправил допущенные мною некоторые неточности и ошибки. Но не все замечания Левина приняты мною безоговорочно. Некоторые из них вызывают возражения и оспариваются мною. Особенно это следует сказать по поводу замечаний автора рецензии об отношении чайковцев к политическим вопросам и бакунизму. Свои возражения по этим основным и, пожалуй, спорным вопросам и по некоторым другим второстепенного значения я помещаю в соответствующих местах книги, в особых подстрочных

---

[2] Там же, стр. 243—244.

примечаниях, где привожу и подлинный текст замечаний рецензента.

Когда работа по подготовке ко 2-му изданию мною уже заканчивалась, в «Каторге и ссылке» появилась статья Левина «Кружок чайковцев и пропаганда среди петербургских рабочих в начале 1870-х гг.» [3]. Это безусловно ценная и обстоятельно выполненная чисто исследовательского характера работа, составленная главным образом по обильным следственным материалам, агентурным сведениям и другим, дала возможность автору с должною полнотою и точностью осветить почти всю работу чайковцев среди петербургских рабочих. Автор объектом своего исследования взял исключительно лишь работу среди петербургских рабочих, не касаясь других сторон деятельности кружка, что само собой нимало не умаляет ценности проделанной им работы. Жаль только, что ему не удалось выявить работу в самой первоначальной стадии ее (Лисовского, Сердюкова, Шлейснера и др.), без сомнения по полному отсутствию агентурных и всяких иных сведений, и не упомянуто совсем о работе на Ждановском заводе, о чем если не было агентурных сведений, то имелись мемуарные.

Статья Левина вынудила меня вновь пересмотреть все написанное мною и внести еще небольшие поправки и дополнения. В заключение я снова должен повторить, что и в этом издании я не претендую на исчерпывающую полноту изображения деятельности кружка, что главной моей задачей в этой части моих воспоминаний было, остается и теперь, как это было сказано в предисловии к 1-му изданию, выявление постепенного хода развития его и той эволюции — идеологической и деловой, какую кружок претерпевал со 2-й половины 1871 г. по 1874 г., т. е. в период наибольшего его расцвета, когда и мне вместе с другими приходилось быть участником этих событий.

Вятка. 12 июня 1932 г.

Н. Чарушин

---

[3] См. «Каторга и ссылка», 1929, кн. 12 (61).

Часть I

Детские годы и гимназический период 1856—1871 гг.

I

Детские годы. Жизнь в семье. Начало ученья. Намерение родителей отдать меня в Вятскую гимназию. Отъезд в Вятку



Свои детские годы я провел в маленьком уездном городе Орлове (ныне Халтуринск), Вятской губернии, расположенном на правом берегу реки Вятки, в 53 верстах от губернского города[4]. Отец мой, Аполлон Иванович, служил первоначально письмоводителем окружного управления, ведавшего в то время крестьянскими делами, а в последние годы его жизни — помощником окружного начальника и дослужился до чина надворного советника. Мать моя, Екатерина Львовна, дочь разорившегося купца, малограмотная, но энергичная и умная женщина, на которой лежало все хозяйство нашей довольно многолюдной семьи, состоявшей из 12 человек: дедушки, отца моего отца, и бабушки, родной сестры дедушки, и восьмерых ребят, из которых трое были девочки, остальные мальчики. Я, после сестры Лидии, был старшим.

Жили мы в каменном двухэтажном доме брата матери, Ивана Львовича Юферева, унаследованном им от своего отца. Сам Иван Львович в своем доме в это время не жил, так как все время находился на

[4] Родился 23 декабря 1851 г. (по ст. стилю).

частной службе, вне пределов Орлова. Наша семья занимала весь нижний этаж дома из шести комнат, верхний же этаж с давних лет сдавался под казначейство, плата с которого всегда поступала в распоряжение матери. При доме был довольно большой двор, много разных служб и амбаров, построенных еще отцом моей матери, и довольно обширный огород, всегда тщательно возделываемый матерью; по границе огорода протекала речка Воробьиха, впадающая саженях в 60—70 от нас в реку Вятку. Весной, с разливом Вятки, разливалась и наша Воробьиха, достигая полуторасаженной глубины, что давало нам, малышам, когда мы уже немного подросли, возможность прямо из нашего огорода на нашем маленьком ботике выезжать на Вятку, а там иногда и махнуть через реку, разлившуюся верст на 5—6 и затоплявшую заречный сосновый бор. Жутко бывало, когда мы выбирались на нашем челноке на простор многоводной реки, но зато какое удовольствие испытывали мы, когда добирались до заречного берега и плыли по тенистым аллеям затопленного соснового бора, оживляемого пением и гомоном птиц!

Отец наш, спокойный и уравновешенный человек, очень неглупый и не лишенный юмора, совсем не вмешивался в нашу детскую жизнь и добродушно-спокойно смотрел на наши шалости и крики. И лишь когда мать, совершенно выбившись из сил, усмиряя нас, обращалась, наконец, к нему: «Аполлон Иванович, да уйми же ты, наконец, их!» — он притворно сердитым голосом изрекал, обращаясь к самому неугомонному и шаловливому из нас — Аркадию: «Аркадий! Шали пуще!» И этого было достаточно, чтобы мы смолкли и утихомирились.

Отца мы побаивались, хотя он не только никогда не бил нас, но и никогда не кричал на нас. Матери же мы мало боялись, хотя она нередко бранила нас и награждала даже шлепками. Мы знали, что это только так, не серьезно, знали, что она любит нас, а потому и спокойно сносили ее окрики и шлепки. Занятая с утра до вечера многообразными хозяйственными делами, она, конечно, не могла не уставать и не раздражаться, а потому и свои огорчения не могла не срывать на нас, детях, когда мы ей особенно надоедали.

При жизни отца жили мы сравнительно безбедно, хотя лишних денег никогда в семье не было, из-за чего матери приходилось нередко изворачиваться. Но, несмотря на это, особенно наша мать, знавшая когда-то более обильную и широкую купеческую жизнь, не могла не стремиться к поддержанию внешнего благообразия нашей жизни и старых связей и знакомств с купеческими домами. Поэтому в торжественные дни, как именины, дни рождений, у нас собиралось довольно многочисленное общество; для мужчин тогда ставили закуски и, конечно, с выпивкой, раздвигались карточные столы, а для дам — сласти. Вечер, случалось, заканчивался ужином, а иногда и танцами, в особенности на рождественских праздниках, когда наезжали ряженые и привозили с собой и музыку. Мы, дети, особенно любили эти рождественские вечера с ряжеными, в числе которых неизбежно появлялся традиционный и любимый нами Забор Заборович в своем карикатурном фраке приказного и забавлял не только нас, детей, но и взрослых своими нередко остроумными шутками и прибаутками. Само собой, что в подобных же случаях и мы, в свою очередь, ездили в гости к своим знакомым, где и проделывали то же, что и у нас, с тою лишь разницей, что в более состоятельных домах угощение было более обильное и разнообразное.

В конце 50-х годов прошлого столетия, к какому времени относится мой рассказ, Орлов со своими тремя с половиною тысячами жителей представлял собою подлинный патриархальный уголок, каких в дореформенной России было не перечесть. Все жили по дедовским традициям, и всякие новшества строго осуждались. Духовной же жизни не было никакой, если не считать религиозных отправлений и церковных служб, исправно посещаемых в праздничные дни всеми слоями населения, для каковой надобности в городе имелось пять церквей и один мужской монастырь. Школ же всего было две: приходское и уездное училище, где в качестве воспитательного средства процветали розги.

Отец мой не проявлял особенной приверженности к церкви, чего нельзя было сказать о матери. Последняя по-своему была очень религиозна, исправно посещала все церковные службы, соблюдала посты и ста-

ралась и нас, детей, побудить следовать ее примеру. Влияние матери в этом отношении сказывалось всего больше на сестрах, от мальчиков же оно как-то отскакивало, вероятно, потому, что обрядовая сторона религиозной жизни, в чем главным образом и выражалась эта последняя, нас не увлекала.

Обывательская жизнь текла в общем мирно и гладко, ничем не мутимая, люди всякого звания заняты были своими интересами, а все вместе — пересудами и перемыванием косточек своего ближнего. В то время Орлов не утратил еще своего торгового значения благодаря тому, что через него пролегал транзитный путь на Архангельск, куда по зимам тянулись большие обозы с хлебом и другими продуктами сельского хозяйства, а из Архангельска везли рыбу и заморские товары. Поэтому в городе существовало несколько солидных торговых фирм, задававших тон коммерческой жизни города. Впоследствии, с развитием пароходного движения по Вятке, в особенности же с постройкой Котласской и Северной железных дорог, оставивших г. Орлов в стороне, это торговое значение его упало. Но зато лет через 40—45 благодаря энергии земских и городских деятелей, в особенности же Кузнецова и А. А. Лопатина, он превращается в один из самых культурных уездных городов России, буквально в город учащихся, с целым рядом учебных заведений — низших и средних, — переполненных крестьянскими детьми, с прекрасной общественной библиотекой, народным домом и пр. Орловское крестьянское земство, крестьянские учебные заведения, выделявшие массу учащихся в высшие учебные заведения, по справедливости получили всероссийскую известность. Не отставало от земства и городское управление, поставившее городское хозяйство на должную высоту.

Но все это было много лет спустя, тогда же, в конце 50-х и даже в самом начале 60-х годов, дедовские традиции были еще в полной силе, и никаких новшеств мы не знали и не переносили. Я помню, например, молодого врача, женившегося на своей кухарке и вызвавшего этой женитьбой искреннее возмущение всего города. И злополучный врач вынужден был бежать из города, где его перестали принимать. Помню также, что откуда-то в городе появился всего единственный студент, конечно, по понятиям

обывателей, крамольник. И мы с опаской, хотя и не без какого-то смутного почтения к нему, бегали смотреть на него, как на диковинку или заморского зверя.

Внешние события, даже такие крупные, как Крымская война, имевшая столь решающее значение на дальнейшие судьбы России, проходили мимо нас, никого не трогая и не волнуя. Газеты тогда до нас не доходили, сведений о ходе военных действий не получалось, да этими последними едва ли даже кто-нибудь и интересовался. По крайней мере нам, детям, не приходилось слышать даже и разговоров на эти темы между взрослыми. Война непосредственно городское население не задевала, а стало быть, нам до нее и не было никакого дела. Единственно, что свидетельствовало о каких-то событиях, происходящих где-то далеко, — это было появление время от времени на улицах города ополченцев, собираемых из уезда и отправляемых затем куда-то уже одетыми в форму с ополченскими крестами. Это чисто внешнее нарушение спокойного течения обывательской жизни, конечно, не проходило мимо нашего внимания; нам, пожалуй, было даже и жаль этих людей, отрываемых от своего родного крова, но и только.

Совсем другое отношение было у всех к явлениям совершенно иного порядка — к появлению на небесном своде величественной кометы с ее огромным хвостом. Этим необычным зрелищем не только интересовались все от мала до велика, но и с трепетным чувством ожидали, что комета в конечном результате нам принесет.

Старшие тогда думали и верили, что если она заденет своим хвостом землю, то катастрофа будет неизбежна и наступит конец мира. Я помню, мы всей семьей часами просиживали на крыльце нашего дома, устремив свои взоры на небесное светило, зачарованные им, и полушепотом обменивались своими впечатлениями. Но небесное светило оказалось милостивым: оно не обидело грешную землю, а лишь только попугало живущих на ней. И жизнь снова вошла в свою обычную колею.

В нашем доме книг, кроме двух-трех духовного содержания да какого-то переплетенного старого иллюстрированного журнала, совсем не было. Совершенно то же было и в других домах, где нам приходи-

лось бывать. Чтение светских книг ни взрослым, ни подрастающим поколением не поощрялось, да и читать было нечего. Из книг же религиозно-нравственного содержания признавались лишь псалтырь да жития святых. Даже и к Библии было какое-то полуотрицательное отношение. Нам говорили, например, что тот, кто прочтет ее, непременно сойдет с ума. Что-то в этом же роде внушалось нам и о «Потерянном рае» Мильтона, откуда-то сделавшимся известным, вероятно, лишь понаслышке, так как я такой книги не видел ни дома, ни у наших знакомых.

Но мы, дети, всем этим мало огорчались, так как вкуса к книге еще не приобрели. Не стесняемые родителями, мы, в особенности мальчики, жили полной жизнью, проводя время и зимою и летом большею частью на вольном воздухе.

Зимою нас увлекало катанье с гор на ледянках, салазках или коньках и нередко до такой степени, что мы являлись домой с плачем из-за промороженных рук и ног. Особенно же полна была наша жизнь летом, когда в нашем распоряжении были лодка, рыбная ловля, хождение в заречный лес за грибами или ягодами, а то и налеты на обывательские сады, когда поспевала черемуха. Хищнически добытые ягоды всегда казались нам особенно вкусными. Но особенно шумны и веселы были наши игры у нас на дворе, куда стекались целые табуны соседских детей и где мы заигрывались до позднего вечера.

Не скучали мы и в длинные зимние вечера, в особенности когда родителей наших не было дома. Нас было много, и мы всегда находили способы развлечь себя и позабавиться. Нередко мы устраивали разные безобидные каверзы с нашей бабушкой, добродушной маленькой старушкой, которую мы за ее ласковое отношение к нам любили. Бывало, в эти зимние вечера, когда она сидела обыкновенно за вязаньем своего чулка, мы слушали с захватывающим интересом ее рассказы, большею частью из жизни святых. Жила она в маленькой комнатке с дедушкой, ее братом, и усердно ухаживала за ним. Этот последний был молчаливый, высокий и худой старик, всегда одетый лишь в нижнее белье, халат и туфли. Его мы изрядно побаивались, так как он не любил, когда мы торчали у него на глазах, и нередко шугал нас. Ежедневно,

раза по два, он считал своею обязанностью обходить комнаты и крылом от птицы сметать пыль. Но один раз в месяц он принаряжался, надевал на себя свой старый сюртук и брюки, поднимался наверх, в казначейство, где получал свою пенсию в два или три рубля и с горделивым видом возвращался домой. Этот день получки был для него настоящим праздником и потому еще, что он получал тогда и лишнюю порцию водки, которую, видимо, очень любил.

Великое удовольствие доставляли нам и наши семейные поездки на арендованную дядей мукомольную водяную мельницу-скородумку, расположенную в 16 верстах от города, где мельничиха угощала нас вкусными блинами и сотовым медом. Но не так привлекала нас вкусная еда на мельнице, как обширный мельничный пруд, заросший густыми камышами, обильный рыбою и дичью. Пробираться на лодке по узеньким и таинственным протокам среди высоких камышовых зарослей, где почти на каждом шагу приходилось вспугивать уток, доставляло нам несказанное удовольствие. И мы тотчас же по приезде, предварительно отдав честь блинам, садились в лодку и пускались в наше таинственное путешествие.

Из того же детского периода жизни особенно запечатлелись в моей памяти две довольно далекие поездки с матерью. Одна из них на богомолье на Великую реку, верст за 45 от Орлова, ко времени весеннего прихода туда из Вятки иконы Николая Чудотворца, чтимой вятским населением и собирающей к этому времени на Великую реку богомольцев чуть не со всей Вятской губернии. Икона Николая Чудотворца первоначально, как гласит предание, «явилась» на Великой реке и стала собирать многочисленных богомольцев не только с окрестных местностей, но и из дальних мест благодаря чему становилась всевозрастающей доходной статьей великорецкого духовенства. Но с ростом популярности иконы и возрастающей ее доходности росла и зависть вятских соборных иерархов, пожелавших иметь эту доходную статью у себя, в кафедральном соборе. Начавшаяся борьба за обладание иконой само собой окончилась в пользу соборного духовенства с архиереем во главе. Но в виде компенсации был установлен ежегодный майский «поход» чудотворной иконы к себе домой, на Великую реку,

привлекавший обычно в Вятку на торжественно обставленные «проводы» многотысячные толпы народа со всей губернии, большинство которых по «обетам» сопровождало икону до самой Великой реки. Этот поход, а затем и поход иконы по губернии давал огромный доход собору. Красивая местность, чудная река, часовня на высоком, крутом и лесистом берегу, переполненная народом, не вмещающая и тысячной доли из тех пеших и конных богомольцев, прибывших сюда, чтобы в этой часовне перед временной гостьей — чудотворной иконой — отслужить молебен. Шум и гомон многочисленной толпы, ожидавшей своей очереди, а дальше ярмарка, также переполненная народом, — все это необычное зрелище не могло не действовать сильно на детское воображение.

Другая поездка через город Вятку в Слободской на какую-то родственную свадьбу памятна мне не столько этой свадьбой, как самой дорогой с ее новыми местами и видами при отличной летней погоде.

Так жили мы, не зная ни забот, ни серьезных огорчений, почти на полной свободе до самого начала учения. Но вот наступило и это страдное время. Лет семи или восьми меня отдали обучаться грамоте к какому-то дьячку, у которого в тесной комнатушке обучалось кроме меня до дюжины других ребятишек. Обучение велось еще по старинке, о звуковом методе тогда не имелось и представления. Само собой, что ни сам преподаватель, ни его метод обучения не могли увлечь нас, и мы, естественно, относились к обучению грамоте как к неприятной повинности, которую надо отбывать потому, что этого хотели и требовали родители.

За дьячком, у которого я пробыл недолго, всего несколько месяцев, последовало приходское училище, помещавшееся в верхнем этаже торговых каменных рядов. Большой, но плохо освещенный класс, уставленный партами и другой школьной мебелью, производил довольно мрачное впечатление.

О прохождении мною курса приходского училища, где преподавание велось также по старинке, память моя ничего не сохранила. Я не помню ни учителей и ничего из школьной жизни, но хорошо помню сторожа Федора Долгого (так, кажется, его звали), необыкновенно длинного и худощавого мужчину, всегда

спокойного и хорошо одетого (в длинный синий кафтан). Врезался он в мою память даже в явный ущерб самим педагогам, вероятно, потому, что импонировал своим величественным видом, а также и тем, что собственноручно два раза наказал меня розгами по распоряжениям училищного начальства.

Эти памятные для меня события имели место по следующим поводам: школьная наука совсем меня не привлекала; в зимнее или осеннее время еще так или иначе я переносил ее, но с наступлением лета, когда окружающая природа так заманчиво влекла меня к себе, я не выдержал и предпочел предстоящие мне в общении с нею удовольствия скучному и тягостному учению. И вот, отправляясь в школу, я предварительно завертывал на реку, которую так любил и которая будучи всегда перед глазами, так манила меня к себе. Совершенно забывая про школу, я недели две не показывал туда и носу, проводя все учебное время на берегу или за рекой и возвращаясь домой лишь ко времени окончания школьных занятий. Пропустив, таким образом, изрядное количество уроков, мне уже страшно и неловко было показываться в училище, и я продолжал бы свои проделки и дальше, если бы, наконец, не узнали о них мое школьное начальство и родители. На другой же день меня, плачущего и сопротивляющегося, на руках кухарки отправили в училище, где я и получил свое первое возмездие.

Обида и позор наказания, какому до сих пор я никогда не подвергался, до известной степени смягчились в моем сознании тем, что я заслужил его своим поведением.

Вторая экзекуция не давала и этого утешения.

Был весенний разлив реки, разлилась и наша речка Воробьиха, через которую у самого нашего дома был перекинут мост для проезда. Мост этот по случаю его ветхости был сломан и строился взамен его новый, почему ни проезда, ни прохода через разлившуюся речку по нашей улице не было. Я, плавая на своей лодочке по речке, случалось, перевозил с одного берега на другой пешеходов, случайно забредших до неожиданного препятствия. Перевез я таким же порядком и нашего законоучителя, поблагодарившего меня за оказанную услугу. Но на другой же день за эту

услугу я был высечен снова в училище. На этот раз я уже ничего не понимал и так и не узнал, за что же я был подвергнут унизительному наказанию.

Вот и все, что осталось в моей памяти о самых первых шагах моей школьной жизни. Курс приходского училища с грехом пополам мною был, наконец, окончен в 1861 г., и я переводился в уездное училище. Но учиться в этом последнем мне еще менее хотелось, так как там во главе школы стоял смотритель, широко применявший розги. Это пугало меня и отталкивало от училища. Но все же некоторое очень короткое время я учился в нем, и судьба была милостива ко мне — я ни разу не подвергся в нем телесному наказанию.

Из уездного училища я был взят, и родители начали готовиться к отдаче меня для дальнейшего обучения в Вятскую гимназию. Вероятно, изменившиеся к этому времени общерусские условия понемногу начали сказываться и на нашем патриархальном обществе, в частности и на моих родителях. Начали — в особенности чиновничьи семьи — задумываться над судьбой своих детей — мальчиков, для которых пробить себе дорогу в жизни в будущем без образования будет уже трудно или даже совсем невозможно. Поэтому само собой возникал вопрос и о гимназии. Лично я к этому вопросу, сопряженному с отъездом в чужой и незнакомый мне город и с разлукой с семьей, которую я любил, относился двойственно. С одной стороны, эта новизна привлекала меня, а с другой стороны, пугала. Приходилось расставаться с близкими и любимыми людьми и со всем тем, что было так дорого и мило сердцу, чем все время жил и увлекался в мои детские годы.

В 10 лет я по-прежнему был тем же ребенком, каким был два-три года тому назад, чуждый почти всяких умственных запросов. Я по-прежнему ничего не читал, да и читать было нечего. Школа, кроме грамоты, ничего не дала мне и не пыталась даже возбудить во мне самую простую любознательность. И если бы меня снова спросили, как спрашивали раньше, «кем бы я желал быть», то я, не задумываясь, вероятно, ответил бы то же, что и прежде: «исправником!» Последний импонировал мне своим мундиром и тем, что он на иерархической лестнице был

первое лицо в городе. Дальше г. исправника моя фантазия в это время не шла.

Вопрос об отдаче меня в Вятскую гимназию был, наконец, решен окончательно, что вызвало слезы моей сестры Юлии, следующей по возрасту за мной. Она неожиданно для всех тоже стала проситься в гимназию. Но и слезы делу не помогли. Не было средств сразу учить в чужом городе двоих, да и отношение к женскому образованию было другое. Зачем женщине образование, когда она служить все равно не может, когда назначение ее — замужество, воспитание детей и хозяйство? Так сестра моя и осталась без образования, обучившись лишь тому, чему можно было обучиться в Орлове.

Все лето перед отправкой моей в Вятку я в полной мере отдавался своим обычным летним развлечениям и удовольствиям, как бы желая возместить этим предстоящие мне утраты с переездом в Вятку. Но, отдаваясь им, нет-нет, да где-то там, в глубине, и скребнет и напомнит, что скоро, скоро всему этому будет положен конец и я должен буду покинуть все то, что я любил и к чему был так сильно привязан.

Но вот уже и август 1862 г., когда надлежало отправиться в Вятку. К отъезду все было готово, наступил, наконец, и день этого отъезда. Сам отец поехал сдавать меня в гимназию. По обычаю, прежде чем проститься, все собравшиеся на проводы чинно уселись кто где мог, затем помолившись богу, началось прощание, сопровождаемое обильными слезами и напутственными пожеланиями. Тарантас, запряженный сытыми лошадками, давно уже ждал нас у крыльца. Мы садимся, прощаемся еще раз, и лошади, позванивая колокольчиками, бодро и весело уносят нас от дорогих сердцу лиц. На душе скребет, хочется плакать и плакать, но скоро дорожные впечатления отвлекают меня от скорбных дум и успокаивают.

На первой же станции, где предстояла перемена лошадей, один незначительный случай еще более отвлек меня от грустных размышлений.

Пока шла перепряжка, к станции подкатила новая пара. В экипаже сидели перепуганные и плачущие мальчик и девочка приблизительно одних со мной лет, а среди них валялся и горланил совершенно пьяный солдат. Из расспросов выяснилось, что это

дети священника Кувшинского из села Кокшаги Яранского уезда, едущие в Вятку, один — для поступления в мужскую гимназию, а другая — в женскую продолжать учение. Солдат же ввиду дальней и не совсем безопасной дороги отправлен был с ними в качестве проводника, но по дороге напился и стал бушевать. Отец распорядился оставить провожатого на станции, а дети поехали дальше уже под нашим наблюдением. Эта неожиданная встреча окончательно развлекла меня.

Мальчик Кувшинский затем стал моим товарищем по гимназии до пятого класса, когда он, увлекшись военным делом, перешел в какое-то военное училище, а с его сестрой, Анной Дмитриевной, я снова встретился лишь потом, много лет спустя, когда она по окончании гимназического курса состояла уже классной дамой в епархиальном женском училище и стала вращаться в наших вятских кружках. Здесь, на общем деле, мы сблизились и подружились, потом полюбили, а затем, уже после «процесса 193-х», и поженились. И с тех пор до самой своей смерти в 1909 г. она была неизменным товарищем и спутником в моей жизни, деля со мной все радости и горе, какие посылала нам судьба.

II

Приезд в Вятку. Поступление в гимназию. Первые годы жизни в Вятке. Смерть отца. Бедственное положение семьи, угрожающее продолжению моего обучения в гимназии



С этими маленькими приключениями к вечеру того же дня мы были уже в Вятке.

Наши случайные спутники Кувшинские направились к своим родственникам, а мы к своим — Ивану Михайловичу Чарушину, жившему в своем каменном доме по Николаевской улице, недалеко от Хлыновки. Судя по всему домашнему обиходу, наш родственник был человек зажиточный; кажется, он занимался хлебным делом. Маленьких детей у него не было, и я в его большом доме был предоставлен самому себе,

а потому и чувствовал себя неважно. Но, к счастью, прожили мы там недолго, и я уже больше никогда не видал этого своего родственника, вскоре же, кажется, и умершего.

Дня через три по нашем приезде в Вятку меня повели в гимназию для сдачи вступительного экзамена. Экзамен я сдал и был зачислен в первый класс гимназии, после чего, как полагалось, мне заказали форму с красным воротником, и я таким образом превратился в «красную говядину», как обычно дразнили нас, гимназистов, за наши красные воротники уличные мальчишки и учащиеся других учебных заведений.

Тогда же была найдена для меня за небольшую плату и квартира у одной офицерской вдовы, проживавшей на Морозовской улице, где я и поселился. Отец мой, устроив все мои дела, уехал, и я впервые — десятилетним мальчиком — остался совершенно один в незнакомом городе и среди чужих людей.

Жуткое чувство одиночества и щемящая тоска не покидали меня, особенно в первое время. Но острота этого переживания постепенно сглаживалась, и я начал свыкаться с новыми условиями жизни и с гимназией.

Этому немало, без сомнения, содействовало и то обстоятельство, что наша гимназия того времени (1862 г.) тоже попала в полосу оттепели. Прежний суровый режим, безраздельно царивший в ней, под влиянием захвативших русское общество новых идей — в частности, и в вопросах школьного дела — сменился новым, более человечным. Розга была изгнана, а учителя, хотя в большинстве и прежние, одни совершенно искренне изменили свое отношение к учащимся, а другие по необходимости должны были приноравливаться к новым веяниям. Жить стало много легче, и школа уже не пугала нас. Мы скоро освоились с ней и выполняли свои школьные обязанности, кто как мог и умел, но не увлекаясь, однако, ими. По-прежнему все наши влечения были на стороне детских игр, забав и шалостей, которым мы с увлечением отдавались как в самой школе, так и вне ее, разнообразя их в зависимости от времени года.

Так мирно тянулась моя гимназическая жизнь в Вятке в первые два года пребывания в ней, радостно

нарушаемая лишь моими поездками домой на рождественские праздники, масленицу, пасху и летние каникулы, всегда с большим нетерпением ожидаемые мною.

Обычно, еще накануне моего отпуска, наш придворный ямщик Семен из ближайшей к Орлову деревни приезжал за мною в Вятку на паре своих лошадок и на другой же день увозил меня домой.

Я любил этого Семена, ласкового и словоохотливого мужичка, который не уставал во время пути занимать меня рассказами о моих домашних, не забывая в то же время, в особенности зимой, останавливаться у каждого деревенского кабака, чтобы обогреться и пропустить шкалик-другой живительной влаги.

К концу пути настроение Семена заметно поднималось, но это не мешало ему благополучно доставлять меня до дому, по мере приближения к которому росло и мое нетерпение. В моем воображении уже отчетливо рисовались радостная встреча всех домашних и ряд привычных и хорошо знакомых удовольствий и развлечений.

Каникулярное время как-то уж очень быстро протекало. Не успеешь, бывало, оглянуться, как уже наступало время отъезда в Вятку, что всегда вызывало чувство, совершенно обратное тому, с каким ожидалась поездка домой. Тот же Семен после трогательных прощаний с семьей увозил меня в Вятку, по мере приближения к которой тоскливое чувство становилось все острее и острее. Но проходило два-три дня, и эта острота пропадала, а затем я и совсем приходил в норму.

Из первого класса я благополучно перешел во второй, а затем так же благополучно и в третий. Но за время пребывания моего в этом последнем обстоятельства сильно изменились. Хозяйка моя переменила квартиру на более обширную и взяла еще нахлебника, великовозрастного юношу старших классов гимназии, некоего Ипатьева, сына орловского чиновника, с семьей которого наша семья была хорошо знакома. Юноша этот, чуть не саженного роста, оказался большим забулдыгой, учился плохо, часто по целым неделям не посещал гимназию, проводя время за карточной игрой и выпивкой с такими же товарищами-

собутыльниками. Ко мне, как к малышу, он относился покровительственно и, пожалуй, даже любовно, а вместе с тем начал и меня таскать с собой по трактирам и по квартирам своих товарищей, где он обычно проводил свои учебные часы.

Так тянулась с перерывами вся первая половина учебного года, когда я недели по две не посещал гимназию. Вероятно, и дальше было бы то же, если бы в одном из этих трактиров я случайно не встретился со своим дядей. Конфуз мой был ужасный, но он послужил мне на пользу, так как после этой встречи и головомойки, которую я от него получил, я прекратил свое необычное времяпрепровождение, которое к тому же совсем и не тянуло меня. Я снова возвратился в гимназию, но было уже поздно, так как нагнать своих товарищей по классу я уже не мог и был оставлен на второй год в том же классе. Ипатьев же к концу того же (1865) учебного года вынужден был совсем покинуть гимназию «по болезни», как значится в официальных актах.

Вспоминая это далекое прошлое, я и до сих пор не могу понять, зачем нужно было моему великовозрастному сожителю таскать меня с собою, когда ни в выпивках, ни в карточной игре, ни в скабрезных разговорах его с товарищами я не принимал решительно никакого участия, а был лишь только подневольным зрителем их далеко не почтенного времяпрепровождения. Стыдно мне было и своих родителей за мои школьные неуспехи, которые соответствующими отметками обозначались в табели об успехах и поведении. Мне очень не хотелось огорчать их, и я скрепя сердце превращал единицы и двойки в четверки и тройки, но, должно быть, делал это так неискусно, что не мог обмануть их, что еще больше приводило меня в конфузное состояние.

Настроение мое в этот период гимназической жизни было скверное, я уже сознавал, что поступаю дурно. Это настроение усугублялось еще сознанием, что родители мои выбиваются из последних сил, чтобы учить меня в чужом городе, что требует денег, каких у них не было. Все это, вместе взятое, отравляло мне и радость пребывания под родительским кровом.

Приблизительно к этому же времени состоялся и мой перевод на другую квартиру. Я поселился у

квартирной хозяйки, проживавшей на углу Спасской и Спенчинской улиц, напротив казарм (впоследствии фельдшерские курсы), у которой кроме меня жило до десяти других нахлебников-гимназистов разных возрастов. Тут были и товарищи по классу, и ученики старших классов разнообразных характеров и типов. В числе последних помню некоего С. Федорова, большого театрала и франта, имевшего немалые знакомства среди гимназисток, что было совсем необычным для нас явлением. Но особенно памятен мне другой из этих старших, Н. К. Лопатин, прямая противоположность Федорову, шедший классом ниже последнего. Это был юноша острого, но несколько скептического ума, изрядно начитанный и с характером, влияние которого на нас, малышей, было несомненно. В последующие годы своей гимназической жизни (кончил он гимназию в 1868 г.) он был неизменным участником гимназических кружков, в которых играл видную роль, а в Петербурге, когда он уже состоял студентом Медико-хирургической академии, был одним из основоположников кружка чайковцев.

Жизнь в этом новом общежитии была уже много здоровее, разнообразнее и интереснее. Детские игры и шалости, конечно, по-прежнему увлекали нас, но рядом с этим появилась уже любовь к чтению.

Живя поблизости от Публичной библиотеки, тогда еще доступной и для нас, учащихся, мы постоянно бегали туда и брали книги для чтения на дом. В то время я особенно увлекался Майн-Ридом, Купером и Вальтер-Скоттом, увлекались ими и другие сверстники мои по общежитию, что давало повод нам устраивать и соответствующие воинственные игры. Но наш воинственный пыл сказывался не только в играх: мы предпринимали время от времени, под командой сильного и великовозрастного гимназиста старших классов Накарякова, набеги на глухой Копанский овраг, тогда еще не заселенный, где нередко в темные осенние и зимние вечера происходили ограбления прохожих. Вооружившись кто чем мог, мы в воинственном настроении и в то же время с тайным трепетом в душе направлялись целым отрядом в это злополучное место в надежде встретиться с разбойниками. Но встречи этой, к нашему сожалению, а может быть, и к нашей радости, никогда не происходило, и мы возвращались

домой ни с чем. Искали мы боевых столкновений и с семинаристами, исконными врагами гимназистов. О боевых стычках между теми и другими ходило в то время немало легенд, причем в большинстве случаев семинаристы выходили из них победителями. Это, разумеется, обижало нас, и мы жаждали возмездия, уповая на несокрушимую силу нашего предводителя. Но и здесь все наши искания обычно были безрезультатными.

В декабре 1866 г., когда я был еще в третьем классе гимназии, я неожиданно был вызван приехавшим из Орлова врачом М. М. Синцовым, ставшим в следующем году первым председателем губернской земской управы. От него я узнал, что отец мой скоропостижно скончался в уезде и что меня немедленно вызывают домой. Известие это так поразило меня, что я не помню уже, как я, при содействии Синцова, собрался и выехал домой. Всю дорогу меня трясла нервная лихорадка; одна мысль, что отца, которого я несомненно любил, уже нет, неотступно гвоздила в моем мозгу. Дома я застал плач и общую растерянность, осложняемую еще тем, что тело отца, уже вынесенное в церковь, неожиданно, по распоряжению полиции, взяли и перенесли в полицейское управление для вскрытия, как скоропостижно умершего. По понятиям матери, знакомых и родственников, это казалось уже настоящим издевательством и позором, допустить который было нельзя. Мать моя, не оправившаяся еще после родов, несмотря на свое горе, принялась бегать и хлопотать, чтобы спасти тело мужа от поругания. В конце концов этого ей, к общему нашему успокоению, удалось достигнуть. Тело выдали и подобающим порядком похоронили уже беспрепятственно. Из рассказов и расспросов о причинах смерти отца выяснилось, что он, во время очередного объезда уезда вместе со своим письмоводителем Банниковым, в одном ухабе вывалился из повозки и был поднят уже без признаков жизни. Человек он был довольно грузный, и сердце от потрясения, вероятно, отказалось служить дальше.

Положение семьи после смерти отца было поистине отчаянное. Работников в ней не было. Денег же по тщательном обыске оказалось 3 или 5 рублей, к тому же были еще и долги по лавкам. Единственными ре-

сурсами были лишь небольшая квартирная плата за казначейство да такой же доход с арендуемой мукомольной мельницы, отдаваемые нашим дядей в распоряжение матери. Но этого для такой большой семьи, как наша, было слишком недостаточно, а потому первые месяцы после смерти отца она бедствовала в буквальном смысле слова: ели хлеб с мякиной, привозимой с мельницы, а вместо свечей в длинные зимние вечера сидели с лучиной.

Тяжелое это было время. Даже рождественские каникулы, которые я непосредственно после смерти отца проводил дома, такие радостные прежде, протекали теперь в атмосфере острого горя, еще более ощутимого от этого сопоставления с прошлым. Одна только мать, на которой теперь лежала вся ответственность за семью, благодаря своему энергичному характеру не опустила рук и, как могла, принялась за обычные хозяйственные заботы. Как она выкручивалась из материальных затруднений, обступавших ее со всех сторон, я не знаю, но так или иначе она все же находила какие-то возможности поддержать свою многочисленную семью и не дать ей умереть с голоду.

При таких обстоятельствах, естественно, должен был возникнуть вопрос: что же делать со мною? Отправлять ли меня для продолжения учения или же взять из гимназии? Но это тягостное колебание тянулось лишь в течение рождественских каникул, по прошествии которых меня все-таки отправили в Вятку, хотя почти без гроша денег. С тяжелым чувством покинул я на этот раз родной кров, и мысль о безвыходном положении близких мне долгое время не покидала меня и в Вятке. Здесь я по дешевке нанял себе пустую комнату без харчей и кормился, как придется, сам. В это время я уже чувствовал себя счастливым, когда в кармане у меня болтались пятак или трешница (3 коп.), на которые я мог купить себе целых 2 или 3 фунта хлеба!

В последующее же время наш дядя, Иван Львович, этот добрый гений нашей семьи, пришел ей на помощь, очевидно, более существенным образом, благодаря чему ей не пришлось уже голодать, а мне, а затем, когда пришло время, и младшим братьям моим — Аркадию, Виктору и Ивану — удалось продолжить начатое образование.

III

Начало сознательной жизни. Возрастающий интерес к чтению. Первые опыты кружковой работы



Выше мною было уже сказано, что предыдущая моя жизнь в ученической квартире на Спасской улице благотворно отразилась на мне. У меня кроме прежних детских увлечений играми и шалостями появился также и интерес к чтению, правда еще легкому и занимательному, увлекавшему меня по преимуществу интересной фабулой. Но уже и здесь черты благородства и рыцарства, встречаемые в описаниях действующих лиц, всегда особенно импонировали мне, а вместе с тем даже и в этом чтении понемногу открывался для меня другой, неведомый мне мир. Постепенно же развивавшаяся любознательность неизбежно толкала меня дальше и расширяла круг моих интересов. От Майн-Рида и Купера я переходил к Диккенсу, особенно трогавшему меня любовным изображением своих маленьких героев, Теккерею и Сервантесу, а затем и к русским авторам — Помяловскому, поразившему меня развернутой им в таких ужасающих красках жизнью нашей злополучной бурсы, к Решетникову, не менее поразившему меня изображенной им чисто зоологической жизнью наших крестьян захолустных медвежьих углов, а также и к другим авторам. Но едва ли не самое сильное впечатление произвел на меня в то время Гоголь своим «Ревизором» и в особенности «Мертвыми душами», нарисовавший в этих своих произведениях в таких незабываемых художественных образах широкую картину неприглядной русской жизни. Все это чрезвычайно меня трогало и как-то даже обижало, что наша русская жизнь так неприглядна и уродлива, а между тем страстно хотелось видеть ее в другом, много лучшем образе.

Но не одни литературные влияния, а и сама окружающая действительность не могла остаться без некоторого воздействия на возбуждение моего интереса к ней.

В это время Россия переживала еще эпоху реформ, общественное возбуждение, так сильно проявившееся с новым царствованием, последовавшим непосредственно за крымской катастрофой, хотя уже и обрезанное, еще не улеглось. Круг новых идей и новых веяний, захвативших русское общество в начале царствования Александра II, еще не потерял своей силы и сохранил свое обаяние в полной мере, в особенности на молодое поколение. Все это, вместе взятое, не могло не сказываться на местной жизни и местных людях, а вместе с тем и на мне лично. Кругом чувствовалось какое-то оживление, на вятском горизонте стали появляться новые люди, жизненный обиход которых и речи так отличались от привычных обывательских, возникали и новые учреждения, производившие в некотором смысле настоящую революцию в ветхозаветном укладе нашей жизни. Я помню, как в первое время по введении в Вятке мировых учреждений я время от времени бегал в камеру мирового судьи, где нередко приходилось присутствовать при рассмотрении дел об оскорбительном или грубом обращении хозяев со своей прислугой. Помню и мою радость и торжество, когда на этом суде справедливость выходила победительницей и судья выносил свой обвинительный вердикт какой-нибудь разряженной барыне, принимавшей этот приговор с искренним возмущением.

Немалое влияние оказывали на меня и наши гимназические кружки, которые не переводились до окончания мною курса в 1871 г. и в которых я участвовал с четвертого класса. Неизменными членами этих кружков были, пока они находились на гимназической скамье, упомянутый выше Н. К. Лопатин, А. М. Праздников, впоследствии всеми уважаемый земский врач в Вятке, Алексей Кашменский, сын соборного протоиерея и нашего законоучителя, несколько лет спустя утонувший в Вятке вместе со своим братом Николаем и товарищем Василием Бабинцевым, студентом Медико-хирургической академии, Николай Шкляев, впоследствии тоже земский врач, и другие. В числе этих лиц я был едва ли не самый младший. Из женской же публики в первое время в нашей кружковой жизни никто не принимал никакого участия, вероятно, потому, что она еще не успела дорасти до

кружковой жизни, требовавшей некоторой смелости и сопряженной с известного рода риском для себя, отчасти же и потому, что некоторые из нас, совершенно непривычные к женскому обществу, относились отрицательно к вступлению в кружок женщин. Собирались мы в квартире Праздникова, жившего на углу Московской и Никитской улиц, большею же частью в квартире Кашменского, в чердачном помещении соборного дома. Чтений в самом кружке было мало, читали обычно дома по более или менее определенной программе, принятой кружком, а на собраниях по преимуществу велись лишь беседы о прочитанном. В программу чтений входили не одни только художественные произведения, по преимуществу русских авторов, но и критические и публицистические статьи Добролюбова, Писарева и других. Позднее, вместе с нашим возрастом и духовным ростом, программа наших чтений значительно расширялась, преследуя уже задачи выработки общего миросозерцания, выполнение которых в той или иной мере всецело зависело от нас самих и от степени нашего усердия и заинтересованности. Но уже и тогда, в этот ранний период нашего духовного пробуждения, Писарев и Добролюбов и другие критики и публицисты того времени, освещая и толкуя художественные произведения, в то же время и сами по себе и целым рядом других статей по разнообразным вопросам, талантливо и страстно написанных, постепенно вводили нас в круг идей и вопросов, волновавших тогда русское общество.

Нередко собрания наши сопровождались страстными спорами по тем или иным вопросам, по которым мнения наши расходились. Все это, вместе взятое, возбуждало нашу мысль, понемногу расширяло наши горизонты и толкало на новые достижения в области знания, недостаток которого на каждом шагу не мог, разумеется, не ощущаться.

Постепенно, с течением времени, со всей русской, а отчасти и с лучшими произведениями иностранной художественной литературы мы в достаточной степени ознакомились. В русской литературе мы искали уже не только отображения в художественных образах русской жизни, но и откликов на современность, а также образов и типов не только отрицательных, но и положительных, могущих служить нам путеводи-

телями в нашей жизни. По этой причине Пушкин с его легким и звучным стихом, так легко запоминающимся, и со всей красотой его поэзии мало увлекал нас. Лермонтов, пожалуй, был для нас предпочтительнее. Возможно, что здесь в немалой доле сказалось влияние Писарева, продолжавшего еще владеть умами подрастающего поколения. Любимым же нашим поэтом того времени был, несомненно, Некрасов, произведениями которого мы зачитывались и выучивали многие из них наизусть. Его народнический уклон, его страстная любовь к обездоленному люду и гражданский характер мотивов его поэзии, столь родственные уже и нашему настроению, увлекали нас и искренне привязали к самой личности поэта, в которой не хотелось видеть ни одного темного пятна.

Из художников же прозаиков больше всех импонировал нам Тургенев, произведения которого мы в буквальном смысле пожирали и с нетерпением ждали его новых работ. Писатель-идеалист огромного художественного дарования, умевший так ярко и немногословно изобразить все то, за что он брался, всегда высокогуманный и свободолюбивый, чуткий к вопросам современности и умевший отмечать в ярких образах все новое, нарождающееся в русской жизни, не мог не иметь на нас большого и облагораживающего влияния. Это влияние в сильной степени испытывал на себе и я, а его обаятельные женские образы и типы, с тонкой и любовной обрисовкой женской души, немало способствовали полному изменению моего отношения к женщинам вообще, каковое до того времени можно было назвать если не отрицательным, то безразличным. Никогда не любивший и стыдившийся и раньше скабрезных и циничных разговоров товарищей, до которых многие из них, даже и из числа наиболее развитых, были особенно падки, я уже совершенно не мог их выносить и обычно отходил прочь, пока они не прекращались.

Произведения Тургенева всегда давали обильную пищу для жарких споров и обсуждений, о которых в свою очередь немало говорила и русская критика.

Но больше всего возбуждали эти прения «Отцы и дети» с их главным героем Базаровым. Последнего некоторые из нас принимали полностью, другие же, отдавая дань уважения силе и цельности его ума и

смелости его отрицания, хотя и видели в нем представителя грядущей молодой России, но представителя одностороннего, лишенного широких общественных идеалов, что нас уже не могло удовлетворять. Поэтому даже Рудин (не говоря уже об Инсарове и Елене в «Накануне»), этот провозвестник нового слова в пустыне и человек недееспособный, несмотря на все недостатки его характера, казался нам симпатичнее Базарова, в особенности же когда мы узнали, что в неопубликованном конце этого романа автор заставляет умирать своего героя на парижских баррикадах.

В поисках художественного изображения типов новых людей, указующих пути жизни, едва ли не самое сильное влияние имел на нас малохудожественный роман «Что делать?» Чернышевского.

Новые люди этого романа с их новыми и человечными взаимоотношениями, в особенности в такой интимной и щекотливой области, как брачная, не могли не увлекать нас. Устраивая совсем по-хорошему свою личную жизнь, они — что особенно было ценно для нас — в то же время радостно уходили и в общественную жизнь, останавливая там свое внимание на обездоленном люде, которому они несли свет и знание и новые основы трудовой жизни. Но все эти несомненно хорошие люди, заслуживающие подражания, в наших глазах совершенно стушевывались пред таинственным и едва обрисованным Рахметовым, которого Чернышевский показывал нам как бы из-под полы, не дерзая открыть его во всей его целокупности. Этим своим образом, таинственным и смутным, заставлявшим усиленно работать наше воображение, Чернышевский, уже изъятый из обращения и обреченный на полное молчание, из своего сурового заточения как бы говорил нам: «Вот подлинный человек, который особенно нужен теперь России, берите с него пример и, кто может и в силах, следуйте по его пути, ибо это есть единственный для вас путь, который может привести нас к желаемой цели». И образ Рахметова врезался в нашу память, он властно вставал перед нашими глазами и тогда, когда мы и сами страстно искали лучших и верных путей жизни, помогая нам, поощряя нас на решительный шаг!

Кружковая гимназическая жизнь, оказавшая на первых порах несомненное влияние на возбуждение

нашего интереса к знанию и к вопросам общественности, в то же время с очевидностью показала нам, что она сама по себе знаний этих дать не может, какие бы широкие программы мы ни принимали. На собраниях кружка самое большее — можно было прочесть какую-нибудь публицистическую или критическую статью да обменяться мнениями о прочитанном, или же по совершенно случайным вопросам, возбуждаемым кем-нибудь из нас. Становилось совершенно ясным, что знания эти необходимо было приобрести дома, каждому по отдельности, отрывая необходимое для этого время от наших развлечений, от сна и гимназической науки, которая в общем мало увлекала нас. Поэтому вера в чудодейственную силу кружковой жизни падала, и эта последняя постепенно принимала несколько другой характер — простого общения между родственными по духу и по влечениям элементами, независимо от принадлежности к тому или другому классу, а позднее — и к учебному заведению. На этих, последнего типа, собраниях уже не ставились задачи систематических чтений, здесь обменивались мнениями по занимавшим нас вопросам, иногда прочитывали какой-нибудь реферат, а то и просто развлекались. Такие собрания бывали особенно многолюдны и оживленны, когда студенты приезжали на каникулы, а их, студентов, с каждым годом становилось все больше и больше.

IV

Гимназия, ее преподаватели и учащиеся



Говоря о гимназическом периоде моей жизни, нельзя, разумеется, хоть кратко, не сказать и о самой гимназии, и о ее преподавателях и директорах, которые направляли нашу школьную жизнь и давали ей содержание.

В 1862 г., когда я поступил в гимназию, как сказано выше, она уже в сильной степени подвергалась влиянию новых идей, охвативших тогда русское обще-

ство. Школьные вопросы и вопросы образования вообще возбуждали также общий интерес и усердно трактовались в прессе, в педагогических кругах и разных правительственных комиссиях. Хотя огромное большинство наших учителей были прежние, перешедшие к нам еще от гимназии николаевских времен с ее суровым, чисто солдатским режимом, но, уступая духу времени, одни из них искренне, а другие, подчиняясь необходимости, изменили свое отношение как к самому делу преподавания, так в особенности к нам, учащимся. Розга исчезла, прежний солдатский режим заменился более гуманным и внимательным, благодаря чему школьная атмосфера в значительной мере очистилась и не была уже тягостной. Гимназия жила тогда еще по реакционному уставу 1849 г., выработанному после французской революции 1848 г., с расчетом побольше выпустить из нее воспитанников для практической деятельности и поменьше для продолжения образования в университетах. С этой целью с четвертого класса для первых предназначалось законоведение, а для последних — латинский язык. В 1865 г. Вятская гимназия была преобразована в классическую, но лишь с одним латинским языком. Реформой этой упразднялись законоведение и естественная история, преподаватели которых должны были покинуть гимназию. Вся гимназия искренне сожалела, что ее самый живой и любимый преподаватель естественной истории Шнейдер, пользовавшийся огромной популярностью среди учащихся, должен был оставить ее. С уходом его гимназия осиротела, особенно же почувствовали это воспитанники младших классов, где Шнейдер преподавал. Полный же толстовский классицизм с преподаванием и греческого языка введен был лишь со второй половины 1871 г., когда я уже окончил гимназию.

Директором нашей гимназии до декабря 1866 г. был И. М. Глебов, ранее, в 50-х годах, состоявший в той же гимназии инспектором. Во время своего инспекторства он прибегал к жестоким мерам наказания, но, сделавшись директором уже в эпоху начала реформ, сильно изменился и не шел вразрез с господствующим течением. Но мы, гимназисты, мало знали его, показывался он нам довольно редко, и то большею частью тогда, когда за какие-нибудь про-

винности или шалости, выходящие за пределы дозволенного, надлежало накричать на нас и нагнать страху. Небольшого роста, худощавый, всегда с наклоненной набок головой, никогда не улыбавшийся, но обладавший громким голосом, он умел нагонять этот страх, и мы его боялись. Но этим дело и ограничивалось, зла он никому не причинял. При нем педагогический совет гимназии получил даже особое значение; был он и большим сторонником женского образования.

Глебова заступил Э. Е. Фишер, немец по происхождению, аккуратный и педантичный, которому, согласно с изменившимся общим курсом, предстояло подтянуть гимназию, усвоившую было за время российской оттепели несколько вольный дух. Дело свое новый директор делал с тактом, но систематически и неуклонно, причем ни одна мелочь не выходила из поля его зрения. Обращалось большое внимание на поведение воспитанников, но последние мало поддавались новому режиму и продолжали свою жизнь вне гимназии по-прежнему, соблюдая лишь бо́льшую осторожность, чем раньше. Фишер, впрочем, был не злой человек, всегда спокойный и вежливый, и ничего особенно худого воспитанники от него не видели. С таким же тактом Фишер подтянул и педагогический персонал. При нем о товарищеских отношениях с педагогами не могло быть и речи. Фишер занял положение олимпийца, но олимпийца еще мягкого и корректного.

Что касается преподавателей, то среди них были у нас всякие. Были и совсем никчемные, которых мы не уважали, у которых не учились, над которыми нередко зло издевались. Были и такие, которых не любили, но уважали и у которых, как у толковых и знающих преподавателей, охотно учились. Но любимых и в то же время уважаемых преподавателей, оказывавших на нас облагодетельное влияние и способствовавших нашему развитию, было совсем мало — один-два да и только! Мы не только учились у них, но и всегда особенно бережно относились к ним.

К числу первых по преимуществу следует отнести преподавателя немецкого языка Н. А. Борнгардта, французского — Фабиана Ивановича Барановского и латинского — С. Хорошкевича (второй преподаватель).

Борнгардт, старенький и кругленький немец, плохо говоривший по-русски, всегда одетый в длинный форменный сюртук нараспашку, с неизменным цветным платком в руке и табакеркой с нюхательным табаком, которые он вместе с классным журналом клал на учительский стол. Вся фигура добродушного немца, забавно коверкавшего при этом русскую речь, возбуждала лишь веселое настроение в классе, сопровождаемое шалостями, за которые провинившиеся ставились в угол на колени, откуда наказанные ползком, постепенно и незаметно для учителя, перебирались на свои парты. Его обычная брань «швинь» нередко раздавалась в таких случаях. Преподавание велось плохо и апатично, учились же еще хуже, но приличные отметки были почти у всех, так как Борнгардт обычно спрашивал каждого раз или два в месяц в порядке записи воспитанников в классном журнале, благодаря чему каждый уже заранее знал, когда его спросят, и к этому времени по мере своих сил подготовлялся.

В 1868 г., когда мы были уже в старших классах, Борнгардта за выслугой лет сменил тоже немец, Шнейдер, из военных. Это был еще молодой человек очень высокого роста, с зычным голосом и военной выправкой и с хорошей русской речью. Он знал свое дело, был строг и требователен, и при нем прежние шалости были уже немыслимы. Туго нам пришлось при новом учителе, которого мы изрядно боялись. Языка мы совершенно не знали, многие не могли даже бегло читать по-немецки, а между тем курс надо было проходить дальше. Приходилось усиленно приналечь на язык, чтобы хоть мало-мало возместить потерянное и пробираться дальше.

Не в лучшем виде находилось и преподавание французского языка в руках Фабиана Ивановича Барановского, при котором мы почти начали и кончили гимназический курс. Барановский, поляк по происхождению, маленький и старенький человечек, красивший свои волосы, знал свой предмет неважно, преподавание вел вяло и скучно, и ученики предпочитали на его уроке заниматься каждый своим делом или же выдумывали разные шалости, которые выводили его нередко из себя, что в свою очередь только усиливало наше веселое настроение. Особенно любил он читать нам нравоучения и все больше за плохое содер-

жание ученических тетрадок по французскому языку. Однажды как-то, увлекшись, обращаясь к Иванову, он воскликнул: «Иванову, Иванову! Вот и Каракозов тоже имел плохие тетрадки, и его повесили и сослали в Сибирь!» Потом каждый раз, когда он приступал к своим обычным нравоучениям, мы уже сами, шутки ради, помогали Барановскому неисправного ученика сначала повесить, а потом и сослать в Сибирь.

Понятно, что при таком преподавателе французского языка мы, за исключением тех, кто занимался им самостоятельно дома, не знали и кое-как перебирались из класса в класс.

Но пальма первенства из этой категории преподавателей бесспорно должна быть отдана Хорошкевичу, второму преподавателю латинского языка, попавшему к нам, когда мы были уже в старших классах. Это был молодой человек, невзрачный на вид и совершенно лысый, что, видимо, очень огорчало его и побуждало прибегать к разным косметическим средствам, чтобы поправить дело. Предмет он знал плохо, преподавание вести совсем не умел, и о какой-либо дисциплине на его уроках не было и помину. Отношение к нему учеников было совсем неуважительное, скорее ироническое и насмешливо-покровительственное. По приходе его в класс, если настроение наше было мирное, мы затевали с ним разговоры на больную для него тему и сочувственно выражали ему радость, что пушок на его голове, которую он постоянно поглаживал своей рукой, заметно растет и есть надежда и на дальнейшее улучшение дела, при этом рекомендовали ему разные отлично действующие рецепты для ращения волос и пр. Случалось, что великовозрастные из нас заводили с ним и скабрезные разговоры, уличая нашего преподавателя в нескромных похождениях, что конфузило его и выводило из себя. Но чаще всего урок Хорошкевича протекал при невероятном гаме и шуме, сопровождавших проделки учеников. Когда затевалось что-нибудь особенно серьезное в этом роде, то заблаговременно передние парты сдвигались так, чтобы прохода на задние не было. В ожидании представления класс замирал, а встревоженный необычной тишиной Хорошкевич пугливо озирался, не зная, с какой стороны ему ждать нападения. Но ждать ему приходилось недолго: на задних партах раздается серебри-

стый звон колокольчика, Хорошкевич стремглав летит по направлению звука, но встречает непреодолимое препятствие; в это время звон колокольчика раздается уже в другом конце, он кидается туда, но там тоже препятствие; а между тем колокольчик работает уже в противоположном конце и призывает к себе растерявшегося педагога. Выведенный из себя, он вскакивает на парты и по ним устремляется по направлению звука, но тут поднимаются невообразимый гвалт, шум и возня, привлекающие начальство. Начиналась разборка, которая обычно оканчивалась ничем, так как зачинщики не выдаются. Но урок прошел весело, занятий не было, а нам только это и было нужно.

Однажды в пятом классе на уроке Хорошкевича с учительского стола стащили классный журнал и в щель под дверью переправили в смежный шестой класс, учениками которого, по соглашению с нами, он спущен был в яму уборной, где и погиб со всеми отметками. Дерзкая шалость эта вызвала большой переполох, дело, казалось, готово было принять серьезный оборот, но виновники не были обнаружены, и оно кончилось ничем. В таком роде и проходили все наши уроки в классе Хорошкевича. Понятно, что при таких условиях немного мы и выносили из них.

Другой преподаватель латинского языка, с которым нам в старших классах главным образом приходилось иметь дело, Алексей Ильич Редников, целых 30 лет учительствовал в нашей гимназии. Это был в своем роде замечательный человек, большой оригинал и страшно неряшливый, в особенности в домашнем обиходе. Обладая прекрасным здоровьем, он и в морозы всегда ходил в ватном пальто внакидку. В класс он обычно влетал, а не входил, всегда в стареньком засаленном вицмундире и в широченных из толстого драпа брюках, в необъятных карманах которых неизменно покоилась бутылка водки, до которой Алексей Ильич был большой охотник. Умный, энергичный, отличный знаток языка, который он любил и в котором обладал профессорскими знаниями, но страшно безалаберный и в деле преподавания, как и в личной жизни, он, несмотря на это, все же был ценным преподавателем, но лишь для тех, у кого был заложен хороший фундамент по языку еще в младших классах. У большинства же из нас этого фундамента не

было, к тому же в то время под влиянием прессы, страстно обсуждавшей вопросы о преимуществах классического и реального образования, мы почти все были на стороне последнего и отрицательно относились к классицизму и, в частности, к изучению латинского языка, а потому и не стремились к познанию его. По этим причинам, за редкими исключениями, в знании языка мы не преуспевали, а заботились лишь о том, чтобы знать его настолько, чтобы не срезаться на переводных испытаниях. И Алексей Ильич, в обычное время требовательный и строгий, не упускавший случая каким-нибудь острым словом, а чаще всего выразительным латинским изречением поиздеваться над нами, в решительную минуту был снисходителен к нам и не топил нас. Какое-то сложное чувство возбуждала в нас эта, несомненно, оригинальная, цельная и талантливая личность учителя: мы побаивались его и в то же время уважали, пожалуй, даже любили, а вместе с тем и добродушно подсмеивались над ним.

Из преподавателей второй категории прежде всего следует отметить Василия Петровича Хватунова, обучавшего нас физике и математике. Небольшого роста, но плотный, энергичный и подвижной, он вел преподавание, сопровождая его нередко шутками и прибаутками, необыкновенно живо, толково и вразумительно, так что только ленивый не усваивал предмета. В классе его всегда царили полная тишина и напряженное внимание, в особенности когда Хватунов приступал к объяснению следующего урока. Ясность и сжатость этих объяснений делали почти ненужным домашнюю работу над уроками. Мы знали его предмет, невольно заинтересовывались им, но на этом все наши отношения с Хватуновым и оканчивались.

К этой же последней категории учителей можно отнести и Виктора Павловича Москвина, преподавателя словесности. Высокий, худой, с длинными белокурыми волосами, закинутыми назад, всегда серьезный и величественный, он уже одним своим олимпийским видом внушал к себе невольное уважение. Предмет он свой знал хорошо, говорил толково, но сухо, лишь изредка увлекаясь при рассказе. Урок проходил всегда в полной тишине, так как и самый предмет интересовал нас. Но благодаря тому, что Москвин, не

ограничиваясь школьной программой, курс древней литературы проходил много подробнее, мы не успевали доходить до литературы новейшей, с которой должны были уже знакомиться сами. Влияло также и то, что Москвин, страдая запоем, нередко по неделям не посещал гимназии. Но, несмотря на все эти недостатки, мы любили предмет, к которому В. П. Москвин сумел внушить нам серьезное отношение.

Столь же серьезно многие из нас относились и к сочинениям на заданные темы, в особенности если эти темы нам нравились. Здесь, в этих сочинениях, всего скорее сказывалась степень нашего развития, а особенно удачные работы ценились преподавателем и прочитывались им в классе как образцовые. Сам увлеченный наукой и следящий за ней, Москвин старался умственно поднять и нас и возбудить работу нашей мысли. Уже одно это заставляло забывать все его недостатки, почтительно относиться к нему и выделять из среды его товарищей-педагогов, нередко в полном смысле убогих.

Среди преподавателей Вятской гимназии, бесспорно, совершенно исключительное место занимал преподаватель истории Яков Григорьевич Рождественский. Этому последнему, яркому светочу нашей гимназии, мы многим обязаны в нашем духовном развитии, — его мы искренне любили, бесконечно уважали и относились к нему крайне бережно, избегая всего, что могло бы огорчить его. Мы знали, что в начале 60-х годов, когда он жил уже в Вятке, он с какой-то стороны привлекался по так называемому Казанскому делу, в котором замешаны были вятские семинаристы и некоторые из семинарских преподавателей, сидел в тюрьме, а следовательно, в глазах начальства был уже человеком с подмоченной политической репутацией. Зная это, мы, несмотря на полную его доступность и искреннюю доброжелательность к нам, к которым он относился, как к младшим товарищам, — сами старательно избегали всего, что могло бы дать повод начальству усилить свою подозрительность по отношению к нашему любимому преподавателю. Поэтому мы не искали сепаратных отношений с ним, ограничиваясь лишь встречей на его классных уроках. Этих уроков мы ждали и всегда радостно встречали Якова Григорьевича. Спрашивал он нас очень

редко, очевидно не любил этого скучного дела и полагался на нас самих, зная, что мы не подведем его. И мы его не подводили. Свои уроки он по преимуществу посвящал рассказам об исторических событиях, которые по учебнику должны быть приготовлены к следующему разу. Рассказы эти велись так живо, увлекательно и в надлежащем освещении, что класс буквально замирал, слушая его.

Нередко, оставляя в стороне очередную задачу, Яков Григорьевич еще с большим увлечением рассказывал нам о текущих политических событиях, что, само собой, еще с гораздо более интенсивным интересом выслушивалось нами. Я помню, как, когда был в пятом классе и когда в «Неделе» начали печататься «Исторические письма» Миртова (Лаврова), Яков Григорьевич приносил газеты в класс и читал нам, посвятив этому делу много уроков. Чтение это, сопровождаемое комментариями особенно трудных для нас мест, производило на нас глубокое впечатление. В то время такое чтение в некотором роде было уже запретным плодом, и начальство, если бы узнало, не поблагодарило бы за подобное чтение преподавателя. Но мы понимали это и без предупреждения держали язык за зубами.

И в глазах своего начальства Яков Григорьевич как преподаватель, превосходно знающий свой предмет и умеющий заинтересовать им своих учеников, пользовался отменной репутацией. Я помню, как однажды к самому началу урока истории в четвертый класс явился попечитель Казанского учебного округа и попросил его продолжать уже начатый им свой обычный рассказ. Рассказ продолжался целый час при возбужденном внимании молодой аудитории и самого попечителя, который, когда звонок возвестил об окончании урока, благодарил Якова Григорьевича за доставленное ему удовольствие. Мы радовались, что наш любимец и на этот раз с честью вышел из испытания.

Рождественский, восприняв все высокие идеи 60-х годов и искренне проникнувшись ими, любовно и умело старался и нас ввести в круг этих идей, возбудить в нас жажду знания и духовные интересы, а вместе с тем и помочь нам стать достойными гражданами своего отечества. И Якову Григорьевичу, несом-

ненно, многое удалось сделать в этом направлении; зароненные им в наши души добрые семена не пропали даром.

К нашему общему сожалению, по неизвестным причинам в 1869 г. Яков Григорьевич покинул Вятскую гимназию и перебрался в Пензу. Благодарная память об этом гуманном и выдающемся педагоге и человеке живет еще и по сие время в сердцах тех, кто не покинул еще землю.

В те времена, о которых идет речь, в Вятской гимназии преимущественно обучались дети чиновников, купцов и мещан, как проживающих в Вятке, так и в уездах. Были среди нас, хотя и не в особенно большом проценте, и «кухаркины дети». Крестьянских же детей, заполнивших через несколько десятков лет все наши средние учебные заведения губернии, не было еще и в помине. Наша крестьянская масса в то время была почти сплошь безграмотна, школ для сельского населения совсем почти не было, и лишь с введением земских учреждений последние стали усиленно насаждаться, а вместе с тем начала подниматься и грамотность сельского населения.

В гимназической среде, по преимуществу все же демократической и в общем дружной, скоро все социальные различия сглаживались. Барчуков по привычкам и особой изысканности одежды мы не любили, и им волей-неволей приходилось приноравливаться к общему тону среды. Чувство товарищества даже в младших классах было развито в достаточной степени, о старших же классах и говорить нечего. «Ябедников» и особенно «фискалов» терпеть не могли, и они быстро выводились под напором общего презрения, а нередко и физического воздействия товарищей. Как и в каждом учебном заведении, были среди нас ленивые и прилежные, способные и неспособные, были, конечно, и «зубрилки», исправно готовившиеся к каждому уроку по всем предметам. Последних тоже не особенно любили, хотя в трудную минуту нередко и обращались к их помощи.

Многолюдные первые классы — 35—40 человек обычно — к концу курса по разным причинам постепенно таяли, уменьшаясь в последнем выпускном классе до 10—15 человек. В классе все были товарищами; здесь нас объединяли общие шалости или про-

казы, общность школьных интересов, отношение к начальству, но более близкие и интимные отношения устанавливались в зависимости от личных симпатий и влечений, далеко, разумеется, не однородных. Одних объединяла по преимуществу внешняя жизнь — забавы и различные развлечения, нередко и выпивки, других же — духовные интересы, степень увлечения которыми была, конечно, не одинакова. Этих последних было меньшинство, а серьезно затронутых и увлеченных — еще меньше. Само собой разумеется, что и этой категории учащихся, за небольшими исключениями, развлечения, свойственные возрасту, — даже и пристрастие к алкогольным напиткам, которое каким-то образом могло совмещаться с идейным увлечением, — не были чужды.

Вращаясь в этой последней среде и будучи тесно связан с нею духовными узами, я какими-то судьбами уберегся от этого пагубного порока и ни тогда, ни после не имел влечения к вину. Должно быть, чувство какого-то органического отвращения, испытываемое при виде пьяного человека, особенно интеллигентного, потерявшего всякий человеческий образ, немало содействовало этому. Позднее, во время прохождения мною шестого и седьмого классов, когда старшие учащиеся, задававшие тон в гимназической жизни, поразъехались по высшим учебным заведениям, это пристрастие к спиртным напиткам как-то само собой совершенно выдохлось среди оставшейся идейной группы учащихся.

V

Семейные дела. Скитания по ученическим квартирам. Мой новый провал на экзаменах



Тяжелое материальное положение нашей семьи, наступившее после смерти отца, понемногу, благодаря помощи дяди, было изжито, и семья вздохнула свободно. Дедушка и бабушка, один за другим, умерли, скончались и мой младший брат Вячеслав и сестра

Надя, оставшиеся после смерти отца в младенческом возрасте. Старшая сестра Лидия, уже подросшая, кое-что и сама могла уже зарабатывать разными рукодельными работами и помогать вместе с другой моей сестрой по хозяйству матери. Последняя, по-прежнему энергичная, целый день была в суете, занятая разными хозяйственными заботами. Мысль же дать образование мальчикам не только не покидала ее, но, видимо, укреплялась в ней все больше и больше. Следующий за мной брат, Аркадий, уже учился в местном училище, готовился начать учение и Виктор, и лишь младший, Иван, продолжал жить вольной птицей.

Бывая в эти годы в каникулярное время дома, я уже не испытывал того тягостного чувства, какое приходилось испытывать первое время после смерти отца, а потому и со спокойной совестью мог отдаваться своим новым влечениям, которые пришли с возрастом. В это время я уже обзавелся ружьем, была у меня даже и собака Пароль, с которой я часто по целым дням бродил по заречным озерам и болотам и не всегда безуспешно: случалось, что я возвращался домой, увешанный убитыми мною утками. В зимние же мои приезды домой времяпрепровождение было другое. Я продолжал поддерживать приятельские отношения и с некоторыми из своих товарищей детства, бывая у них; завелись и первые знакомства с барышнями моего возраста, общения с которыми ни дома, ни в Вятке до того времени у меня не было. Немного их было, но, помню, одна, Изергина, дочь местного коммерсанта, особенно привлекала меня. Смуглая, веселая и живая, державшаяся совсем по-товарищески, она как-то сразу захватила меня и возбудила во мне какое-то совсем особенное чувство. Мне хотелось видеть ее, слышать ее голос, словом, влекло к ней. Но знакомство это скоро оборвалось, так как она вместе с семьей перебралась на жительство в Архангельск. Но еще долго образ этой девочки нередко вставал перед моими глазами, вызывая во мне особенно хорошее и нежное чувство.

Но не одни развлечения занимали меня тогда во время приездов моих домой. В свободное время я возвращался к книге, которая сделалась для меня уже потребностью, любовь к книге я старался внушить и

моим домашним. Но братья мои были еще слишком юны, чтобы игры и другие удовольствия менять на чтение, а сестры слишком заняты домашними работами, чтобы находить для него время. Но все же книги в доме были уже не редкость, чего прежде совсем не было.

С изменившимся в лучшую сторону материальным положением семьи кончилось и мое материальное неблагополучие. Когда я был в четвертом классе, уже оказалась возможность снова поместить меня на квартиру со столом. Я поселился за 8 руб. в месяц у генеральши Петровой, у которой кроме меня были еще два других нахлебника: гимназисты Гридин (впоследствии врач), уже бородатый молодой человек, поступивший в таком виде прямо в пятый класс, и сын богатого котельнического купца Кардаков, обучавшийся в младшем классе.

Петрова занимала отдельный каменный флигель большого трехэтажного дома у Казанского моста и отводила нам, нахлебникам, довольно большую отдельную комнату. У Петровой была дочка, миловидная и уже взрослая барышня, за которой наш бородатый товарищ не преминул ухаживать. Я же, непривычный к барскому обиходу, чувствовал себя не в своей тарелке, когда приходилось оставлять свою комнату и появляться на хозяйской половине для обеда или чая за общим семейным столом. Кормила нас Петрова хорошо, но, несмотря на это, я был рад, когда через год оставил ее и переселился на окраину города, в ученическое общежитие, помещавшееся в нижнем этаже старого деревянного дома, именуемого Ковчегом, перед окнами которого расстилался большой луг, где усердно кричали коростели. Здесь, в обществе гимназистов разных возрастов и вкусов, я прожил недолго и переехал в отдельную комнату, чтобы удобнее было заниматься.

С тех пор я предпочитал одинокие квартиры, и лишь в последние годы пребывания моего в гимназии, когда мы преследовали цели сближения с семинаристами и идейного на них воздействия, мы совместно с ними наняли уже сами от себя верхний этаж дома Глазырина, где удобно разместились по отдельным комнатам, никому не мешая заниматься.

Но еще в пятом классе, где я учился уже вполне сознательно и весьма исправно, со мной приключился сильно огорчивший меня казус, о котором нельзя не сказать несколько слов.

Шли экзамены, половину из них — наиболее трудные и ответственные — я уже сдал на «четыре» и на «пять», и еще немного усилий — и дело было бы уже закончено. Но в это самое время кто-то из родных приехал в Вятку, погода же стояла тогда чудная, и меня вдруг от скучной и нудной экзаменационной горячки потянуло домой, на простор полей и лесов. Я не выдержал и под предлогом болезни уехал из Вятки. Все лето я провел, не беря учебников в руки, настолько они мне опостылели, и в то же время верил, что меня переведут и без дополнительных испытаний. В таком виде я и явился в гимназию, где собрался было уже расположиться вместе с моими товарищами в шестом классе. Так, по-видимому, рассчитывало и само гимназическое начальство, но все же сделало мне для проформы самое поверхностное испытание. Помню, как Хватунов, наш учитель математики, добродушно подхватил меня под руку, привел к классной доске и просил объяснить ему какую-то теорему из геометрии, экзамен по которой я уже сдал в свое время на «пять». От неожиданности я совершенно растерялся, стоял перед доской, как дурак, не вымолвив ни одного слова. Пожалуй, не менее растерялся и сам Хватунов, у которого я всегда был на хорошем счету. Но делать было нечего, такой ответ, как мой, равнялся единице, поэтому о других проверочных испытаниях уже не могло быть и речи, стало быть, и о шестом классе. И вот, сконфуженный и огорченный, я должен был снова усесться за парту в пятом классе.

Жаль было товарищей, жаль и потерянного года. Но нет худа без добра: в классе мне делать было почти нечего, и я, имея в своем распоряжении достаточно свободного времени, мог употреблять его на усиленное чтение, что и делал. Перепадали в это время и кое-какие уроки, которыми я также не преминул воспользоваться, чтобы хоть немного пополнить свой скудный бюджет.

VI

В старших классах. Знакомство с семейными домами. Возрастание интереса к общественности. Открытие земских учреждений. Углубление духовной жизни и стремление к выработке цельного миросозерцания



Когда мне вышеописанным порядком пришлось засесть на второй год в пятом классе, я был почти уже юношей в 16- и 17-летнем возрасте и довольно развитым.

Бывая у своих товарищей по гимназии, Николая и Александра Фармаковских, я постепенно познакомился и со всей семьей последних и стал бывать у них, когда там собиралась молодежь. Дом Фармаковских был либеральный. Отец их, протоиерей Спасского собора, умный, с академическим образованием и очень начитанный человек, состоял в то же время и гласным земского собрания и преподавателем духовной семинарии, где он, как рассказывали, держался в отношении ее воспитанников очень сурово. Но все его дети, как мальчики, так и девочки, учились не в духовных, а в светских учебных заведениях, и семье он не мешал жить по-своему, чему, вероятно, немало способствовала жена его, умная и либеральная женщина, всегда присутствовавшая на наших собраниях. На этих импровизированных собраниях нередко раздавалось дружное пение революционных песен и велись горячие споры по разнообразным общественным вопросам далеко не в верноподданническом духе. Дом Фармаковских в некотором роде был центром, около которого группировались не только родственные им семьи протоиерея Воскресенского собора Никитникова со взрослыми барышнями и чиновника Спасского с четырьмя сыновьями-студентами (Николаем, Аркадием, Валерьяном и Ираклием Александровичами), но и общественные деятели г. Вятки, как, например, первый председатель Губернской управы врач Синцов, агроном Заволжский, преподаватель семинарии А. С. Верещагин и др. Этому тяготению к дому Фармаковских, занимавших большую квартиру одного

из каменных домов Спасского собора, с мезонинным помещением, в котором обитала молодежь, без сомнения, немало способствовали две уже взрослые дочери привлекательной наружности, умные и развитые, стремившиеся к высшему образованию. Эти симпатичные особенности в те далекие времена были еще довольно редким явлением, а потому и не могли не импонировать и не привлекать к себе родственные по духу элементы. Немного позднее старшая из Фармаковских, Софья, стала женою устраненного губернаторскою властью от председательства Синцова и уехала из Вятки, а вторая, Юлия, выйдя замуж за земского агронома-экономиста Заволжского, в числе первых пионерок высшего женского образования поступила в Медико-хирургическую академию и сделалась врачом.

Собрания у Фармаковских, особенно оживленные и многолюдные, когда на каникулы приезжали студенты, нередко сопровождались и танцами, которыми увлекался и я. Хотя атмосфера в доме была непринужденная, чуждая всякой чопорности, мне, особенно в первое время, совершенно непривычному к женскому обществу, было не по себе, и лишь постепенно дикость эта проходила, и я осмеливался даже вступать в разговоры с барышнями.

Дому Фармаковских лично я многим обязан. Здесь впервые столкнулся я с интеллигентными представителями вятского общества, занятыми тем или иным общественным делом. Здесь приходилось слышать различные мнения по разнообразным вопросам и, в частности, по вопросам местной жизни, дававшим еще обильный материал. Все это помогало мне в более широком масштабе познавать жизнь и в то же время возбуждать в себе более живой интерес к ней. Здесь же, в доме Фармаковских, завязались и новые знакомства, здесь после семилетнего перерыва я впервые встретился и с Кувшинской, уже взрослой барышней, только что окончившей гимназию и поступившей классной дамой в епархиальное училище, с Машковцевой, впоследствии врачом, в семейной квартире которой позднее устраивались наши собрания, а также и со многими другими, знакомство с которыми продолжалось и дальше, когда дом Фармаковских временно, после бегства старшей дочери Софьи (увезена

Синцовым, который был женат), перестал быть местом оживленных наших собраний.

В 1867 г., «великие реформы» еще не были закончены, хотя розовая окраска их уже поблекла и в обществе наступало осеннее настроение. В этом году в Вятской губернии вводились земские учреждения, которые по идее должны были перевернуть весь уклад местной жизни. Предстояла передача из бюрократических канцелярий всех многообразных хозяйственных и врачебного дел в руки выборных общественных представителей с публичным обсуждением всех этих вопросов на земских собраниях.

Понятно, что такое крупное событие в местной жизни не могло не возбудить общего интереса в наиболее сознательной части населения Вятки, а потому зал «благородного собрания», где 20 мая состоялось открытие учредительного губернского земского собрания, был переполнен публикой. На меня, присутствовавшего на этом открытии, произвело сильное и радостное впечатление это первое публичное собрание в переполненном возбужденной публикой зале, открытое благожелательной речью губернатора. Казалось, все — и гласные и публика — переживали то же чувство и были окрылены надеждами на будущее. И первый серьезный акт этого собрания — выбор состава управы — не разрушил этих радостных впечатлений. Председателем управы был выбран лучший из состава собрания, врач города Орлова, Матвей Матвеевич Синцов, несмотря на кратковременное пребывание у руля земского корабля, он, бесспорно, может быть назван основоположником лучших земских традиций, которые сказывались с новой силой всякий раз, когда бюрократический гнет ослабевал и наступала оттепель.

К декабрю того же года, когда состоялось очередное губернское собрание, управа, уже организовав канцелярию, заручившись прекрасным секретарем в лице Е. И. Красноперова и приняв дела из рук администрации, могла уже выступить с рядом докладов, в числе коих некоторые не могли не возбудить особого интереса, как доклады по народному образованию и медицинскому делу. Не меньший интерес возбуждал и выработанный Красноперовым проект земского банка для крестьянского населения.

Я посещал в свободное от школьных занятий время эти первые заседания земского собрания, на которых в докладах управы и в оживленных прениях обрисовывалась безнадежная картина состояния нашей обширной, почти исключительно крестьянской губернии, где не было ни школ, ни врачебной, ни агрономической помощи, не было даже дорог, и населению, сплошь безграмотному, оставалась в удел лишь жизнь первобытных людей с перемежающимися голодовками. Постановка всех этих вопросов в первую очередь и посильное разрешение их невольно окрыляли надеждами, что всей этой безнадежности будет положен конец. И первые шаги вятского земства укрепляли эту надежду; за дело оно принялось энергично, направляя все свое внимание на удовлетворение первостепенных крестьянских нужд.

Но наша земская весна была непродолжительна. Направление земства не могло уже нравиться губернской администрации, подстегиваемой сократительными директивами из центра, и между земством и администрацией вскоре же начались пререкания, сопровождаемые окриками со стороны последней. И в результате излюбленный председатель Синцов, а позднее и секретарь земской управы Красноперов должны были оставить земство и выехать из Вятки.

Все это не в малой степени способствовало тому, чтобы пошатнуть и мою веру в земскую работу, над которой все время стояла в лице губернатора капризная и своевольная нянька, требовавшая от земства полного послушания. И это послушание и обезличивание земства, не имевшего опоры в массах, с годами последовательно росло в тесной связи с развивающейся реакцией из центра, пока снова не наступала оттепель, а с ней и временное оживление земской жизни.

В старших классах, когда уровень нашего духовного развития уже значительно повысился, а ум становился более зрелым, мы[5] принялись за серьезное чтение. В нашем распоряжении имелись программы систематического чтения, долженствовавшего способ-

---

[5] Под этим *мы* я разумею здесь и дальше не всю гимназическую массу, в общем индифферентную или же только поверхностно затронутую идейным течением того времени, а лишь небольшую группу воспитанников гимназии разных классов, действительно и серьезно увлеченных им.

ствовать выработке нашего общего миросозерцания; мы придерживались этих программ, но постоянно нарушали порядок чтением привходящих книг, появлявшихся на книжном рынке и возбуждавших почему-либо особый интерес. Нетерпеливая жажда познать все, по всем областям знания была велика, и мы по мере наших сил удовлетворяли ее, нередко за счет нашей школьной науки. Читали мы по вопросам мироведения, по биологии, философии, пытаясь даже осилить Огюста Конта, по русской и всеобщей истории, где меня особенно интересовали периоды расцвета жизни, по социологии и политической экономии, социализму и пр. В то время переводная литература по различным отраслям знаний была уже довольно богата, попадала она и в Вятку и с жадностью прочитывалась нами. Но вся эта область знаний, возбуждающая нашу мысль и расширяющая наш кругозор, не могла погасить в нас живого интереса к русской действительности и к судьбам нашей родины, чем с конца 50-х годов прошлого столетия была занята и вся наша периодическая печать в лице лучших ее представителей. Живя в это бурное в идейном смысле время, когда происходила переоценка всех ценностей, мы, когда пришло и наше время, не могли остаться в стороне от идейного воздействия того времени и усердно следили за текущей литературой и литературой предшествовавшего периода, возглавляемой Чернышевским и Добролюбовым. Чернышевский, восприявший уже к тому времени мученический венец и переносивший его со стоической твердостью и достоинством, становился преимущественным нашим учителем жизни, трагическая судьба которого лишь усиливала обаяние его личности, а вместе с тем и повышала в наших глазах ценность проводимых им идей.

Чернышевского мы читали и перечитывали, а иногда и писали по нему рефераты. Преимущественно внимание наше приковывалось к его статьям по крестьянскому вопросу, этому основному вопросу русской жизни, и к его знаменитым примечаниям к «Политической экономии» Милля. Первые, указывая на все значение правильного решения крестьянского вопроса и давая твердые основы для этого последнего, в то же время сообщали и богатый материал для кри-

тического отношения к произведенной реформе освобождения крестьян от крепостной зависимости, переводившей последних лишь от одной зависимости к другой, может быть еще более горшей и разорительной для них. Своими же примечаниями к Миллю Чернышевский вводил нас в круг увлекавших нас социалистических идей, но, что особенно важно, органически связывал их с элементами, хотя и находящимися еще в зачаточном состоянии, но родственными с ними и обретающимися и в психологии и быте основной массы нашего населения — крестьянства. Это укрепляло в нас веру в жизненность социалистической идеи, которая в будущем, когда суровые условия нашей жизни изменятся и духовный уровень населения поднимется, неминуемо должна пустить глубокие корни и перестроить жизнь на новых и более справедливых началах.

Не менее сильное впечатление произвела на нас книга Флеровского (Берви) «Положение рабочего класса в России», появившаяся в начале 1869 г.[6*] Сильно и страстно написанная, она давала нам яркую картину безотрадной жизни нашего рабочего, в большинстве своем только что выброшенного из разорявшейся деревни и нашедшего приют и скудное пропитание на фабрике и заводе. Я помню, как запоем читал эту книгу не только дома, но и в классе, совершенно забывая, где нахожусь. В то время промышленность наша только что стала развиваться, рабочий класс был еще немногочислен, уровень развития его в массе, в особенности в захолустных местностях, не поднимался выше уровня безграмотного крестьянского населения. Предложение же голодных рук было тогда велико, далеко превышало спрос на них, а потому предприниматели, обуреваемые лишь жаждой наживы и ничем не стесняемые, могли делать с рабочими все, что хотели, оплачивая 16—18-часовой труд, часто протекавший при невозможной обстановке, грошами. Заслуга Флеровского, несомненно, состояла в том, что он поставил на очередь рабочий вопрос, который потом никогда уже не сходил со сцены. Никогда он с тех пор не выходил и из поля нашего зрения,

---

[6*] Звездочками обозначаются примечания, данные в конце книги.

привлекая к себе наше внимание наравне с крестьянским вопросом.

Нужно ли говорить, что вся русская литература того времени, как художественная, так и всякая иная, давала нам обильный материал для отрицательного отношения к нашей действительности, богатой невежеством, нищетой и произволом всякого рода во всех областях нашей жизни. Но, давая это, она в то же время, как и сама русская действительность, возбуждала в нас страстное желание поскорее избавиться от этих тягостных условий жизни и помочь нашей родине зажить по-новому, по-хорошему.

Большинство из нас, чья мысль уже работала, были искренними демократами, стояли за общее равенство прав и обязанностей, за равноправие женщин.

К вопросам же религиозным отношение в общем установилось индифферентное. Истинной религиозности в детстве нам не внушали, а наша официальная церковность скорее действовала на нас не в положительном смысле, а в отрицательном. И лишь евангельское учение импонировало нам, но не как божественное откровение, а как моральная доктрина, во многом совпадающая с усвоенными нами понятиями и принципами.

Словом, общий характер тогдашней передовой литературы с преобладающим народническим направлением захватил нас, а потому служение обездоленному народу, поднятие его духовного и материального уровня, а вместе с тем и освобождение его от угнетающего его произвола становились символом нашей веры.

Все это уже тогда побуждало нас прицеливаться к различным общественно-служебным положениям, которые по завершении высшего образования могли бы дать лучшие возможности для работы в интересах народа. Но верных и вполне обеспечивающих эту задачу положений мы не находили; всегда при этом невольно возникали сомнения в возможности этого служения на легальном поприще, которому всюду, в особенности же при соприкосновении с народными массами, развивающаяся в стране реакция, более всего боящаяся всякого живого слова, ставила непреоборимые преграды. Поэтому мысль невольно все больше и чаще останавливалась на неузаконенных путях, на путях нелегальных.

VII

Стремление расширить среди учащихся круг сторонников новых идей. Образование ученической конспиративной библиотеки. Изменение нашего отношения к семинаристам и установление связи с ними. Устройство общей квартиры с семинаристами. Рост сознательности среди женской молодежи и стремление ее к высшему образованию. Новый семейный дом Машковцевых. Сближение с Кувшинской. Роль ее в епархиальном училище. Мое знакомство с епархиалками. Изгнание Кувшинской из училища. Гимназисты Леонид Попов и Семен Хохряков



Наше личное участие в общественной жизни было еще впереди, пока же были лишь одни искания и планы, далекие от осуществления. Но все же мы не могли не стремиться к увеличению кадра наших единомышленников, а следовательно, и к возбуждению прежде всего интереса к чтению, знанию и общему развитию среди воспитанников гимназии, а также и других учебных заведений. Но помимо личного воздействия в этом направлении нужно было позаботиться о предоставлении свободного доступа к хорошей книге, для чего и было приступлено к организации ученической библиотеки с подобранным и приспособленным для разных возрастов материалом. Дело было начато и пошло хорошо, скоро образовалась довольно порядочная библиотека, помещавшаяся в квартире гимназиста Петра Шуравина, шедшего ниже нас класса на два и жившего в семье, в изолированной комнате с отдельным входом, куда нельзя было ждать набега начальства, обычно посещавшего лишь квартиры гимназистов, проживавших на хлебах у хозяек. В нашей библиотеке имелись книги и изъятые из обращения, и хотя она была конспиративная, но клиентов у нее всегда было в изобилии. Библиотека просуществовала многие годы, содействуя духовному развитию подрастающего поколения.

К этому же приблизительно времени начался за окончанием гимназического курса отъезд моих наибо-

лее близких старших товарищей в столицу для продолжения своего образования[7].

Однако с отъездом этих старших товарищей наша духовная жизнь не замерла, а продолжала развиваться, тем более что и сама Вятка понемногу духовно вырастала. Дух времени не мог не пробить бреши даже и в толстых стенах наших духовных учебных заведений, которые до сего времени жили изолированно, под строгим контролем, занятые своей схоластической наукой. Былой вражды между гимназистами и семинаристами не было уже и в помине, наоборот, мы, гимназисты, даже проникались к последним особым уважением, зная, какое большое количество виднейших общественных деятелей России уже дала эта среда за последние годы. Вырастая в более здоровых условиях, чем мы, горожане, лучше нас зная крестьянскую жизнь со всеми ее нуждами и невзгодами, они, захваченные идеей, могли дать и лучший материал для выработки идейных общественных деятелей, стойких и преданных своему делу. Такое почтительное отношение поддерживалось среди нас и циркулировавшими, правда смутными, рассказами об участии вятских семинаристов в Казанском революционном деле начала 60-х годов, связанном с польским восстанием*. Рассказывали, что семинаристы, организованные выходцами из Вятской семинарии Орловым, И. М. Красноперовым и др., непосредственными участниками Казанского дела, готовились к открытому выступлению в народе на поддержку казанцев, что для этой цели было заготовлено ими и оружие, которое потом, когда последовала расправа, будто бы было похоронено в семинарском пруду. По этому поводу были обыски и аресты среди семинаристов и даже среди преподавателей. В числе последних называли Красовского, владельца в Вятке книжного магазина, библиотеки и типографии, а также и нашего учителя Рождественского. После этой истории Вятскую семинарию подтянули, и она замерла на многие годы.

И вот в целях более тесного сближения с семинаристами во второй половине 1869 г. в доме Глазырина и устроено было общежитие, в котором преобладал

---

[7] Н. К. Лопатина, Н. Шкляева, Ир. Спасского, А. Праздникова и др.

по преимуществу семинарский элемент. Из гимназистов же было лишь двое: я и товарищ мой по гимназии, Василий Максимович. Общежитие просуществовало с год, некоторые из участников его, как семинарист Князев, направились по окончании курса в Петровскую академию, где позднее Князев принял участие в народническом движении начала 70-х годов. Но бесспорно, самым видным из семинаристов того времени по своему развитию и своему влиянию на товарищей был Евгений Овчинников, с которым я сблизился и совместно с которым, получив каким-то образом доступ в воинскую команду, обучал солдат грамоте и другим наукам, не избегая и приватных бесед и разговоров с ними.

По окончании семинарского курса Овчинников поступил на медицинский факультет Казанского университета, где он, не теряя связи с Вяткой, состоял в то же время в тесных отношениях с кружком чайковцев. Через него шла от чайковцев и нелегальная литература не только на Казань, но и на Вятку, куда он часто наезжал и где пользовался популярностью не только среди молодежи, но и среди либеральных кругов. Об этом последнем свидетельствует и то, что при устранении администрацией второго председателя губернской земской управы Колотова за его либеральный дух и недостаточное послушание ему, между прочим, было поставлено в вину, что он без рекомендации Овчинникова не принимал никого на земскую службу. В 1874 г., когда начались массовые аресты по всей России, в числе многих других был арестован и Овчинников.

Но не одна мужская половина учащихся подверглась тогда идейному воздействию, то же было и с женской половиной. Традиционная участь женщины уже не удовлетворяла многих из них. Явилось стремление к свету, к знанию и общеполезной общественной деятельности, а когда заговорили об открытии доступа для женщин в Военно-медицинскую академию*, то некоторые из них ухватились за это, стали готовиться к поступлению в последнюю. Отношение огромного большинства семей того времени к женскому образованию, в особенности же высшему, было безусловно отрицательное. Ехать молодой девушке куда-то в большой город, совершенно одной, оставленной без вся-

кого надзора и руководства, казалось прямым безумием, обрекающим дерзновенную на позор и даже погибель. Таким образом, перед каждой молодой девушкой, стремящейся вырваться из опостылевших рутинных условий существования, в которых протекала жизнь женщины, на свет и простор, стояли почти непреоборимые препятствия, и прежде всего в своей собственной семье, для одоления которых требовались поистине героические усилия. Поддержки же извне никакой, кроме разве той, какая могла быть морально оказана теми же учащимися — поборниками женского равноправия. И все же, несмотря на эти тяжкие условия, Вятка в 1871—1872 гг. выделила из своей женской половины пионерок женского высшего образования в лице Е. И. Столбовой, Юл. Фармаковской, Машковцевой, М. Ф. Нагорской (впоследствии Рязанцевой), А. Д. Кувшинской и других, поступивших по сдаче соответствующего экзамена в Военно-медицинскую академию. Брешь, таким образом, была пробита, и за первыми пионерками последовали и другие, по большей части из воспитанниц епархиального училища, находившихся под духовным воздействием своей классной дамы Кувшинской.

Но этим последним приходилось завоевывать свою независимость и право на разумное существование, пожалуй, еще с большими препятствиями, чем первым, и добывать свою свободу путем побега, увоза и даже путем фиктивных браков.

В бытность мою в шестом и седьмом классах гимназии круг моих знакомых, с которыми меня связывали духовные узы, значительно расширился. Впервые, как уже сказано было выше, эту возможность общения с другой средой дал мне семейный дом Фармаковских, где я делал свои первые шаги в этой необычной еще для меня обстановке. В семейный же дом Машковцевых я вошел уже более зрелым и обломанным предыдущей практикой, а потому и чувствовал себя много свободнее и непринужденнее. Многолюдная, но зажиточная семья Машковцевых, уже лишившаяся отца, бывшего заводчика, занимала большой двухэтажный каменный дом по Николаевской улице, недалеко от Хлыновки, и жила вместе с семьей глазовского либерального купца Колотова, женатого на одной из Машковцевых. Сам Колотов, состоя глас-

ным губернского земства, был выбран взамен устраненного Синцова председателем губернской управы и должен был переселиться в Вятку, где и обосновался вместе с семьей Машковцевых. Последняя состояла из матери, двух взрослых дочерей, из которых старшая, энергичная и могучего сложения девица, готовилась для поступления на медицинские курсы, сына-студента (такого же типа, как и его сестра), окончившего Вятскую гимназию еще в 1866 г., и целой серии подростков того и другого пола, впоследствии проявивших себя на разных поприщах общественной деятельности. Здесь, в этом обширном доме, нередко собиралась молодежь разных учебных заведений, не исключая и семинаристов, а когда наезжали студенты, то обычно бывали и они. В этом последнем случае собрания эти были особенно оживленны, так как в 69-м и 70-м годах столичное студенчество начинало уже жить интенсивной жизнью, что не могло не отражаться и на студентах, приезжавших в Вятку, а через них это повышенное настроение передавалось и нам. Я помню, что именно в эти годы студентами привезена была анкета, по которой надлежало собрать сведения о настроении народа, о степени готовности его к выступлению, ожидаемому некоторыми, в связи с предстоящим прекращением временно-обязательных отношений крестьян к помещикам. Сведений этих по анкете собрано, конечно, не было, так как большинство студентов были горожане и связей с деревней не имели, но возбуждения и разговоров анкета эта все же вызвала немало *.

На этих собраниях у Машковцевых время от времени читались рефераты по различным вопросам; помню, и я готовил реферат по политической экономии, но не помню, был ли он зачитан в кружке. Здесь же я стал чаще встречаться с Кувшинской, жившей в то время уже в епархиальном училище, многочисленные воспитанницы которого жили тут же, в интернате училища. Скромная и серьезная, всегда спокойная и державшаяся чрезвычайно просто, Кувшинская невольно как-то привлекала к себе всем своим симпатичным обликом. С первых же встреч с нею я почувствовал к ней невольную симпатию, такое же впечатление производила она и на других.

Кувшинская интересовала меня еще и с другой стороны. Живя в тесном соприкосновении с многочисленным кадром учащихся девушек, запертых в четырех стенах под строгим надзором начальства, она имела полную возможность оказывать благотворное влияние на их духовное развитие. Материал же там был богатый.

Нам было уже известно, что у Кувшинской установились добрые товарищеские отношения со многими воспитанницами старших классов, которые не чаяли в ней души, что туда, при ее посредстве, стала проникать хорошая книга, а с ней и необычные для этого учреждения запретные идеи, которые уже начали будоражить этот девичий улей, предназначенный исключительно для поставки жен лицам духовного звания. Все это крайне интересовало меня, мне хотелось поближе познакомиться с Кувшинской, но моя не испарившаяся еще окончательно дикость и неумение попросту подходить к женщине мешали этому сближению. Но на этот раз выручила меня сама Кувшинская. Почему-то собрания наши у Машковцевых временно прекратились, и я довольно долгое время не имел возможности встречаться с Кувшинской. И вот однажды, когда я жил в нашем общежитии совместно с семинаристами, она сама осенним вечером пришла ко мне, чтобы повидаться и переговорить о ее делах в епархиальном училище. В ту пору посещение девушками квартир молодых людей было совершенно необычным явлением, а в ее положении молоденькой классной дамы закрытого женского учебного заведения тем более. Неожиданный и довольно смелый по тому времени визит этот, свидетельствовавший, что и сама Кувшинская хотела меня видеть, как-то сразу разрушил те перегородки, которые еще существовали между нами, и помог нашему дальнейшему сближению. Пробеседовав часа два и переговорив с глазу на глаз обо всем, что нас интересовало, Кувшинская пригласила и меня побывать у нее, где она обещала познакомить меня с наиболее интересными своими воспитанницами, указав при этом подробно и путь, каким я мог бы добраться до ее помещения при наименьшей возможности встречи с ее грозным начальством. Понятно, что я не замедлил воспользоваться этим приглашением и вскоре же направился туда,

благополучно достигнув своей цели, следуя сделанным мне указаниям. Визиты эти благополучно повторялись и дальше, вплоть до окончания мною гимназического курса. Посещая Кувшинскую, занимавшую две приличные и уютно обставленные комнаты, куда почти всякий раз приглашались и более близкие ей воспитанницы, я познакомился и с ними. Это был целый цветник, но уже горящий страстным желанием выбиться на широкий простор жизни, с не менее страстным стремлением отдать свои силы на служение народу. Тут были: мечтательная красавица Чемоданова, впоследствии Синегуб и член кружка чайковцев, сохранившая идеалы своей молодости и энергию до конца своих дней, несмотря на жестокие удары судьбы, преследовавшие ее в течение всей ее жизни; А. В. Якимова[8], бойкая и энергичная девушка, впоследствии видная народоволка, известная под фамилией Кобозевой, благополучно здравствующая и поныне и не утратившая ни веры, ни энергии, несмотря на годы и тяжелые испытания, которые ей преподнесла жизнь; Красовская, тоже принявшая впоследствии участие в революционном движении, но скоро погибшая; Овчинникова, сестра Евгения Овчинникова, и Кочурова, добившиеся с великими усилиями возможности получить медицинское образование и сделавшиеся потом врачами; Мышкина, Юферева и некоторые другие, фамилии которых я теперь не припомню, с несколько иной и менее красочной их последующей судьбой.

В то время, еще небогатое искренне вовлеченными в круг новых идей молодыми людьми, в особенности же из среды женщин, всякое новое приобретение в этом смысле высоко оценивалось и радовало нас. Поэтому образование в таком закрытом учебном заведении, как епархиальное училище, ограждаемое от жизни и всяких идей настоящей китайской стеной, целого гнезда молодых девушек, всеми силами стремящихся к свету и знанию, было для Вятки целым событием, обещающим обильный урожай. Понятно поэтому, что это ценное новообразование мы берегли, и я, посещая время от времени Кувшинскую, больше

---

[8] Анна Васильевна Якимова участвовала в народовольческом движении под фамилией Кобозевой, умерла в 1942 г. — *Б. И.*

всего боялся, чтобы своими визитами не испортить дела. Тем же, видимо, были озабочены и сами епархиалки, бывавшие на наших импровизированных собраниях, которые, как передавала мне А. В. Якимова уже в самое последнее время, собирались даже запрятать меня в шкаф в случае какой-либо опасности. Но в шкафу мне так и не пришлось посидеть, и я даже не знал до рассказа Якимовой, что мне готовилась подобная участь *.

Так длилось целых два года, когда молодая публика, искусно таясь от зоркого ока своей начальницы, имела возможность духовно расти и крепнуть под благотворным влиянием Кувшинской. Знала обо всем этом, кажется даже и помогала, другая классная дама, Покрышкина, приятельница Кувшинской, с которой и я познакомился у последней. Но в конце концов все же шило в мешке трудно было утаить, новый дух воспитанниц старших классов не мог не обнаруживаться хотя бы в каких-либо мелочах, а потому отношения между начальницей училища и Кувшинской обострялись все более и более, а к концу второго года пребывания последней в училище обострились до такой степени, что начальница уже поставила вопрос ребром: «Или я, или Кувшинская!» Епархиальный совет училища, очевидно расположенный к Кувшинской, стоя перед поставленной дилеммой выбора одной из двух, склонялся было на сторону последней, предполагая даже назначить ее начальницей. Но крайняя молодость Кувшинской послужила серьезной помехой этому назначению, и она в 1871 г. вынуждена была покинуть училище и перейти в женскую гимназию на должность преподавательницы математики. Здесь она пробыла еще год до своего отъезда в Петербург для поступления в Военно-медицинскую академию. Уже будучи в этой последней, она получила возмездие за свою предыдущую деятельность: официальной бумагой она извещалась, что по распоряжению министерства народного просвещения на будущее время ей воспрещается всякая педагогическая деятельность где бы то ни было. Очевидно, занесенная в училище и не прекращавшаяся и дальше «зараза», а затем и начавшиеся побеги бывших епархиалок всполошили начальство и привели к открытию первоисточника зла, что, несомненно, и послужило поводом для

вышеуказанного распоряжения министерства народного просвещения.

Упоминая о лицах, примкнувших потом к революционному движению, я не могу умолчать еще о двух моих товарищах по гимназии — Леониде Попове и Семене Хохрякове. Первый из них — небольшого роста, застенчивый, но очень способный и симпатичный юноша с философским складом ума, прекрасный математик, много читавший и легко разбиравшийся в сложных умозрительных вопросах, в практической же жизни был почти совершенным ребенком, почему товарищи не иначе называли его, как Ленечка Попов, каковая кличка сохранилась за ним и впоследствии.

В последних классах (он шел выше меня на один класс, но почему-то любил мое общество) он любил делиться со мною своими мыслями о прочитанном, о своих планах на будущее и вообще по всем вопросам, волновавшим тогда нас. Окончив гимназию в 1870 г. с золотою медалью и получив земскую стипендию в 250 руб., он в том же году поехал в Петербург, где и поступил в Технологический институт. В следующем году, когда я поступил туда же, Попов одно время жил со мною и стал вращаться в том же кругу, в каком вращался и я. Эта среда чайковцев заразительно действовала на Попова, невольно отвлекла его от занятий наукой, к которой он имел несомненную склонность, и втянула его в не совсем свойственную ему практическую область пропагандиста. Попов забросил институт и всецело, не входя в кружок, вместе с чайковцами отдался работе среди рабочих, а потом с тою же целью учительствовал в Торжке, где в конце 1873 г. и был арестован. Непрактичность Попова, мешавшая введению его в кружок, сказалась и здесь написанием не совсем конспиративного письма А. И. Корниловой, пересланного через жандарма, которому он доверился и который вместо Корниловой доставил письмо прямо в III отделение. Последнее, легко расшифровав письмо, присовокупило его к делу. Эта неудача доставила Попову много терзаний, больше же всего он боялся, что потеряет доверие и уважение своих товарищей по делу, которым он был предан и расположением которых дорожил. Выпущенный в 1876 г. из тюрьмы, которую он, види-

мо, переносил не легко, он, кажется, вскоре же эмигрировал за границу, где и началась его скитальческая жизнь, полная лишений и всяческих неудач. Для малоприспособленного к практической жизни человека это было неизбежно. Так же неизбежен был и печальный финал его жизни там, за границей, откуда ему так и не удалось уже выбраться. Несомненно, на ином, более соответствующем его склонностям и дарованиям, пути и достижения Попова могли бы быть много значительнее, но таково уже было время, что повелительно толкало всех сколько-нибудь чутких и совестливых молодых людей на путь революционный. Участи этой не избег и Попов.

Другой из моих товарищей, Семен Хохряков, с которым я вместе кончил курс гимназии, по своему социальному положению принадлежал к категории «кухаркиных детей» (сын сторожа). Это был тоже способный юноша, учился прекрасно и окончил курс с золотой медалью, но во всем остальном он был полной противоположностью Попова. С товарищами он не общался, но не заискивал и у начальства, в классе, даже в перемены, всегда сидел на своем месте, занятый каким-либо своим делом, и ни в каких играх и товарищеских предприятиях участия не принимал. Что он думал и что читал — никто не знал этого. Товарищи, несмотря на такую отчужденность от них Хохрякова, его не трогали и не обижали, а иногда даже обращались к нему за теми или иными разъяснениями по заданным урокам. Коренастый, немного сутулый, с большой головой, всегда молчаливый и тихий, Хохряков был полной загадкой для всех нас, разгадать которую в конце концов мы уже и не пытались. Средств у Хохрякова для продолжения образования, конечно, не было (он стремился на математический факультет), а земство неохотно давало стипендии лицам, стремящимся к изучению чистой науки, а потому Хохрякову лишь в 1873 г. удалось получить эту стипендию и поступить в Петербургский университет. В 1874 г., когда я был уже арестован, у этого-то отшельника и человека, еще менее приспособленного к суровым испытаниям, которым подвергалась тогда молодежь, была квартира, в которой выборгские рабочие собирались чайковцами с агитационными целями*. При начавшихся арестах, само собой, был арестован и Хох-

ряков, который не вынес длительного тюремного заключения и сошел с ума. Впоследствии его переправили в Вятское психиатрическое отделение губернской земской больницы, где он много лет спустя скончался.

VIII

Ссыльные в Вятке. Малочисленность их в 60-х годах. Отношение к ним и учащимся губернской администрации



Вятка с давних времен была местом ссылки. В старину ссылались сюда опальные бояре и воеводы, и лишь с первой половины прошлого столетия было положено начало высылки в Вятку представителей нарождающейся русской интеллигенции, чем-либо возбудивших неудовольствие правительства. Так, в 30-х годах были высланы Герцен и Витберг, в 1849 г. — Салтыков-Щедрин, а в 1860 г.— тверской предводитель дворянства Унковский, скоро, впрочем, освобожденный. В 60-х же годах довольно большой контингент ссыльных дали поляки после восстания 1863 г. В большинстве это были уже пожилые люди, видимо, аристократического происхождения, образованные, часто музыканты, резко выделявшиеся всем своим видом и костюмом от обывательской публики. При встречах с ними на улицах города как-то невольно приходилось останавливать на них свое внимание, хотя в ту пору я и был еще совершенным малышом. Жили они обособленно, причем некоторые из них все же давали уроки музыки и языков. Но как-то все они довольно скоро исчезли из Вятки, за исключением лишь едва ли только не двух — Якубовского и Авейде. Оба они прочно осели в Вятке и обзавелись семьями. Якубовский, кажется, бывший рабочий, занялся кондитерским делом, впоследствии же имел собственную фабрику и был одним из богатых людей в Вятке, нередко жертвовавшим довольно значительные суммы на разные благотворительные дела. Не отказывался он и от помощи политическим ссыльным, и от взносов в кассу политического Красного Креста. Авейде же по окон-

чании ссыльного срока занялся адвокатурой и был первым присяжным поверенным в Вятке. Как передавали, он играл очень видную роль в польском восстании, был приговорен даже к виселице, но за не совсем стойкое поведение на следствии и суде был помилован и сослан в Вятку. Вероятно, это обстоятельство и помешало ему, когда была уже возможность вернуться на родину. Это был небольшого роста, несомненно умный и образованный человек, с которым я познакомился уже много позднее, когда в 90-х годах возвратился из своей ссылки. Авейде и умер в Вятке от рака языка после нескольких операций, в конечном итоге лишивших его способности речи. Благодаря своему бескорыстию и доступности для бедноты он пользовался широкой популярностью среди населения.

После повстанцев-поляков появляется в Вятке в 1864 г. Николай Васильевич Копиченко, юрист по образованию, арестованный в 1863 г. по делу о Казанском заговоре и осужденный Сенатом к высылке и отдаче под строгий надзор полиции. Высланный первоначально в Орлов, Вятской губернии, он в том же 1864 г. был переведен в Вятку, где и остался на жительство и обзавелся собственным небольшим домиком, который по завещанию оставил городу для призрения в нем лиц, бывших в домашнем услужении и потерявших трудоспособность.

За Копиченко в 1869 г. последовал Флорентин Федорович Павленков, известный издатель, судившийся перед этим в Петербурге за издание им сочинений Писарева. Высланный в июле 1869 г. за речь, произнесенную на могиле Писарева, и за сбор денег на увековечение его памяти в Яранск, Вятской губернии, он в том же году был переведен в Вятку. Несмотря на то что здесь Павленков вел довольно уединенный образ жизни и мы, молодежь, знали о нем очень мало, он в 1874 г. в связи с перехваченными письмами земского врача Португалова арестовывается. Но скоро освобождается. По освобождении из-под надзора в ноябре 1877 г. Павленков выезжает в Петербург, где продолжает свою издательскую деятельность, прерываемую обысками и арестом и новой, но непродолжительной высылкой в 1880 г. в Ялуторовск, Тобольской губернии. Пребывание Павленкова в Вятке ознамено-

валось составлением и изданием им в 1877 и 1878 гг. двух сборников, вышедших в Петербурге под общим заглавием «Вятская незабудка». Оба этих сборника, в составлении которых принимали участие и местные люди, в том числе и известный педагог и публицист, священник Н. Н. Блинов, были лишь собранием корреспонденций, в разное время и разными лицами написанных и напечатанных в столичных и казанских газетах. Каждая из этих корреспонденций, взятая отдельно, сама по себе ничего, конечно, ужасного не представляла, но, собранные вместе, они уже давали красочную картину темных сторон местного управления и быта. Появление «Вятской незабудки», кстати сказать широко распространившейся среди местного населения, вызвало немалое волнение в административных кругах, почувствовавших себя обиженными и оскорбленными, а в результате — новый суд над издателем, новая высылка и изъятие из обращения «Вятской незабудки» [9], сделавшейся теперь библиографической редкостью.

Таким образом, 60-е годы не обогатили Вятку ссыльным элементом, и те, что время от времени попадали к нам, стояли в стороне от подрастающего поколения и не оказывали на него непосредственного влияния. И лишь с 1870 г. в Вятке начинают появляться ссыльные третьей категории, а именно — непосредственные участники начинавшегося в России революционного движения или соприкасавшиеся с этим последним. Немного было их в первые годы, но с ростом революционного движения росло и их число, достигнув своего апогея во второй половине 90-х годов, когда ссыльными не только была переполнена сама Вятка, но и все уездные города губернии.

Этот наплыв политических ссыльных в Вятскую губернию снова повторился, но еще в гораздо большем масштабе в 1906—1908 гг., когда повсеместно в России шла ликвидация революции 1905 г. Тогда ссыльных чуть не ежедневно пригоняли целыми табунами и расселяли по преимуществу по уездным городам и селениям, причем и состав их сильно изменился в сторону преобладания рабочих и аграрников-

---

[9] Об издании «Вятская незабудка» см.: *Л. М. Добровольский.* Запрещенная книга в России. М., 1962, стр. 128—129. — *Б. И.*

крестьян, среди которых нередко, конечно, попадали совершенно случайные люди, ничего общего не имеющие с политикой.

Тогда и влияние ссылки было огромно, и сказывалось оно не только на подрастающем поколении, но и на всей общественной жизни и, в частности, на земских учреждениях, впитавших в себя массу ссыльного элемента в качестве служащих.

Первым в Вятке из этой категории ссыльных был Василий Федорович Трощанский, студент Петербургского технологического института, высланный по студенческим делам. Это был уроженец юга, яркий брюнет, умный и развитой, который вскоре же по своем прибытии в Вятку в 1870 г. стал вращаться в нашем кругу и был почти постоянным участником всех наших собраний и увеселительных поездок за город. Жил он уроками, между прочим, занимался по физике и математике с Кувшинской, подготовлявшейся к сдаче экзамена при предстоящем поступлении ее в Медицинскую академию[10]. Занятия эти имели и свои последствия для самого Трощанского: он увлекся своей молодой и способной ученицей, но не встретил в последней соответствующего отклика, и дело между ними не сладилось, что не помешало, однако же, их дружеским отношениям в дальнейшем. Кажется, подготовлял он и других вятских девиц, готовящихся к поступлению на те же курсы. Трощанский пробыл в Вятке до осени 1873 г., когда его перевели в Курск, а оттуда в 1874 г. перевели сперва в Мезень, а затем в Холмогоры. Из Холмогор он осенью 1876 г. бежал. Последующая его судьба — обычная для большинства вовлеченных в революционное движение. Примкнув во второй половине 70-х годов к обществу «Земля и воля», он в 1878 г. снова арестовывается и предается суду по делу Веймара. Приговоренный в 1880 г. на 10 лет каторги, Трощанский в 1882 г. попадает на Кару, когда меня там уже не было, а в 1886 г. уходит на поселение в Якутскую область и заканчивает там свой суровый жизненный путь в 1898 г. Последняя наша встреча с Трощанским была в 1872 г., когда я, уже будучи студентом, приезжал в Вятку на

---

[10] Имеются в виду Высшие женские медицинские курсы, основанные в Петербурге в 1872 г. — *Б. И.*

каникулы. Настроение его тогда было сумрачное, и он серьезно начинал тяготиться жизнью в Вятке, откуда уже успели разъехаться или готовились к отъезду все его более близкие знакомые.

За Трощанским в следующем 1871 г. последовали кузены Рязанцевы, оба привлекавшиеся по Нечаевскому делу и высланные после процесса в Вятку. Будучи коренными вятичами, они и осели здесь. Один из них, Иван Владимирович, впоследствии долгое время состоял бухгалтером губернской управы, принимал в то же время участие в общественной жизни города, женился на женщине-враче М. Ф. Нагорской и обзавелся собственными домами. В последние же годы своей жизни в Вятке он почти совершенно отошел от общественной деятельности.

Ссылка последующих 25 лет, когда она, в особенности в 70-х годах, значительно возросла, не была мне известна, так как этот долгий промежуток времени я и сам был совершенно оторван от Вятки. О ссылке 90-х годов речь еще впереди [11].

Что касается общих условий, в которые ставились ссыльные, то их в то время, о котором идет речь, нельзя назвать особенно тяжкими. Административная практика еще не успела выработать того кодекса о надзоре и поведении ссыльных, каким обогатилось последующее время. Тогда не требовалось обязательной еженедельной или даже ежедневной явки ссыльного в полицию, не ставилось никаких преград для знакомства с обывателями, не воспрещались и занятия, даже и педагогического характера. Надзор за ссыльными вообще был слаб или, скорее, его совсем не было.

Не вмешивалась губернская администрация и в жизнь учащихся, предоставляя надзор за ними всецело училищному начальству. И за всю свою гимназическую жизнь я помню лишь один случай такого вмешательства, когда я был еще в четвертом классе. Как-то возвращаясь со своими товарищами с прогулки за город, мы встретили проезжавшего по улице губернатора и не поклонились ему. Губернатор, видимо

---

[11] Интересующихся вопросом о вятской политической ссылке при старом режиме отсылаю к книге П. Н. Луппова «Политическая ссылка в Вятский край» в издании О-ва политкаторжан 1933 г., составленной с возможною полнотой и знанием дела, главным образом по сохранившимся архивным материалам.

обозленный такой непочтительностью, пожаловался училищному начальству и потребовал примерного наказания виновных. Но фамилий наших он не знал и мог указать лишь один признак, по которому можно было бы добраться до виновных, это — серая, солдатского сукна, шинель, в которую был одет один из провинившихся. В гимназии по столь криминальному случаю поднялся переполох, и на другой же день, когда все учащиеся явились в гимназию для обычных занятий, в раздевальной начался тщательный осмотр всей верхней одежды гимназистов, где и была найдена злополучная шинель, принадлежавшая ученику Зорину, участнику нашей прогулки. Я уже не могу припомнить теперь, что последовало за этим открытием для самого Зорина, но остальные участники прогулки, насколько припоминаю, выданы им не были и не пострадали.

У губернской администрации того времени были другие, более серьезные, привлекавшие ее внимание дела, чем ссыльные, которых было и мало и которые жили тихо и спокойно, или учащиеся, которые внешне ничем не заявляли о себе. В то время едва ли не больше всего беспокоили ее народившиеся земские учреждения, все еще стремившиеся выйти из установленных для них рамок и пытавшиеся внести живую душу в земское дело, чего более всего опасалась центральная власть, уже взявшая к тому времени твердый курс назад.

IX

Последние каникулы в Орлове. Чтение первого тома Лассаля и влияние его на меня. Выбор высшего учебного заведения. Получение земской стипендии. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Последняя экзаменационная страда. С гимназией покончено. Радость освобождения. Планы на будущее, которые не совпадают с моими обязанностями в отношении семьи. Несколько слов о Вятке. Мой отъезд в Петербург



Летние каникулы в 1870 г., когда я уже перешел в седьмой класс, я по обыкновению проводил в Орлове,

в своей семье, в которой к этому времени произошли значительные перемены: так, старшая сестра, Лидия, уже вышла замуж за казначейского чиновника, А. А. Лопатина, и жила вместе с мужем у нас же; вторая сестра, Юлия, была уже в невестах, а брат Аркадий, самый бойкий из нас, закончив обучение в приходском и уездном училищах, готовился к поступлению в Вятскую гимназию. С этим последним у меня установились приятельские отношения. Мальчик он был умный и любознательный, а потому между нами нередко возникали оживленные разговоры на разные темы, он же почти всегда сопровождал меня на охоту и рыбную ловлю; следующий брат, Виктор, внешне очень походивший на отца, тоже уже учился и выказывал явные склонности технического характера. Подрос в это время и самый младший из братьев, Иван, которого я часто видел прикурнувшим где-нибудь с книжкой, видимо, всецело поглощенным ее содержанием. В то время в городе была открыта уже публичная библиотека, и встретить в семье книгу было уже не редкость; появилась она и в нашем доме. Мать наша, по-прежнему бодрая и энергичная, целый день обычно была в хлопотах. Большой нужды в семье тогда уже не ощущалось.

Некоторые перемены наблюдались и в обывательской жизни самого города. Новый суд, земское и городское самоуправление внесли некоторое оживление и привлекли в него свежих людей, влияние которых не могло не сказаться на обывательской среде. Понемногу пробуждался и интерес к вопросам общественного характера. Но все это было еще в зачаточном состоянии, и г. Орлов к этому времени пока дал лишь всего одного студента в лице Ив. Маковеева, впоследствии военно-медицинского инспектора, да двух-трех учащихся в средних учебных заведениях г. Вятки.

Уезжая на каникулы, я захватил с собою книги, в числе которых был I том Сочинений Лассаля в Поляковском издании, только что полученный в Вятке; по приезде домой я тотчас же и принялся за него. Книга эта произвела на меня огромное впечатление, читал ее я взасос, почти не отрываясь. Яркое и сжатое изложение, обилие новых для меня идей, казалось непоколебимо обоснованных, захватило меня совсем, и я долгое время находился под обаянием прочитан-

ного. Наибольшее впечатление произвели на меня «Идея рабочего сословия» и «О сущности конституции». В целом же эта книга дала мне возможность наглядно ощутить все значение политической свободы, при которой оказывалась возможной столь яркая агитационная и организационная деятельность, как лассалевская, поднимающая самосознание и дух целого обездоленного класса и указующая ему пути для его освобождения. Если бы, невольно думалось мне, что-либо подобное было возможно и у нас, в России, то какие бы блестящие результаты могли получиться в самом непродолжительном времени! Поэтому горечь от сознания, что ничего похожего на европейские условия у нас нет, только делалась острее и ощутительнее, а вместе с тем укреплялось и сознание в неизбежности и настоятельности борьбы прежде всего за лучшие политические условия, открывавшие простор для мысли и общественной деятельности. В такой же стране, как Россия, сугубо демократической, с колоссальным преобладанием крестьянского населения, при изменившихся политических условиях, и эта мысль и общественная деятельность, думалось мне, неизбежно должны были направиться по демократическому руслу и повести к перестройке страны на демократических началах, где ни духовные, ни материальные интересы масс уже не могли бы быть забыты, как они забываются теперь. След, оставленный во мне чтением Лассаля, уже никогда не изглаживался; Лассаль помог мне многое уяснить и осмыслить и в области русской действительности, а также и в определении путей, по которым следует направить свою будущую деятельность.

С переходом моим в седьмой класс настроение мое заметно повысилось. Чувствовалось уже, что скоро, скоро, еще какой-нибудь год, и я разделаюсь совсем с опостылевшей мне гимназией, с ее в большинстве футлярными педагогами и порядками, и вырвусь, наконец, на широкий простор столичной жизни, где уже закипала идейная жизнь и имелись в наличности преданные делу народа люди, которые меня влекли к себе. В ожидании этого желанного будущего, которое было уже не за горами, время шло быстро и незаметно. Наступило уже и время решать вопрос: куда же направить стопы свои по окончании курса —

в Москву или Петербург? В Москве была Петровская земледельческая академия, которая в будущем давала мне возможность встать в более близкие отношения к крестьянству, а в Петербурге — Технологический институт, приближавший меня к рабочему классу. Тот и другой слои населения, работать в интересах которых я собирался, почти одинаково интересовали меня, но в конечном результате я все же предпочел Петербург с его Технологическим институтом. Чаша весов склонилась на сторону последнего, несомненно, потому, что сам Петербург привлекал меня еще и тем, что идейная жизнь там была богаче и шире, чем в Москве, там же были и лучшие из студентов-вятичей, с которыми духовно я был уже связан, туда же стремилось и большинство моих товарищей по классу.

Уже в начале осени я подал прошение о назначении мне земской стипендии для продолжения образования в Технологическом институте. Последнее было поддержано орловским уездным земством, а в декабрьскую сессию губернского собрания она уже была назначена мне в размере 250 руб. Я вместе с Кувшинской присутствовал на том заседании губернского собрания, где решалась участь моей стипендии, от назначения которой зависела и моя поездка в Петербург. Без стипендии эта последняя едва ли была бы возможна, так как средств у семьи на содержание меня в Петербурге не было. Понятна поэтому та радость, с какою оба мы встретили это решение собрания, обеспечивавшее выполнение моего заветного стремления.

Последний 1870/71 учебный год благодаря европейским событиям переживался нами довольно бурно и при большом оживлении. Там, на далеком Западе, шла ожесточенная франко-прусская война, которая взбудоражила и вятскую публику, и нас, гимназистов. Несмотря на то что к Наполеоновской империи в громадном большинстве отношение было отрицательное, мы все же всецело были на стороне Франции и желали ей победы, памятуя, что она всегда была проводником великих идей и творцом не менее великих революций, будивших мир, в том числе и нашу отсталую родину. Мы внимательно следили за ходом событий, при оценке которых нередко возникали и жаркие прения. Падение Наполеоновской монархии

и образование республики горячо приветствовалось нами, причем выражалась уверенность, что республиканская Франция не даст себя в обиду. Но велико было и разочарование, когда стало очевидным, что ничего подобного ожидать нельзя, что правительство республики, опасаясь собственного своего взбудораженного военными неудачами народа, напротив, готово было мириться не только с поражением, но даже и территориальными уступками и огромной контрибуцией, лишь бы только скорее заключить хотя бы и позорный мир.

Парижская коммуна, порожденная разгромом Франции немцами и недоверием парижского народа к сомнительно республиканскому правительству, уже не вызывала в нас того единодушия, какое наблюдалось ранее к перипетиям предыдущей борьбы. Скудно освещаемая, и притом по преимуществу враждебной Коммуне прессой, она и в обществе, и среди нас вызывала уже далеко не одинаковое к себе отношение, пожалуй, даже в большинстве отрицательное. Ей ставилось в вину то, что она, подняв восстание, когда война еще не была окончена, только помогает немцам и в то же время подрывает престиж республиканского правительства, льет воду на мельницу монархистов. И лишь весьма немногие были на стороне коммунаров, с живейшим интересом следили за ходом их борьбы с версальцами и были искренне возмущены жестокой расправой с повстанцами после поражения Коммуны. Эти полные драматизма события, разыгравшиеся во Франции, без сомнения, не остались без влияния на рост революционного настроения и у нас в России, а вместе с тем они дали и наглядный урок, что республика сама по себе еще не обеспечивает направления деятельности республиканского правительства в интересах широких народных масс, если эти последние еще малосознательны и не умеют постоять за себя.

Вот и снова весна, а вместе с ней и новая страда — экзамены, но на этот раз уже последние. На душе светло и радостно от перспективы скорого освобождения, а вместе с тем невольный трепет охватывает тебя за благополучный исход почти каждого экзамена. Необходимо усиленно готовиться, а тут как на зло

манящие к себе стоят красные дни, которыми уже и упиваются все от мала до велика, в том числе и студенчество, приехавшее на каникулы с целой кучей животрепещущих новостей. От всего этого экзаменационная горячка делается еще тягостнее, приходится разрываться и недосыпать ночей. И так тянется май и почти весь июнь — лучшее время в году. Но всему бывает конец, кончились и наши выпускные экзамены. С плеч точно гора свалилась, чувствуешь себя необыкновенно легко, кажется, что у тебя как будто выросли крылья. На радостях как-то даже забываешь все то тяжелое и гнетущее, что было в прошлом, или вспоминаешь об этом без злобы и раздражения, как о забавных эпизодах минувшей гимназической жизни.

Теперь, когда гимназия уже стала делом прошлым, можно уже спокойнее и беспристрастнее произвести оценку того, что она в общем дала. И в конечном итоге, взвешивая все плюсы и минусы, все же приходится быть признательным ей. Как-никак, она дала кое-какие знания, а вместе с тем и обеспечила возможность дальнейшего образования; главное же, она возбудила интерес к знанию и духовной жизни и открыла широкие идейные горизонты, дававшие смысл и радостность самой жизни. Правда, далеко не во всем этом непосредственно повинна сама гимназия, преследовавшая, в особенности в последние годы, всякое вольномыслие, но без ее содействия, хотя бы и косвенного, все это едва ли бы было достижимо. Поэтому, получив свои аттестаты вместе с пожеланиями успехов на нашем жизненном пути, мы не сожгли наших гимназических учебников, как это нередко водилось в подобных случаях, а, скромно отпраздновав окончание курса, каждый по-своему предались вполне заслуженному отдыху, а затем и сборам к предстоящей поездке в столицы (из тринадцати окончивших гимназию девять человек собирались в высшие учебные заведения).

Я не торопился со своим отъездом в Орлов; хотелось в качестве уже совершенно свободного человека пожить еще в Вятке, где было столько близких людей и где с приездом студенчества жизнь сильно оживилась. Хотелось подробнее ознакомиться с тем, что творится в столицах, чем там живут и куда направляет свои симпатии молодая Россия, не связанная еще

с Россией официальной. И рассказы приехавших не охлаждали пыла и не гасили веры в нарастание общественного оживления, несмотря на продолжавшийся очевидный реакционный уклон правящих сфер. Все рассказы подтверждали, что брожение в студенческих сферах не прекращалось, основные вопросы о народе и лучших формах служения ему не сходили с очереди, а предстоящий Нечаевский процесс лишь подливал масла в огонь и волновал не только молодежь, но и либеральные общественные круги. Все это поддерживало повышенное настроение и поднимало интерес к предстоящей в скором времени поездке в Петербург, где я надеялся окончательно выяснить все волнующие меня вопросы и определить свою дальнейшую судьбу.

В то время всякая вера в официальную Россию, взявшую определенно твердый реакционный курс, была у меня уже окончательно потеряна, как она была потеряна и у передовой части русского общества. От правительства тогда уже ничего не ждали, кроме новых ограничений и стеснений во всех областях жизни, а потому все мои симпатии были на стороне недовольных, бунтующих и протестующих, занятых не на словах только, но и на деле изысканием путей, которые могли бы привести в конечном итоге к устранению основного зла русской жизни — азиатской государственности. Как и когда это невероятно огромное дело должно совершиться — точно себе я не представлял, полагая, что Петербург поможет мне разобраться в этом вопросе. Для меня было очевидно лишь одно, что это надо сделать, без этого страна обречена на жалкое прозябание, материальное и духовное умирание. А когда?.. Не все ли равно, раз иного выхода нет!

В связи с таким настроением и уклоном мысли вопросы карьеры совсем не занимали меня, не строил я себе и матримониальных планов, несмотря на возрастающее сближение с А. Д. Кувшинской. Брак, а затем семья, думалось мне, неизбежно могли только связать по рукам и ногам и лишить возможности располагать собою в соответствии со своими влечениями. К тому же брак я допускал лишь по взаимной любви, а вызвать таковую к себе, не обладая особо привлекательными свойствами мужчины, я не рассчитывал.

Поэтому и возрастающее сближение и взаимное тяготение между мной и Кувшинской объяснял не зарождающимся обоюдным личным чувством, а лишь идейными и деловыми мотивами, в соответствии с которыми, а также и с общим почтительным отношением к женщине и устанавливались мои отношения к Анне Дмитриевне.

Прожив в Вятке две-три недели после выпускных экзаменов, я выехал в свой Орлов, где на этот раз пробыл недолго, так как надо было спешить в Петербург. В Орлове было все то же, никаких существенных изменений ни в самом городе, ни в семье не произошло. В последней, особенно со стороны матери, наблюдалось лишь некоторое беспокойство в связи с предстоящей моей поездкой в столицу, где ей чудились всякие неожиданности и опасности. Как мог, я старался успокоить ее, но мои усилия мало помогали делу. Велик был страх ее перед большим городом, где столько разных соблазнов, могущих увлечь и погубить ее старшего сына и разрушить ее надежды на помощь, которую она, естественно, ждала от него. Положение же семьи по-прежнему было малообеспеченное, к тому же надо было учить еще трех мальчиков, а никаких определенных средств у матери не было, кроме помощи дяди, которая по тем или иным причинам могла во всякое время прекратиться. Все это я не мог не понимать и не сознавать своей естественной обязанности в отношении семьи, но уверенности, что эту мою обязанность я выполню, у меня ввиду направления моих мыслей и стремлений уже не было. Этот разлад между повелительным долгом перед родиной и семьей, примирить который не было возможности, причинял мне немало моральных терзаний, которые в значительной мере смягчались лишь тем, что все это — еще впереди и, может быть, дело как-нибудь обойдется и без трагических коллизий.

В самом начале августа, после трогательных прощаний и напутственных пожеланий, я покинул Орлов и выехал в Вятку, чтобы оттуда уже двинуться в Петербург. В Вятке, к которой я за 9 лет жизни в ней привык и которую, пожалуй, полюбил, я пробыл еще несколько дней, чтобы повидаться кое с кем и распроститься. Но прежде чем покинуть ее, я позволю себе сказать несколько слов о самом городе.

Расположенный на крутом берегу Вятки и разделяемый глубоким оврагом на две части, почти равные, город Вятка, по преимуществу деревянный, с его 20 церквами, массой зелени и красивым видом на реку и заречную сторону, в общем имел, в особенности в сухую погоду, довольно привлекательный и живописный вид. Город, в обычное время тихий и патриархальный, с населением в 22—23 тыс., носил в то время бюрократический характер, хотя в нем шла и довольно оживленная торговая жизнь, в особенности же в базарные и ярмарочные дни, когда в огромном количестве съезжались окрестные крестьяне и заполняли собою город, придавая ему характер чисто крестьянского города. Эта особенность Вятки уже много лет спустя поразила и Родичева (приезжавшего, если не ошибаюсь, в 1916 г. в Вятку для чтения лекции о Герцене), который, передавая мне свои впечатления о ней, высказывал, что здесь, в Вятке, особенно наглядно чувствуется крестьянский характер страны, что, без сомнения, не могло не сказаться и на всем последующем мировоззрении Герцена, впитывавшего вятские впечатления в течение нескольких лет своей ссыльной жизни в ней.

В то далекое время промышленная жизнь Вятки была ничтожна и в общем носила большею частью кустарный характер. Хотя в 1872 г., по официальным данным, в ней насчитывалось до 18 различных заводов, но вся производительность их равнялась лишь 539 720 руб. с общим количеством рабочих в 312 человек, в среднем около 12 человек на предприятие. Правда, и тогда уже в губернии с населением в 2,5 млн. насчитывалось до 16 тыс. рабочих, но главная масса их сосредоточивалась на казенных Ижевском и Воткинском заводах и затем на Холуницких, Омутнинском и многочисленных винокуренных заводах. Но все эти заводы находились в отдаленных от Вятки местностях и влияния на жизнь города никакого не имели.

Торговая же жизнь Вятки была много значительнее и бойчее, несмотря на то что торговые и всякие иные сношения совершались по плохо содержимым грунтовым дорогам, так как железных дорог еще не было, не было и пароходного сообщения по Вятке, если не считать одного или двух буксиров, пущенных

по реке Т. Ф. Булычевым. Культурные потребности населения города по тому времени удовлетворялись сравнительно прилично: в городе имелись мужская и женская гимназии, духовная семинария, мужское духовное, женское епархиальное и уездное училища да два-три приходских. Имелись в городе еще естественноисторический и этнографический музей и две частные и одна публичная библиотека. Последняя, основанная еще в 1837 г. и открытая речью ссыльного Герцена, в 60-х годах благодаря заботам Алабина представляла собой поистине культурный уголок со значительным по тому времени запасом книг, журналов и газет, для пользования которыми не только взрослым, но и учащимся не ставилось еще никаких преград. Обладавшая хорошим собственным помещением и прилично и удобно обставленная, библиотека эта имела весьма значительный круг подписчиков и охотно посещалась любителями чтения. Впоследствии же, когда светобоязнь сделалась господствующим течением и библиотека попала в исключительное ведение губернатора и его ближайших чиновников, она пришла в полный упадок и превратилась в мертвое, чисто бюрократическое учреждение вплоть до 1910-х годов, когда она понемногу снова начинает оживать и освобождаться от излишних бюрократических пут. Но расцвет библиотеки и чрезвычайно быстрый рост ее наступил лишь с революциями 1917 г. Она из библиотеки имени Николая I по постановлению обновленной городской думы превратилась в библиотеку имени А. И. Герцена, а вслед за тем в нее вливаются ценные библиотеки учебных заведений, архивы губернского земства и библиотеки других учреждений и частных лиц. Все это, вместе взятое, в особенности же с преобразованием библиотеки при директорстве Гогель по типу научной и с получением из Книжной палаты обязательного экземпляра, делает ее одним из крупнейших книгохранилищ Советского Союза, с богатым местным отделом, а теперь и с только что отстроенным великолепным читальным залом и кабинетами для занятий.

Вообще нужно заметить, что интеллигенция в Вятке в то время была еще очень малочисленная и на общественную арену не выходила, поэтому никакой общественной жизни в ней и не было. За время

моей гимназической жизни я помню лишь одно публичное выступление доктора Михайлова, прочитавшего лекцию, кажется, о вреде курения табака. Городское самоуправление в этом направлении ничего не прибавило и не внесло живой струи в общественную жизнь города. Купечески-мещанский состав городской думы по своей малокультурности и своекорыстию не способен был на что-либо подобное. И лишь молодое земское самоуправление представляло исключение. Демократическая общественная мысль и инициатива нашли там приют и стремились проявить себя в различного рода мероприятиях. И в земство потянулись все наиболее деятельные и живые интеллигентные силы, но серьезной препоной уже и тогда на пути их деятельности был недостаток средств, с одной стороны, и административные рогатки — с другой. Но деятельность земства только еще начиналась, большинство мероприятий его, получивших впоследствии огромное развитие, лишь только намечалось, земский аппарат был слаб и интеллигентных сил было мало. И лишь много лет спустя земству вопреки всяким препятствиям, стоявшим на его пути, удалось развернуть свою деятельность благодаря своему многолюдному третьему элементу и сыграть огромную культурно-просветительную роль, а вместе с тем косвенно подготовить почву для восприятия революционных идей и осуществления самих революций.

Таким образом, местная общественная жизнь немного давала пищи для подрастающего поколения, обучавшегося в разных учебных заведениях, и нам приходилось почти исключительно вариться в собственном соку и своими силами воспитывать себя и намечать дальнейшие жизненные пути. Но мы мало этим огорчались, ибо были книги, которые заменяли нам живых людей и в то же время служили предметом оживленного обмена мнениями между нами. Старшее поколение, даже интеллигентное, но уже осевшее и успокоившееся, не могло удовлетворять многих из нас, намечавших себе более широкие жизненные перспективы. Вятка того времени и была мила нам именно той интенсивной духовной жизнью среди части учащейся молодежи, которая особенно заметно проявлялась в эти последние годы моей жизни в ней. И это красило нашу жизнь, вселяя в то же время

чувство признательности и к самой Вятке, несмотря на многие отрицательные стороны жизни в ней.

Почти перед самым моим отъездом в Петербург я получил через вторые руки от Маковеева, только что окончившего Военно-медицинскую академию, нашего соседа по г. Орлову и моего репетитора, подготовлявшего меня в гимназию, дружеское предупреждение остерегаться в Петербурге знакомства с кружком неблагонадежных лиц, поселившихся этим летом на даче (чайковцы), которое не безопасно и может погубить и меня самого. Предупреждение это попало прямо в цель, так как в этом кружке был и мой старый приятель по Вятке, Н. К. Лопатин, которого я уважал и ценил и которого в первую очередь собирался повидать по приезде в Петербург. Однако эта благожелательная предупредительность не только не ослабила моего интереса к людям, среди которых находился и Лопатин, а скорее лишь подогрела интерес к ним.

Покончив все свои дела в Вятке и распростившись с кем следует, я в первой же половине августа выехал в Петербург.

Часть II

Кружок чайковцев. Тюрьма и суд 1871—1878 гг.

I

В дороге. Казань, Нижний, Москва, Петербург



Путь из Вятки на Петербург в те времена был длинный и сложный. Обычно ехали на Казань через Нолинск и Уржум на лошадях, каковой путь измеряется в 400 с лишком верст. Отсюда Волгой на Нижний, а дальше уже по железной дороге через Москву прямо к конечному пункту путешествия — Петербургу.

Погода стояла чудесная, а потому путешествие на лошадях было одно удовольствие, в особенности если принять во внимание, что это было мое первое большое путешествие по совершенно неведомым мне краям. По мере продвижения к югу и сама природа заметно менялась: хвойные леса севера постепенно переходили в лиственные, а поля, особенно в Уржумском уезде, были покрыты цветущей гречихой, представлявшей красивое зрелище, совершенно необычное для северной части губернии, где гречихи не сеют.

Немалое и отчасти жуткое впечатление произвел на меня проезд в том же Уржумском уезде с ямщиком-татарином по девственному лесу, тянувшемуся сплошным массивом на 50—60 верст, где не было

никаких поселений, кроме почтовой станции, содержимой тоже татарином.

Весь путь мой от Вятки до Казани протекал самым благополучным образом при прекрасной августовской погоде. И лишь однажды, на одно мгновение, пришлось пережить чрезвычайно жуткое чувство, когда на одном переезде мой ямщик-полуребенок, разогнавший лошадей, не заметил на дороге ползающего ребенка и ехал прямо на него. Совершенно случайно я увидел это, но уже слишком поздно, когда ребенок был на расстоянии какой-нибудь полусажени от скачущих ему навстречу лошадей. Я вскрикнул, чтобы остановить их, но ребенок уже был под лошадьми, а затем и под тарантасом. С ужасом я обернулся, чтобы увидеть страшную картину раздавленного нами ребенка, но каково же было мое удивление и радость, когда я увидел его не только совершенно не поврежденным, но даже не плачущим и продолжающим заниматься своим делом. Очевидно, умные лошади поберегли ребенка, а колеса тарантаса случайно не задели его.

Ехал я безостановочно, сменяя лишь лошадей на станциях. И только в Нолинске остановился на несколько часов, чтобы повидаться с известным земским статистиком Романовым, который в то время секретарствовал в Нолинской земской управе. На третьи сутки вечером я уже подъезжал к Казани. Это был первый большой и оживленный, но и довольно грязный город на моем пути; ямщик привез меня в самый центр Казани, к номерам Щетинкина, где я и остановился. В тот же вечер я отправился осматривать город. Осмотр этот продолжался и на следующее утро, после чего, взяв извозчика, я поехал за 7 верст на пристань. Здесь я нашел еще более оживленный поселок с массой пристаней и пароходов и впервые увидел мать русских рек — воспетую Некрасовым Волгу. По случаю Нижегородской ярмарки на Волге было необычайное оживление: пассажирские и грузовые пароходы двигались целыми караванами вверх и вниз, оглашая воздух почти беспрерывными свистками. Столь необычная и невиданная мною картина произвела на меня сильное впечатление.

Взяв билет третьего класса, я расположился на палубе, с которой уже не сходил до самого Нижнего,

любуясь волжскими берегами и самой Волгой. Наш пароход был переполнен пассажирами всякого звания и разных национальностей, но по преимуществу торговым людом, спешившим на всероссийское торжище.

На другой день мы были у Нижнего. Уже издали бросалось в глаза несметное количество судов всякого рода, стоявших и двигавшихся, слышался непрерывный гул голосов и шумов пристанской жизни. Самый город, красиво расположенный на крутом берегу, был сравнительно тих и спокоен, но зато заречная ярмарочная часть его, представляющая собой низину, затопляемую весной, кипела бурною жизнью.

Бегло осмотрев самый город и его ярмарочную часть, я направился на переполненный публикой Нижегородский вокзал. Здесь при виде предостерегающей и бросающейся в глаза надписи: «Берегите карманы!» — я схватился было за них, но там все оказалось благополучно. С трудом получив билет и поместившись в вагоне третьего класса, я почти не отходил уже от окна, любуясь развертывающимися, по мере нашего продвижения, видами, которые значительно отличались от вятских: там у нас подлинное крестьянское царство, нарушаемое лишь изредка небольшими городскими поселениями; здесь же налицо были уже все признаки и промышленной жизни, о чем свидетельствовали попадающиеся на пути фабрично-заводские поселки. Весь подмосковный район имел эти отличительные признаки, а также и наибольшую густоту населения и наличие культурных уголков в виде железнодорожных построек и многочисленных дачных поселений.

В Москве остановка. Хотелось хотя бегло осмотреть ее и самолично познакомиться с ее достопримечательностями. Огромный, оригинальный и шумный полуазиатский город с его «тысячью церквей» и лабиринтом улиц, недостаточно чистоплотный, но безмерно богатый,— не мог не поразить такого провинциала, как я. Я бегал по ней, как говорится, высунув язык, побывал, конечно, в Кремле, в старинном царском дворце, видел царь-колокол и царь-пушку и многие другие памятники старины, а затем рискнул даже забраться напиться чаю в шикарный купеческий

трактир, где московское купечество из галереи типов Островского под звуки оркестриона предавалось до седьмого пота чаепитию, а вероятно, вместе с тем и деловым разговорам коммерческого характера.

Так как погода по-прежнему была чудесная, то меня соблазнили съездить в Петровское-Разумовское, где впоследствии мне довольно часто приходилось бывать по делам кружка. Здесь по осмотре некоторых учреждений Петровской сельскохозяйственной академии бродили по обширному парку, где нам показали грот, в котором два года тому назад был убит Нечаевым студент Иванов. Грустная история эта напомнила о Нечаевском процессе, как раз разбиравшемся в это время в Петербургском суде, по которому свыше 8 десятков подсудимых ждали решения своей участи, а вместе с тем напомнила мне, что пора и двинуться дальше.

И вот я опять в вагоне, опять перед глазами развертываются живописные картины центрального, наиболее населенного и культурного района России. Сама Николаевская железная дорога, также воспетая Некрасовым, прямая, как стрела, солидно оборудованная, с не менее солидными вокзальными постройками и необычно оживленная,— свидетельствовала уже, что находишься в самом центре жизни страны. Не гармонировал только со всей этой обстановкой наш вагон третьего класса, грязный и казарменного типа, переполненный крестьянами и рабочими, едущими на заработки, и учащейся молодежью, едущей в северную столицу учиться.

По мере приближения к Петербургу местность заметно меняется и постепенно перед самым Петербургом переходит в унылую низменную равнину с бедной растительностью. Волнение и нетерпение мое растет, вдали уже в смутном очертании виднеется и сам город, в который затем незаметно и въезжаем среди разного рода железнодорожных построек и огромного количества вагонов, стоящих на запасных путях и закрывающих собою горизонты. Но вот и сам вокзал.

Путь наш закончен, и мы в Петербурге.

II

В Петербурге. Приискание квартиры. Первые впечатления от города. Технологический институт и студенчество. Мое первое знакомство с чайковцами. Студенческий кружок самообразования. Синегуб и Стаховский. «Азбука социальных наук» и мое первое знакомство с политической полицией

Отделавшись кое-как от обступивших меня с предложением своих услуг извозчиков и разных комиссионеров, я направился в Знаменскую гостиницу, что против вокзала, которую мне рекомендовали еще в Вятке. Тут, в одном из верхних этажей, нашелся недорогой номер, который я и взял. Приведя себя с дороги в порядок и напившись чаю, я тотчас же, сгорая от нетерпения, пошел осматривать город, направившись прежде всего вдоль по Невскому. Необычайное оживление, бесчисленное количество разнообразных и роскошных магазинов, сплошная стена многоэтажных домов, дворцы, Исаакий и затем многоводная Нева, закованная в гранитные берега, с открывающимся видом на Петропавловскую крепость и Васильевский остров не могли не очаровать меня. Помню, я долго не сводил глаз с колоссальных размеров Зимнего дворца, невольно переводя их на расположенную напротив него Петропавловскую крепость с ее мрачными казематами, как бы символизирующую сущность царского режима. Тут — безумная роскошь, пиры и веселье, а там — скорбь и тягостная неволя для врагов самодержавия. Тогда я еще был далек от мысли, что и мне суждено будет провести не один год в этом мрачном убежище, наглухо закупоренном от живых людей, слушая лишь каждую четверть часа печальный перезвон часов Петропавловской крепости.

На другой день со своим товарищем по гимназии Александром Фармаковским, с которым я собирался жить, пустились в поиски комнаты для постоянного нашего жительства. После долгих блужданий и подъемов по высоким лестницам, мы, наконец, недалеко от Рот натолкнулись у какой-то немки, проживавшей

в многоэтажном доме, на подходящую комнату, которую и взяли за 12 руб. в месяц с хозяйскими дровами и услугами по самоварной части и по поддержанию чистоты помещения. Комната в два окна, довольно чистая и поместительная, и даже с мягкой мебелью, производила приятное впечатление. Хозяйка тоже оказалась вполне покладистой и не вмешивалась в нашу жизнь.

Устроившись с квартирой, я отправился в институт, чтобы оформить мое вступление в число его студентов. Вступительных экзаменов не требовалось. Хотя чтение лекций еще не начиналось, но студентов в институте, пришедших сюда по разным своим делам или без всякого дела, было уже довольно много. Составлялись небольшие группы, велись оживленные разговоры, завязывались знакомства. Из института мы целой гурьбой двинулись в дешевую столовую для технологов, устроенную в. кн. Еленой Павловной и помещавшуюся недалеко от института, в Ротах. На студенческом жаргоне это значило идти «к Еленке». Такая же столовая была на Выборгской стороне для медиков. Обеды в этих столовых были тощие и невкусные, поэтому, когда начались занятия, технологи, а также и медики устроили свои собственные столовые. У технологов в интересах дешевизны вместо мяса была конина, которая в разных видах подавалась в изобилии. Я тоже перешел было в эту столовую, но, пообедав неделю-другую, не мог привыкнуть к конине и снова перебрался «к Еленке», где обычно довольствовался стаканом молока и стаканом кофе. Недостаток же питания возмещал чаепитием уже у себя дома.

Располагая пока совершенно свободным временем, я носился с кем-нибудь из товарищей из конца в конец по городу, чтобы поскорее ознакомиться с ним. Побывали и на островах, видели, наконец, и море, но петербургское море не произвело на меня того впечатления, какое я ожидал. В общем, в результате этого осмотра Петербург мне понравился больше Москвы, особенно подкупало меня обилие воды и суровая красавица Нева.

Освоиться с огромным городом оказалось не особенно трудно благодаря обилию прямых улиц и Невскому проспекту, занимающему центральное положение, всегда оживленному и людному. Любил я этот

проспект, по которому почти ежедневно и не раз приходилось проходить, но всегда старательно избегал Александровского рынка, где торговцы буквально накидывались на проходящего и тащили его за фалды в свой магазин, предлагая настойчиво те или другие товары. По неопытности и я однажды попался в такую переделку и должен был, чтобы только отвязаться, купить дешевенькое одеяло, в котором совсем и не нуждался.

Посещая институт и столовую, я постепенно расширял свои знакомства со студентами. Здесь же впервые я столкнулся с Синегубом и его неизменным спутником и приятелем Стаховским. Оба они приехали из Минска, где окончили гимназию, и поступили в Технологический институт. Синегуб как-то сразу завоевал мои симпатии, и я быстро сошелся с ним. Он был хохол по происхождению, сын екатеринославского помещика, но, видимо, не из особенно богатых. Среднего роста, блондин, с едва пробивающимися усами и бородой, немного сутулый и худой, но с большими лучистыми серыми глазами и необыкновенно приятной улыбкой, он невольно обращал на себя внимание. Особенно привлекал он к себе совсем необычной задушевностью и искренностью, граничащей порою с наивностью. Несмотря на свое дворянское происхождение, он был демократ в душе, в своих привычках и костюме, и в то же время не лишен был поэтического дарования, со скромными плодами которого мы вскоре же имели возможность познакомиться.

Позднее, когда начали завязываться сношения с рабочими, Синегуб одним из первых принял в этом деле деятельное участие и оказался не только превосходным пропагандистом, но и человеком, умевшим привлекать к себе сердца рабочих и внушать им ту веру в идею, которой был преисполнен сам.

Стаховский же — плотный и коренастый брюнет небольшого роста, добродушный, но много менее одаренный, чем Синегуб. Преданность его последнему была безгранична.

В это время Петербург был полон толками по поводу Нечаевского процесса, подробные отчеты о котором печатались в газетах. Много говорилось о нем и в студенческих кругах, тем более что некоторым из

студентов удалось и самолично присутствовать на разборе дела. Странное отношение, в общем, установилось к этому громкому политическому делу: к людям, участникам процесса, — положительное, а к организации, как таковой, с которой эти люди были связаны,— безусловно отрицательное.

Многие из подсудимых были люди, несомненно, незаурядные и развитые, преданные делу народа, готовые отдать ему и свои силы и самих себя. Такие люди при господствовавшем тогда настроении не могли не вызвать к себе искреннего сочувствия. И вот эти-то хорошие люди, неожиданно для самих себя оказавшиеся членами организации, основанной на обмане, с несуществующим таинственным комитетом, стоящим якобы во главе обширного заговора, решительные действия которого ожидались в самом же непродолжительном времени, должны были безоговорочно подчиняться одному лицу — Нечаеву, как единственному открытому представителю этого таинственного комитета. Мистификация и ложь были обычными приемами Нечаева при вербовке членов в свою организацию. И последняя, искусственно созданная силами и необычайной энергией Нечаева, не стеснявшегося во имя революционных целей прибегать к явному и грубому обману, принимаемому за чистую монету жаждущей настоящего большого дела молодежью, просуществовав всего лишь полтора месяца и не сделав ничего, кроме убийства студента Иванова, погибла вся без остатка, кроме самого Нечаева, успевшего скрыться за границу.

Такая организация, где в основе был обман, а во главе стоял генерал, которому безапелляционно должны повиноваться все, и не могла рассчитывать на длительное и продуктивное существование. Она неизбежно и скоро погибла бы если не от внешнего врага, то от собственного разложения, так как жить в атмосфере обмана и беспрекословного подчинения воле одного лица сознательные и свободные люди долго не могут. Разложение в нечаевской организации, несмотря на кратковременность ее существования, уже и начиналось и закончилось — в расчете положить этому разложению предел — катастрофой с Ивановым.

К таким приблизительно выводам приходила в общем публика при оценке Нечаевского дела. А рево-

люционная молодежь помимо всего этого извлекла из этого дела для себя и практический урок: ни в каком случае не строить революционную организацию по типу нечаевской, не прибегать для вовлечения в нее к таким приемам, к каким прибегал Нечаев.

Видаясь в эти первые недели пребывания моего в Петербурге с Н. К. Лопатиным, я получил от него приглашение побывать у них на даче, в Кушелевке, где этим летом проживала большая компания. Получив от него адрес этой дачи и указания, как добраться до нее, я, насколько припоминаю, в один из первых воскресных дней двинулся туда. Там жила как раз та компания (чайковцы), от знакомства с которой предостерегал меня еще в Вятке Маковеев. Понятно поэтому мое некоторое волнение и нетерпение поскорее увидеть этих опасных людей.

Путь на дачу лежал через Литейный мост, а затем по Выборгской стороне вверх по Неве. От города нужно было пройти еще по берегу реки две-три версты, а там была уже и искомая дача, которую я нашел без особых затруднений. Лопатина на этот раз, по-видимому, на даче не было, и встретил меня неведомый мне красивый, высокий молодой человек с каштановыми волосами и окладистой небольшой бородкой, с приятным и выразительным лицом, который оказался Чайковским. Уведя меня к себе в комнату, он расспрашивал меня о Вятке, уроженцем которой был сам, о вятских делах и, в частности, о вятском земстве. Удовлетворив его любопытство относительно вятских настроений, я особенно подробно остановился на вятском земстве, судьбой которого, по-видимому, он очень интересовался.

После довольно длительной беседы Чайковский, ни с кем меня не знакомя, повел в сад, проходя по которому я увидел небольшую, но интересную группу молоденьких девиц, полулежавших вблизи дорожки, по которой мы проходили, одетых в мужские рубашки и шаровары. Особенно запечатлелись мне из этой группы две: одна, самая юная из них, чрезвычайно миловидная белокурая девушка с пухленькими розовыми щечками, с высоким выпуклым лбом и голубыми глазами, и рядом с ней другая, пожалуй, даже более красивая и с более правильными чертами лица, чем первая, но с более строгим и суровым выражением

лица. Первая, как я узнал позднее, была С. Л. Перовская, которой было тогда 18 лет, а вторая — А. И. Корнилова.

Так состоялось мое первое знакомство с Чайковским, который за время нашей беседы очаровал меня своей безыскусственной простотой и деловитостью и совершенным отсутствием каких-либо признаков рисовки. Прощаясь со мной, он просил захаживать иногда на их новую городскую квартиру на Кабинетской улице, куда они в скором времени собирались переезжать.

К сентябрю возобновились занятия в институте, и я стал посещать лекции, запасшись предварительно и некоторыми учебниками. Но, посещая эти лекции, я почувствовал, что ошибся в выборе учебного заведения, что специальные науки, пожалуй, не для меня, так как меня тянуло к наукам общественного характера. Но делать было уже нечего, приходилось мириться с тем, что есть. Что же касается студентов Технологического института, то, за небольшим исключением, состав его был демократический и отзывчивый на все доброе, как в области студенческих интересов, так и в области интересов общих. Атмосфера во второй половине 1871 г. была довольно накаленная: с одной стороны, будоражил публику Нечаевский процесс, а с другой — Парижская коммуна. Публика волновалась и невольно настраивалась революционно.

Вскоре из студентов института по преимуществу образовался кружок самообразования, принявший одну из готовых уже программ, который и начал собираться у меня на квартире. К этому времени соседняя большая комната в нашей квартире, удобная для собраний, освободилась от посторонних жильцов и была занята товарищами, в числе которых был и Леонид Попов. Начались правильные собрания, на которых время от времени появлялся Д. А. Клеменц, всегда много оживлявший эти собрания своею содержательной, а нередко и остроумной речью.

Как и всегда и всюду, читалось на этих собраниях немного, а больше велись оживленные разговоры на злободневные темы о народе, лучших способах служения ему, о настроениях как самого народа, так и других общественных групп, о Нечаевском деле, Парижской коммуне и многих других животрепещущих во-

просах. Кружок этот просуществовал, однако, недолго, приблизительно до рождества, и распался. Видимо, разговоры, хотя бы и на интересные темы, скоро стали надоедать, к тому же у некоторых участников кружка нашлось для себя и другое, более интересное и живое дело. Но как-никак кружковые собрания эти все же сделали свое дело: они выявили наиболее интересные и отзывчивые элементы, которые затем уже и не выходили из поля зрения и в свое время привлекались к более ответственному делу.

Приблизительно к этому же периоду относится и мое первое знакомство с охранной полицией. Дело было так.

К концу лета этого года кружок чайковцев выпустил в свет объемистую книгу Флеровского (Берви) «Азбука социальных наук», отпечатанную в довольно большом количестве экземпляров*. Так как книга эта свойствами благонамеренности не обладала, то можно было рассчитывать, что она, по обычаю, подвергнется опале. По этим соображениям кружок и сдал для продажи в магазин Черкесова и некоторые другие только сравнительно незначительную часть издания, а остальную разместил по разным складам и студенческим квартирам, рассчитывая в случае конфискации книги в магазинах распродать оставшуюся часть неофициальным порядком. И действительно, опасения кружка скоро оправдались: книги, сданные в магазины, были конфискованы, изъяты из обращения, а затем, по вновь установившемуся обычаю, и сожжены.

Небольшая часть этого издания была помещена и на моей квартире, откуда она постепенно и расходилась. Узнав же, что в Петербург из Вятки приехал бывший вятский ссыльный Копиченко и скоро уезжает обратно, я решил воспользоваться оказией и послать с ним для Вятки Кувшинской экземпляров 8—10 «Азбуки». Был сентябрьский дождливый вечер, мне что-то нездоровилось, и я попросил Ленечку Попова снести по указанному адресу книги Копиченко, проживавшему недалеко от нашей квартиры. Попов охотно согласился исполнить мое поручение, а я лег в постель и вскоре же заснул. Долго ли я спал, не знаю, но, вероятно, не мало, как вдруг сквозь сон услышал какой-то шум, голоса, щелканье шпор и беготню. Открываю глаза и, к моему удивлению, вижу

целую коллекцию полицейских мундиров, тормошащих меня, и среди них смущенного Попова. Ничего не понимая, я одеваюсь и встаю, стараясь выяснить, в чем дело. Постепенно из вопросов, заданных мне, и нескольких слов, брошенных мне Поповым, дело стало выясняться. Оказалось, что Попов не застал Копиченко дома, а возвращаясь обратно, наскочил на дворника, которому показался подозрительным, может быть, даже просто вором, так как Попов злополучную и довольно объемистую пачку книг прятал под полами своего пальто, что при его маленьком росте особенно должно было бросаться в глаза. Возможно также, что и смущенный вид Попова, когда дворник его остановил, только увеличил подозрения последнего, а потому он, недолго думая, и передал подозрительного человека в руки полиции.

Мне, как и Попову, после поверхностного обыска предложили одеться и следовать под эскортом до грозного Слезкина. Во избежание разноречия в показаниях мне удалось еще на квартире предупредить Попова, чтобы он отозвался полным незнанием обстоятельств дела, заявив, что он лишь исполнял мое поручение — и только.

После довольно длительного путешествия по улицам города нас уже поздно ночью привели в какое-то мрачное, скудно освещенное, но обширное полуподвальное помещение. Здесь пришлось довольно долго ждать, пока не предстал перед нами не то сам Слезкин, не то кто-либо из его подручных. Это был уже пожилой человек сурового вида, грузный и высокий. Начался допрос. Попов, согласно нашему условию, отозвался незнанием и сослался на меня. Обращаясь ко мне, допрашивавший задал вопрос:

— Где вы взяли эти книги?

— Купил в магазине Черкесова, — был мой ответ.

— Как купили, когда книга запрещена и изъята из обращения?

— Но ведь она же была в магазине Черкесова и открыто продавалась всем, кто хотел ее купить. Тогда она и была куплена мною.

— Куда вы отправляли ее?

Так как фамилия адресата была уже обнаружена раньше, то я и не счел нужным скрывать ее и подтвердил, что посылка предназначалась в Вятку для

Кувшинской и ее знакомых, которых я хотел познакомить с литературной новинкой. А что книга была запрещена и изъята из обращения, это мне не было известно.

На этом допрос был закончен и допрашивавший удалился. Мы остались ждать решения нашей участи. Ждать пришлось довольно долго, и уже совсем под утро нам объявили, что мы свободны и можем удалиться.

Так закончился этот маленький инцидент ценою лишь пропажи до десятка книг. Правда, меня еще очень беспокоил вопрос о Кувшинской, которую по глупости или излишнему усердию тоже могли притянуть к ответу. Но с этой стороны все обошлось благополучно.

III

В кружке чайковцев

Мое дальнейшее знакомство с чайковцами и их деятельностью. Вступление в кружок. Основы, на которых кружок построился, цели и задачи его. Краткая история кружка и его состав в 1871 г. Филиальные отделения кружка. Издательская деятельность — легальная и нелегальная. Мечты о заграничном органе печати и попытки их осуществления. Натансон, Чайковский, Купреянов, сестры Корниловы, Перовская, Сердюков, Лермонтов

Пользуясь приглашением Чайковского захаживать к ним на городскую квартиру на Кабинетской улице, куда они вскоре же после моего визита на Кушелевку переехали, я время от времени стал посещать эту штаб-квартиру чайковцев, в которой кроме него жили еще М. А. Натансон, его жена О. А. Шлейснер, Н. К. Лопатин, М. В. Купреянов, вскоре затем перебравшийся в мансарду напротив. Хозяйкой этой квартиры числилась В. И. Корнилова, по мужу Грибоедова, брак с которым был фиктивный. Все же остальные вышеназванные жильцы этой квартиры считались квартирантами. Здесь я и перезнакомился с большинством членов кружка, а также и с многими другими

посетителями, не принадлежащими к кружку, но имеющими те или иные деловые отношения с ним. Ведя крупные дела разнообразного характера, — особенно же дела по издательству и распространению по всей России хороших книг, — свидетельствовавшие об организаторских талантах членов кружка и доверии к ним деловых людей, они, члены этого кружка, эти дела делали так же просто, как бы мимоходом.

В дела кружка я не был посвящен, конечно, как не знал и подлинного состава его, но кое-что, хотя и в общих чертах, я знал от Н. К. Лопатина, видного члена этого кружка. В этом познании до известной степени помогли мне и мои посещения квартиры на Кабинетской, где случайные и отрывочные разговоры также кое-что мне уяснили, так как беседовавшие не очень стеснялись моим присутствием. Благодаря этим обстоятельствам, мне приблизительно были уже известны как состав кружка, так и характер его деятельности; знал я, что некоторые члены кружка уже давно состоят на учете в III отделении; оно охотно бы расправилось с ними, если бы в его руках были какие-нибудь более веские данные, изобличающие их. Обыски, особенно этим летом, допросы и аресты были не редки, но пока за неимением этих данных, а отчасти и благодаря установленным секретным сношениям с заключенными в III отделении, позволявшим сговариваться о показаниях, они обычно оканчивались благополучно. Н. К. Лопатин рассказывал мне как о курьезе о великой радости третьеотделенцев, когда при обыске на Кушелевке у него нашли конспект по статье Лаврова «Современное учение о нравственности», напечатанной в «Отечественных Записках», который они приняли за революционную программу. По словам Лопатина, стоило больших усилий, чтобы убедить, а вместе с тем и разочаровать жандармов, что это не революционная программа, а лишь простой конспект, сделанный по совершенно легальной статье.

Скоро мои отношения к кружку совершенно изменились.

В самом конце сентября или в начале октября, спустя некоторое время после описанного выше инцидента с «Азбукой социальных наук», зашел ко мне тот же Н. К. Лопатин и от имени кружка чайковцев предложил мне вступить в его состав. В то время мне

еще не хотелось связывать себя с какой-либо нелегальной организацией, хотелось пока пожить совершенно свободным человеком и хорошенько осмотреться, но, с другой стороны, предложение было настолько заманчиво и соблазнительно, что я, не задумываясь, дал свое согласие. Как я уже говорил, в общих чертах дело, которое делал кружок, мне было известно, оно мне нравилось, и я придавал ему большое значение, а люди, входившие в состав его, по своим нравственным качествам, преданности делу народа и деловитости, а также и по установившимся в кружке чисто товарищеским, простым и дружеским взаимоотношениям вызывали во мне живейшие симпатии и уважение. Мне было известно также, что кружок занимал совершенно исключительное положение среди многих других кружковых организаций Петербурга, что он обладал значительными связями не только среди учащейся молодежи, но и в либеральных кругах и пользовался в той и другой среде заслуженным уважением. Поэтому естественно, что стать членом такой организации и войти в нее на равноправных началах было для меня, только что прибывшего из провинции и еще не обстрелянного, большою честью.

Давая свое согласие, я, конечно, знал, что этим самым Рубикон уже оставляю позади, что отступления не может быть и что отныне все мои скромные силы неизбежно пойдут на дело, которое делал кружок, а в перспективе, может быть и близкой, меня неизбежно будут ждать не лавры, а тюрьма, ссылка, а может быть, и что-нибудь горшее. Но все это мало меня смущало, так как к этому я уже был достаточно подготовлен всем моим предыдущим ходом развития. Текущая же политическая действительность не только не содействовала изменению тех выводов, к каким я постепенно приходил ранее, а наоборот, беспрерывные аресты и высылки, систематическое гонение на печатное слово, откровенное издевательство над русским обществом, а в довершение всего какой-то панический страх перед живою жизнью и проявлением какой-либо общественной самодеятельности закрывали, казалось, все пути для легальной деятельности и толкали всякого мало-мальски живого человека на путь нелегальный. Поэтому-то и самый переход на этот последний путь становился необычайно легким.

Весь ритуал вступления моего в члены революционной организации тем только и ограничился, что на сделанное предложение я дал свое согласие. Никаких ни клятвенных, ни иных обещаний от меня не потребовали, не было и никаких указаний, что я должен делать и чего не делать. Очевидно, при рассмотрении моей кандидатуры в достаточной степени было уже выяснено, что я ни по своим воззрениям, ни по своим нравственным качествам не внесу никакого диссонанса в тесно сплоченную идейно и морально кружковую организацию и что в той или другой степени буду ей полезен. И это, конечно, было главное, этим держалась и крепла сама организация.

С моим вступлением в кружок ничто в моем образе жизни на первых порах не изменилось. Я продолжал посещать институт, продолжал посильно участвовать в студенческой жизни и в том кружке, который собирался у меня на квартире. Вся разница была лишь в том, что я значительно чаще стал бывать в штаб-квартире кружка, где уже не испытывал чувства некоторой неловкости от сознания, что мое присутствие может быть стеснительно для других. Бывая здесь и присутствуя при возникающих деловых разговорах, я постепенно входил в курс всех дел кружка, сознательно избегая, впрочем, расспросов о том, что мне было еще не совсем ясно, особенно в предприятиях исключительно конспиративного характера, полагая, что без особой нужды и нет необходимости знать это.

Постепенно лик этого кружка выяснялся для меня все больше и полнее, причем более близкое соприкосновение с ним как в целом, так и с отдельными его членами не только не уменьшило моих идеализированных представлений о нем, составленных ранее, но, наоборот, эти представления только укреплялись и приобретали новую силу. Организованный по типу, совершенно противоположному нечаевской организации, без всяких уставов и статутов и иных формальностей, он покоился исключительно лишь на сродстве настроений и взглядов по основным вопросам, высоте и твердости моральных принципов и искренней преданности делу народа, из чего, как естественное следствие, вытекали взаимное доверие, уважение и искренняя привязанность друг к другу. Построенный на та-

ком прочном фундаменте, кружок и не нуждался ни в статутах, ни в генералах, особенно этих последних не потерпел бы ни одного дня.

Никакого принуждения не было и следа в жизни организации. Каждый был свободен выбирать дело по своим склонностям и способностям и отдавать ему столько времени, сколько он мог или сколько требовало само дело. Нередко отдельные члены кружка и совсем устранялись от всякого дела, как это бывало с Перовской и другими, чтобы усиленным чтением пополнить пробелы в своем образовании.

К науке и знанию вообще всегда было самое почтительное отношение, поэтому никто и не побуждался к оставлению высших учебных заведений, если там находился и сам почему-либо не считал для себя нужным это сделать. По этому вопросу существовало лишь убеждение, что общественные инстинкты, столь еще слабо развитые в русском обществе, надлежит всемерно оберегать и воспитывать, а не глушить, что нередко случается с человеком, углубившимся в науку. Поэтому и важное дело по приобретению знаний надо ставить как-то так, чтобы оно не убивало в человеке этого не менее важного инстинкта общественности. Разрешить эту трудную проблему, чтобы и волки были сыты и овцы целы, далеко, разумеется, не всегда удавалось, и наука всего чаще терпела ущерб по недостатку времени.

Ко времени моего вступления в кружок он уже окончательно сформировался, что имело место летом 1871 г., к какому времени у него уже была своя краткая история.

Родоначальником кружка чайковцев следует считать кружок студентов Медицинской академии Натансона и Александрова, организованный еще в первую половину 1869 г., к которому в том же году примкнули студент-медик А. И. Сердюков и студент естественного факультета Петербургского университета Н. В. Чайковский, а несколько позднее — Николай Константинович Лопатин, тоже студент Медицинской академии. Оба последних были вятичи *.

Летом 1871 г. этот небольшой кружок реорганизовался и значительно расширился за счет лиц, уже известных ранее, но для лучшего ознакомления с ними приглашенных для участия в кружок самообразования,

а вместе с тем и для совместного жительства на даче. Временно примыкал к тому кружку Д. М. Герценштейн, как пишет об этом Чайковский и замечает в своей рецензии Левин. По словам Чайковского, первоначально «этот кружок имел в виду объединить представителей всех игравших тогда роль в высших учебных заведениях Петербурга с целью придать студенческим волнениям более планомерное и здоровое направление, чем получило предшествовавшее под влиянием Нечаева». Эти первоначальные задачи кружка вскоре же были расширены и углублены.

В своих воспоминаниях «Перовская и основание кружка чайковцев» А. И. Корнилова-Мороз рассказывает, что основной целью этого кружка было самообразование и в состав его входили 15 человек: «М. А. Натансон, А. И. Сердюков и Н. К. Лопатин — медики; Н. В. Чайковский, А. К. Левашов — студенты университета; Ипполит Вернер, Басов и Кокушкин — технологи; наконец, 18-летний вологжанин, не окончивший даже гимназии и только готовившийся к экзамену в Технологический институт, М. В. Купреянов. Из женщин были приглашены О. А. Шлейснер, А. Я. Ободовская, С. Л. Перовская, Любовь и Александра Корниловы и Н. К. Скворцова, подруга Шлейснер по педагогическим курсам». Все эти лица, говорит Корнилова, жили на даче, кроме Сердюкова, Ободовской и Любови Корниловой, которые оставались жить в городе, принимая участие в общих занятиях.

В августе того же года, рассказывает дальше Корнилова, «на особом собрании нашего кружка был поднят вопрос: будем ли мы дальше заниматься одним самообразованием». И «большинством членов было постановлено: продолжая по мере возможности свое самообразование, поставить себе задачей:

1) приобретать и самим издавать книги по дешевым ценам;

2) снабжать ими студенческие библиотеки в Петербурге и в провинции по тем же низким ценам;

3) содействовать образованию новых библиотек и кружков самообразования», т. е. продолжать ту же работу, которую первоначальный кружок Натансона — Александрова вел раньше.

«Из 15 человек, состоящих в кружке самообразования на Кушелевке, — продолжает дальше Корнило-

ва-Мороз, — четверо отказались принять участие в новой работе, не желая манкировать своими занятиями в учебных заведениях. Это были Ипполит Вернер, Басов, Кокушкин и Н. К. Скворцова», причем тогда же «было принято предложение привлечь в состав кружка Д. А. Клеменца, Ф. Лермонтова, Н. А. Чарушина, Леонида Попова и мою сестру Веру Грибоедову» [12].

Об этом же летнем проживании на Кушелевке с задачами самообразования Н. К. Лопатин рассказывал мне несколько подробнее. По словам Лопатина, небольшой кружок Натансона, развернувший уже к этому времени свое книжное дело и организационно-просветительную деятельность среди молодежи как в столице, так и в провинции, нуждался в пополнении состава своего кружка. У кружка уже был целый ряд намеченных лиц, которых желательно было бы ввести в состав кружка, но из осторожности, чтобы не ошибиться в выборе, эти намеченные лица и были приглашены на дачу, где они и образовали кружок самообразования. По словам Лопатина, это совместное сожительство и участие в кружке самообразования давали возможность лучше присмотреться к людям и безошибочнее сделать выбор. В своем роде это был лишь тактический маневр, который уже в августе, перед разъездом с дачи, и получил надлежащее освещение, когда на особом собрании кружка был поставлен вопрос: «будем ли и дальше заниматься одним самообразованием?» — и когда все, за исключением четырех, высказались, что самообразованием будем заниматься «по мере возможности», а основной своей задачей поставим то самое дело, какое первоначальный небольшой кружок уже вел раньше. И действительно, в последующее время все силы кружка были направлены на это основное дело, а в самообразовании предоставлено подвигаться «по мере возможности» и не коллективно, а каждому в отдельности по своему усмотрению *.

О первоначальной же натансоновско-александровской организации с достаточною полнотою и знанием дела рассказывает нам, несомненно со слов Чайковского, непосредственного участника этого кружка, Шишко в своей статье «Сергей Михайлович Кравчинский

[12] «Каторга и ссылка», 1926, № 1.

и кружок чайковцев», правильность сообщения которого подтверждается и теми сведениями, которые доходили до меня от членов кружка, знавших об этом периоде его жизни. Для полноты картины я позволяю себе сделать небольшую выписку.

«...Цель последнего (т. е. кружка Натансона — Александрова. — *Н. Ч.*) понималась его основателями,— пишет Шишко,— таким образом: они хотели создать среди интеллигенции, и преимущественно среди лучшей части студенчества, кадры революционно-социалистической, или, как чаще выражались тогда, *истинно народной,* партии в России. С этой целью первоначальными основателями кружка решено было вести систематическую пропаганду среди учащейся молодежи, устраивать кружки самообразования, землячества и так называемые *коммуны,* состоявшие уже из более тесно связанных между собою товарищей».

«С тою же целью первоначальными организаторами кружка было начато так называемое «книжное дело», представлявшее собой, помимо непосредственно приносимой им пользы, одно из лучших средств для сближения с молодежью на почве чисто практического предприятия и для быстрого расширения связей. В создании этого «книжного дела» обнаружились крупные организаторские способности основателей кружка. Оно заключалось в распространении как в Петербурге, так и в других университетских городах хорошо подобранной тенденциозной легальной литературы с присоединением к ней, по возможности, запрещенных или изъятых сочинений (преимущественно Чернышевского). С этою целью кружок входил в сношения с некоторыми из петербургских издателей и брал у них на комиссию с известной уступкой, конечно, значительное количество экземпляров нужных ему изданий, а иногда и прямо покупал за полцены целые издания, как, напр., у известного в то время либерального издателя Н. Полякова. Затем все эти издания распространялись кружком в Петербурге и провинциальных городах через посредство местных студенческих групп, а также политических ссыльных. Книги эти распространялись по большей части в кредит, причем кружок старался также о выработке и принятии всеми кружками самообразования одинако-

вой, в общих чертах, программы чтений и занятий, подготовляя таким путем целое поколение для будущей революционной деятельности»[13].

Затем Шишко приводит и подробный список распространяемых и издаваемых кружком сочинений различных авторов — русских и иностранных, — составленный, без сомнения, также при содействии Чайковского. Но этот список (до 33 авторов), следует заметить, относится не к одному только первому периоду деятельности кружка, но и ко второму, когда он уже в публике именуется «кружком чайковцев». В особенности это следует сказать относительно собственных изданий кружка, большинство которых должно быть отнесено к этому последнему периоду*.

Реорганизованный и значительно пополненный новыми членами кружок к осени 1871 г. имел следующий состав: М. А. Натансон, Н. В. Чайковский, А. И. Сердюков, Н. К. Лопатин, Грибоедов[14], Д. А. Клеменц, М. В. Купреянов, Ф. Н. Лермонтов, А. К. Левашов, С. Л. Перовская, Ал. Ив. Корнилова, Л. Ив. Корнилова, Вера Ив. Корнилова, О. А. Шлейснер и А. Я. Ободовская. Осенью этого же года в состав кружка вошли еще я и Ф. В. Волховский. Последний после оправдательного вердикта, вынесенного ему по Нечаевскому делу, к которому он привлекался, жил пока в Петербурге и лишь в 1872 г. выехал в Одессу, где им и было организовано филиальное отделение кружка, одно из самых деятельных и многолюдных.

---

[13] *Л. Э. Шишко.* Собрание сочинений, т. IV. Пг., 1918, стр. 140—142.

[14] А. И. Корнилова в своих упомянутых выше воспоминаниях не причисляет Грибоедова к нашему кружку, хотя у меня составилось определенное представление, что он был в его составе. Правда, Грибоедов не принимал участия в повседневной работе кружка и ни разу не показывался на общих собраниях его, но мне объясняли это свойствами самой натуры Грибоедова, всегда готового на всякое рискованное предприятие, но не склонного к повседневной революционной работе. Одно время, впрочем, Грибоедов заведовал кассой кружка; ему она была поручена как человеку с положением и наиболее свободному от подозрений**.

Там же А. И. пишет, что в числе лиц, которых решено было привлечь в состав кружка, был и Леонид Попов. Возможно, что такое постановление и состоялось, но в исполнение оно приведено не было. Попов, умный и способный юноша, очень много и с толком читавший, действительно, все время вращался в орбите чайковцев, работая вместе с ними, но его нежная и непрактичная натура мешала вовлечению его в кружок.

Таким образом, во второй половине 1871 г. весь состав петербургского кружка определялся в 17 человек. К этому же приблизительно времени он среди публики, с которой велись деловые сношения, начинает именоваться «кружком чайковцев». Происходит это, вероятно, по той причине, что в это время Н. В. Чайковскому приходилось более, чем кому-либо, вести разные деловые сношения с посторонней публикой, которая и окрестила саму организацию его именем.

У кружка уже в это время имелись филиальные отделения в Москве и других университетских городах и некоторых губернских, связанных деловыми отношениями с петербургским кружком. В самом же Петербурге имелись подручные кружки из студенческой молодежи и немалое количество отдельных лиц, не входивших в кружок, но стоявших близко к нему и помогавших ему в его работе.

В общих чертах характер деятельности преобразованного кружка оставался тот же, что описан Шишко в вышеприведенной цитате, относящейся до кружка Натансона — Александрова, т. е. создание среди интеллигенции и лучшей части студенчества кадров революционно-социалистической или народной партии, с какою целью велась систематическая пропаганда среди учащейся молодежи, устраивались кружки самообразования и пр. С этою же целью продолжалось и «книжное дело», получившее наибольшее развитие в этом году, но в то же время и сильно потерпевшее от преследования администрации, усилившей свою охранительную деятельность со все возрастающей бдительностью. Благодаря этому большая часть изданий, предпринятых кружком, была конфискована и предана сожжению. Так, были сожжены: второе издание «Положения рабочего класса в России» Флеровского, «Исторические письма» Миртова, «Азбука социальных наук» Флеровского, «История 48 года» Луи Блана, «История Коммуны» Корье и Ланжоле и «Рабочий вопрос» Ланге*.

В связи с этой же издательской деятельностью Чайковский 4 раза подвергался обыску и 2 раза аресту, а Натансон, старейший член кружка и один из его основоположников и вдохновителей, после ареста

в ноябре 1871 г. в феврале следующего года был выслан в Архангельскую губернию.

Рядом с легальной издательской деятельностью кружком было положено начало и для издательской деятельности нелегальной, для чего была заведена небольшая типография в Женеве. Делами этой типографии ведал первоначально Александров, вынужденный эмигрировать за границу еще в 1871 г., а затем, когда кружок разошелся с ним, — Гольденберг. Здесь печатались кое-какие брошюры русских авторов и переводные, а вместе с тем было приступлено и к изданию сочинений Чернышевского, особенно чтимых чайковцами. Для перевозки же нелегальной литературы на северной границе имелись связи с контрабандистами, при помощи которых эта литература и доставлялась кружку. Границей ведала особая конспиративная комиссия в лице Сердюкова и Купреянова, а сношениями с заключенными в III отделении (при посредстве подкупленного жандарма) — Любовь Ивановна Корнилова, которую много позднее заменила Перовская. Сношения эти, особенно в первый период деятельности кружка чайковцев, имели большое значение, давая возможность сговариваться о показаниях и тем самым благополучно разрешать дела заключенных.

Развертывая свою разностороннюю деятельность, кружок, естественно, нуждался и в солидных денежных средствах, требовавшихся особенно на издательское дело. Это всегда был больной вопрос в кружке, приковывавший к себе внимание многих его членов. Но благодаря обширным связям в радикально-либеральных кругах, сочувствовавших деятельности кружка, а отчасти и самим членам, из коих некоторые, как сестры Корниловы, принадлежали к зажиточным семьям, вопрос этот так или иначе разрешался, в общем, сравнительно благополучно. Издатели, как Поляков, отпускали свои издания кружку в кредит, а другая сочувствующая публика помогала деньгами, сестры же Корниловы все, что им удавалось получать от отца, совладельца фарфоровой фабрики, несли в кассу кружка; туда же поступило и денежное приданое, полученное при выходе их замуж. Не один Петербург, но и Москва в той или иной степени помогала в этом деле кружку, где орудовал в этом направлении Клячко, видный представитель московского

отделения, располагавший значительными связями, а также и В. Батюшкова, тоже член московского отделения, самолично доставившая петербургскому кружку значительную денежную сумму.

На этой же денежной почве, не перестававшей занимать и волновать кружок, кажется, в 1872 г. разыгрался неожиданный инцидент, приведший к разрыву с лицом, очень близко стоявшим к кружку*. Лицо это, фамилию которого я не назову, увлеченное мыслью сразу разрешить все денежные затруднения кружка, без ведома последнего, приняло участие в какой-то организации по изготовлению и выпуску фальшивых бумажных денег, о чем, когда дело это уже, очевидно, зашло далеко, сообщило Чайковскому. Ошеломленный столь неожиданным известием о предприятии, идущем вразрез со всеми моральными принципами кружка, Чайковский в категорической форме заявил о неприемлемости такой денежной помощи. Рассказывая мне об этом инциденте, Чайковский больше всего удивлялся недомыслию человека, задумавшего поправлять денежные дела кружка, стоящего на страже народных интересов, путем вынимания этих денежных средств из народного кармана. История эта была закончена, так сказать, домашним образом, до сведения кружка в целом не доводилась, а лицо это с тех пор совершенно исчезло с кружкового горизонта. Знал ли еще кто-нибудь об этом казусном деле, мне не известно, но ни от кого больше ни тогда, ни после слышать о нем не приходилось. Не получила история эта огласки и в официальных сферах, надо думать, потому, что предприятие не было доведено до своего конца.

Ведя в больших размерах книжное дело с целью подготовки кадров революционных деятелей в народе и организуя эти нарождающиеся силы, чайковцы, естественно, должны были задумываться и над созданием свободного руководящего заграничного органа печати, долженствовавшего обслуживать вопросы теории и практики революционного дела. Уже со второй половины 1871 г. вопрос этот нередко поднимался и подвергался обсуждению на Кабинетской улице и с тех пор не выходил из поля зрения кружка. Всего охотнее чайковцы готовы были бы видеть во главе такого органа Чернышевского, но он был далеко и

фактически недосягаем. Позднее по этому вопросу велись переговоры с Н. К. Михайловским, а затем с Флеровским (Берви), но эти переговоры не привели, впрочем, ни к каким положительным результатам. Первый из них не захотел променять вполне определенного влиятельного положения, завоеванного им легальной литературной деятельностью, на нечто еще неизвестное и проблематичное, связанное притом с отрывом от питающих его непосредственных впечатлений русской жизни. И сам кружок не мог, конечно, не понимать всей основательности этих соображений, а потому и не мог настаивать на своем предложении, пока легальная литературная деятельность для Михайловского не была закрыта.

Ничего не вышло и из переговоров с Берви. Причин этой неудачи сейчас точно уж не помню, но припоминаю, что и сам кружок колебался возложить столь ответственное дело на Берви, человека хотя и во всех отношениях достойного и уважаемого, но большого оригинала, что не давало уверенности в том, что он сумеет объединить около себя пищущую братию.

Отчасти эти же заботы о создании заграничного органа, для ведения которого требовались литературные силы, побуждали кружок, когда представлялась для этого возможность, принимать деятельное участие по устройству побегов и переправке за границу писателей, попавших в опалу и фактически лишенных уже возможности продолжать свою легальную литературную деятельность. Так, еще в 1872 г. из Красного Яра Астраханской губернии при непосредственном участии чайковцев был вывезен и переправлен за границу автор «Отщепенцев» Соколов; в следующем 1873 г. (11 августа) то же было сделано Клеменцом в отношении нечаевца Тейльса, вскоре же затем схваченного, как замечает Левин, в Петербурге; в декабре этого же года вывезен Купреяновым и переправлен за границу литератор Ткачев. Все эти побеги, артистически выполненные, не сопровождались никакими последствиями для их организаторов и участников, так как таковые обнаружены не были.

В этот первый период моей жизни в кружке мне чаще всего приходилось встречаться с обитателями квартиры на Кабинетской — Чайковским, Натансо-

ном, Лопатиным, Купреяновым, а затем с сестрами Корниловыми, Перовской и Ободовской. С Сердюковым, Клеменцом и Лермонтовым встречи эти были много реже.

Натансон прежде всего поражал своей энергией, но не суетливой, а деловой. Человек большого ума и незаурядной работоспособности, много читавший, с натурой властной и по преимуществу рассудочной, он в то же время обладал и большими организаторскими способностями. Несомненно, в значительной части ему принадлежит честь организации первого ядра будущего кружка чайковцев — ядра, которое уже успело умело и широко развернуть свою деятельность и заслужить почтительное к себе отношение со стороны различных общественных групп, а особенно молодежи. Но он скоро был изъят из обращения и потерян для нашего кружка, хотя духовная связь с ним и поддерживалась перепиской. Через много лет, в конце 80-х годов прошлого столетия, когда я снова встретился с ним в Иркутске, где он заканчивал свою десятилетнюю административную ссылку, а я наезжал туда из Забайкалья, Натансон, казалось, нимало не изменился: та же бодрость и неиссякаемая энергия, что и раньше, так же он является центром, вокруг которого группируются как политическая ссылка, так и все живые люди разных общественных положений г. Иркутска, а голова его полна планов революционной деятельности. Еще много позднее, в 1907 г., когда Россия пережила свою первую, но уже ущемленную революцию и когда I Государственная дума с ее многочисленными представителями от крестьянства вела безнадежную войну с правительством, я снова почти ежедневно встречаюсь с Натансоном в д. № 116 Невского проспекта — штаб-квартире трудовиков Государственной думы. Здесь опять все тот же Натансон с его неистощимой энергией и увлечением, как свой и близкий человек, вместе со своими единомышленниками агитирует, совещается, организует и планирует предстоящие выступления и поведение крестьянских представителей в Думе. Революционная энергия Натансона не угасает до конца его дней *.

Те же основные черты, что и у Натансона, были присущи и другому не менее видному представителю

кружка — Н. В. Чайковскому, с той лишь разницей, что последний был мягче и сердечнее, умел быстро сходиться с людьми и привлекать их к себе, в свою очередь искренне привязываясь к ним сам. Те обширные связи в разных общественных кругах, которые уже были у Чайковского, давались ему легко и без всяких усилий с его стороны, чему немало способствовала и несомненная обаятельность его личности. Но эти же черты — искренняя привязанность к людям и к делу, с которыми так интимно был связан он сам,— думается мне, и были причиной той неожиданной для всех нас метаморфозы, которая произошла с ним, когда в 1874 г., после гибели близких ему людей и самого дела, он позволил увлечь себя Маликову в богочеловечество. Его чувствительная душа не вынесла этого удара и заставила усомниться в тех путях, которыми он шел раньше. Но здравый смысл и тягостная жизнь в Америке скоро покончили с этим новым увлечением и вернули Чайковского к его старым богам.

Я помню нашу первую встречу с ним в Москве в 1907 г., после 34-летнего перерыва, когда в стране уже свирепствовала реакция, а военно-полевые суды нещадно расправлялись с врагами старого порядка и когда Чайковскому вздумалось нелегально вернуться в Россию. Узнав о моем приезде в Москву, он отыскал меня при содействии Е. В. Падариной, и мы встретились с ним на квартире А. П. Чарушникова. Внешне он, конечно, сильно изменился, но был бодр и полон энергии и веры. Помню, он целый вечер развивал мне свой план организации на Урале партизанской борьбы с оружием в руках и отстаивал возможность выполнения такового, ссылаясь на практику Лбова, сумевшего сделаться недосягаемым для властей в течение долгого времени. Горы и таежная местность, говорил он, благоприятствуют такому предприятию. Не разделяя его иллюзорных представлений, я, помню, пытался охладить его пыл, но Чайковский, видимо, оставался при своем, пока личная его поездка на Урал не убедила его в необоснованности его планов. Вскоре затем последовало его неудачное возвращение за границу, его арест, суд вместе с Брешковской и его оправдание, после чего он легализируется, остается в России и принимает деятельное участие в общественно-по-

литической жизни страны, увлекаясь в то же время кооперацией, которой отдает немало своих сил. Уже летом 1917 г., в свою последнюю встречу с ним в Петрограде, когда страна кипела, раздираемая разными течениями, я, как-то возвращаясь с ним с одного многолюдного собрания, спросил его, какой прогноз он делает из всего происходящего в России на ближайшее будущее.

— Ну что ж, — ответил он, не задумываясь, — будет у нас буржуазная демократическая республика *.

Третий старейший член кружка первого состава, Николай Константинович Лопатин, о котором я уже говорил, был моим близким товарищем еще по гимназии, немало способствовавшим моему духовному пробуждению. Студент Медицинской академии с 1868 г., энергичный, весьма начитанный и умный, он занимал в кружке видное положение, выделяясь среди членов своей уравновешенной натурой, трезвым и точным, но несколько скептическим умом. С мнением Лопатина считались. Но, к сожалению, уже в конце 1871 г. он вынужден был оставить Петербург и перебраться в Киев, где рассчитывал закончить свое медицинское образование, бросать которое ему не хотелось. Здесь же, в Петербурге, где он был уже на учете III отделения и не раз подвергался обыскам и арестам, надежд на это у него не было никаких.

Но войдя в кружок киевских чайковцев, он и там обманулся в своих расчетах. Курса ему не удалось закончить и здесь, хотя в Киеве он пробыл до 1878 г., не раз подвергаясь за время своего пребывания в нем арестам и привлечениям к политическим делам. За деятельное же участие в марте 1878 г. в студенческих волнениях в Киеве он по высочайшему повелению был выслан под гласный надзор в Вологодскую губернию и поселен в Великом Устюге, откуда в следующем 1879 г. по распоряжению министерства внутренних дел был переведен под надзор полиции в Казань. Лишь здесь в 1880 г. ему удается окончить университет со званием лекаря. В последующие годы Лопатин, по-видимому, отходит от революционного движения **.

М. В. Купреянов, или попросту Михрютка, как его все любовно называли в кружке за некоторое сходство

его во внешнем облике с молодым медвежонком, был необычайно умным и подающим большие надежды. Несмотря на свои 18 лет, он уже немало читал и читал основательно, добираясь до самой сути дела, благодаря чему, а также и свойствам своего недюжинного аналитического ума он легко разбирался в самых сложных философских вопросах. Но основательность Купреянова, несмотря на его молодость, проявлялась не только в вопросах теории, но и в практической жизни. На Купреянова можно было положиться и быть уверенным, что всякое дело, взятое им на себя, будет выполнено им со всею тщательностью и предусмотрительностью. Он уже в это время входит в конспиративную группу кружка вместе с Сердюковым и Перовской и совместно с ними ведает транспортом по доставке из-за границы нелегальной литературы, а позднее ему же поручается закупка на Венской выставке и доставка в Россию типографии, а затем и вывоз Ткачева за границу, что и выполняется им безукоризненно.

В своих сношениях с рабочими Купреянов так же основателен и оригинален, как и во всем остальном. Если он брался разъяснять что-нибудь рабочим или доказывать, то доводил дело всегда до конца, не оставляя никаких поводов для возражений. В довершение всего он был большим физиономистом и умел распознавать людей. Его большие лучистые глаза проникали как бы в самые таинственные глубины человеческой души и читали там то, чего не видели другие. И с отзывом Купреянова о людях всегда считались в кружке. К великому огорчению всех знавших и любивших Купреянова, тюрьма, а затем и безвременная его смерть в 1878 г. не дали ему развернуть таящиеся в нем дарования.

К женской половине кружка мне много труднее было подходить из-за моей недостаточной привычки к женскому обществу. Но как-никак, встречи эти постоянно происходили, и я постепенно осваивался и с ее представителями. Встречался я с ними в той же штаб-квартире, в гостеприимном и радушном доме Корниловых и у Ободовской, где, хотя и не часто, приходилось бывать, а у Корниловых иногда и обедать.

Дом Корниловых в своем роде был второй штаб-квартирой кружка, но неофициальной, где почти все-

гда можно было застать кого-либо из членов кружка или близких их знакомых и приятельниц. Это не был аристократический дом, подавляющий непривычного человека роскошью обстановки и великолепием, но все в нем все же свидетельствовало об обеспеченности и довольстве. Для нас, живущих на студенческих квартирах и питающихся кое-чем, это было уже из другого мира, малодоступного нам. Меня всегда немало удивляло, что после сытного и хорошо приготовленного корниловского обеда я ощущал волчий аппетит через какие-нибудь три-четыре часа, тогда как обычное и скудное студенческое питание такого эффекта не производило. Хозяйками в доме в это время были, по-видимому, Любовь Ивановна и Александра Ивановна, члены нашего кружка, последняя, впрочем, в конце 1871 г. уже выехала за границу учиться.

Л. И. Корнилова, впоследствии Сердюкова, была, при ее несомненном уме, живая и экспансивная девушка, отзывчивая и веселая, благодаря чему с ней всегда чувствовалось легко и свободно. Она быстро сходилась с людьми невольно располагала их к себе. Младшая же сестра ее, Александра Ивановна, впоследствии Мороз, единственная из женщин кружка, оставшаяся еще в живых, по некоторым своим качествам была противоположностью своей сестре. Всегда сдержанная и серьезная, казалось даже суровая, больше наблюдающая и слушающая, чем принимающая участие в разговоре, она была, видимо, с характером и более строга и прямолинейна в своих суждениях, чем ее сестра.

Дом Корниловых с его молодыми хозяйками играл немаловажную роль в жизни кружка. Там всегда находили временный приют, радушный прием и помощь все, кем-либо гонимые и преследуемые; отсюда же исходила как помощь, так и забота о заключенных. Но этим, разумеется, не ограничивалось их участие в жизни кружка, разнообразные предприятия которого требовали и более близкого участия с их стороны.

Большой приятельницей и другом Корниловых была Софья Львовна Перовская, кажется, самая юная из всего состава кружка. Тяжелая жизнь в ее аристократической семье и борьба за свою самостоятельность рано сделали ее взрослой и закалили ее характер.

Не получив правильного школьного образования, Перовская много работает над собой, много читает и учится, обнаруживая при этом богатые способности. Скромная, редко выступающая в большом обществе, большая ригористка в жизни и костюме, но всегда просто и чисто одетая, как и ее приятельницы Корниловы, она, требовательная к себе, была требовательной и к другим. Всякая неискренность и фальшь, особенно противоречие между словом и делом, выводили ее из себя и вызывали с ее стороны реплики, иногда и очень суровые. Но, сдержанная и даже строгая на вид, она обладала нежной душой, была преданным и надежным другом, терпеливой и отличной сиделкой у постели больного, а порою, в компании близких, она умела звонко и заразительно смеяться. Рассказы же о том, что перед этим она блистала на аристократических балах, а теперь уже хозяйничала в III отделении, как у себя дома, приводимые для вящего ее прославления, в чем она и не нуждается, конечно, ошибочны и несоответствуют действительности. В этот период своей жизни Перовская еще только формировалась, училась, принимая в то же время и активное участие в делах кружка, тщательно и умело выполняя и конспиративные поручения. Влиятельной роли в жизни кружка она в это время играть еще не могла; случилось это уже позднее, когда она сама выросла, возмужала, а вместе с этим поднялся и ее удельный вес.

С Анатолием Ивановичем Сердюковым и Феофаном Никандровичем Лермонтовым мне мало приходилось встречаться, и встречи эти были большей частью мимолетны. Оба они, несомненно, умные, но в остальном совершенно различные люди. Первый из них — сама искренность, живой, сердечный и деятельный, легко располагал к себе и возбуждал симпатии. Лермонтов же производил впечатление человека себе на уме и с большим самолюбием. Не нравилась мне и его кривая улыбка, нередко появлявшаяся на его лице при разговоре с собеседником. Эти свойства его натуры, возможно и незаурядной, плохо вязались с общим типом членов кружка и не могли не вызывать некоторого недружелюбного чувства к нему. Но кажется, особенно не взлюбили Лермонтова наши женщины, а среди них наиболее Перовская. После разрыва с ним

в 1872 г. из-за какого-то несогласованного и произвольного его поступка лишь одна А. Я. Ободовская сохранила с ним дружеские отношения.

IV

Мой переезд на новую квартиру. Начало сношений с рабочими. Собрание у профессора Таганцева



Приблизительно в конце ноября 1871 г. наша коммуна распалась: из прежних жильцов в ней остались лишь я и Л. Попов. В это же время неподалеку от нас поселился Синегуб с двумя медичками — Надеждой Купреяновой, сестрой М. В. Купреянова, и Марией Федосеевной Нагорской, которые и стали звать нас перебраться к ним. Занимаемая ими квартира из четырех комнат позволяла уступить каждому из нас по отдельной комнате, что нас соблазняло, к тому же и публика была хорошая, а потому мы, недолго думая, перебрались туда.

Живя в этой новой коммуне, я продолжал усердно поддерживать связь с кружком, а вместе с тем и входил все больше и больше в круг его интересов. Занимало меня и самое дело, которому я не мог не сочувствовать, и люди, с которыми по мере ближайшего знакомства начала устанавливаться товарищеская близость. Но лишь одно обстоятельство приводило меня в некоторое недоумение. Кружок чайковцев, как и большинство русских революционных организаций, возникавших ранее, занимался также лишь подготовительною деятельностью для предстоящей в более или менее близком будущем работы в народных массах, подготовляя и организуя пока для этой работы лишь кадры деятелей из интеллигенции, самая же основная работа откладывалась на будущее. Такая постановка вопроса еще на гимназической скамье казалась мне ошибочной, в особенности для организаций, уже сформировавшихся и достаточно окрепших, каковой и был в действительности кружок чайковцев.

Дело в том, что судьба русских революционных организаций по своему печальному концу была тождественна: они гибли почти все еще в подготовительный период, не приступив к своей основной деятельности, а между тем социально-политическое освобождение мыслилось всеми лишь при сознательном и активном участии народных масс. При существующей же практике народные массы совсем не затрагивались, и дальше, если эта практика не изменится, дело с народными массами будет стоять так же безнадежно, как и до сих пор, а стало быть, будет безнадежно и самое дело освобождения.

Нечаевский процесс еще больше укрепил меня в мысли не откладывать работу в народе на будущее, а приступить к ней теперь же, не прекращая, разумеется, и другой организационной работы среди интеллигентских кругов. Эта последняя работа уже была налажена, тут имелись и традиции и действовать приходилось в среде родственной и хорошо известной, а потому, кроме лишь внешних препятствий, почти никаких иных затруднений для нее не было.

Совсем другое дело было с работой в народных массах. Здесь и внешних препятствий было много больше, и при этом ни опыта, ни традиций, даже простого знакомства с народной средой, с ее психологией и бытом не было, кроме разве некоторого книжного. Поэтому и подойти к этой мало ведомой среде, к тому же настроенной недоверчиво ко всякому интеллигенту, как к барину, было много труднее, а еще труднее — установить с ней необходимые для дела простые и полные доверия отношения.

Все эти соображения и приводили к неизбежному выводу, что брешь в эту малоизвестную, но нужную область пробивать настоятельно необходимо. Необходимо это было и для самих революционных интеллигентских организаций, которые, варясь в собственном соку и не находя для себя подлинного дела, а лишь вечно только готовясь к нему, или погибали в тюрьмах, или же с годами расстворялись в обывательской среде, забывая свои былые увлечения. В конечном же результате получалось какое-то топтание на одном месте: погибшие или распавшиеся организации заменялись новыми, а эти последние в свою очередь — еще более новыми, и так без конца.

Укрепившись в мысли о необходимости теперь же, не откладывая в долгий ящик, приступить к работе в массах, а прежде всего в рабочей среде как более близкой и доступной, я намеревался разрешить этот вопрос пока только лично для себя. Ставить же его на обсуждение кружка я не собирался, не зная, как этот последний отнесется к нему. Возможно, что я встретил бы те или другие серьезные возражения, на которые, не имея никакого практического опыта в этой новой области работы, мог бы ответить лишь только общими соображениями.

Решив так, я стал искать случая как-нибудь зацепиться за рабочую среду. Случай к этому скоро и неожиданно представился. На одном довольно многолюдном собрании в нашей коммуне, состоявшемся, если не ошибаюсь, после неудачных демонстративных поминок на могиле Добролюбова, откуда почти вся демонстрировавшая публика собралась у нас, чтобы выслушать приготовленную, но не произнесенную речь, мы познакомились со студентом Грациановым*, а через него несколько позднее со студентом Ждановым. У Жданова был брат инженер, а оба они были владельцами химического завода, изготовляющего «Ждановскую жидкость», уничтожающую зловоние,— изобретение инженера Жданова. Вот этот-то студент Жданов и предложил нам — Синегубу, мне и Попову — принять участие в занятиях с его рабочими, культурный уровень которых он хотел поднять. Мы охотно приняли предложение и почти каждый вечер предпринимали путешествие из Рот на Петровский остров, что за Петербургской стороной, где был расположен ждановский завод. Здесь кроме обучения грамоте и разным наукам читались и кое-какие книги, а вместе с тем и происходили беседы на разные злободневные темы. Рабочая публика принимала нас хорошо и живо интересовалась нашими беседами. Но чем дальше шло время и чем откровеннее становились наши беседы, тем неловкость нашего положения становилась все очевиднее. Приглашенные самим владельцем завода для мирных, чисто культурного характера занятий с рабочими, а не для пропаганды, разумеется, революционных идей, мы, не отказываясь от этой последней, тем самым как бы злоупотребляли оказанным нам доверием и становились в ложное и

неприятное положение. Так как выхода из этого положения не было, то, кажется, уже в январе 1872 г. мы с Поповым прекратили посещения ждановского завода и начали искать более независимых связей с рабочими, для чего стали посещать рабочие чайные Выборгской и Петербургской сторон. Синегуб же, а с ним и Стаховский занятия со ждановскими рабочими продолжали до самого лета 1872 г. *

Посещая чайные, мы обычно старались попасть за рабочий столик, за которым знакомились с рабочей публикой, присматривались к ней, заводя на первых порах более или менее безобидные разговоры. Таким путем мы имели возможность наметить более толковую и симпатичную публику, знакомство с которой из чайных уже переносили в рабочие артели, часто очень многолюдные, где уже устанавливались более близкие и деловые отношения. Рабочие в большинстве случаев принимали «студентов» хорошо, охотно соглашались обучаться грамоте, если ее еще не знали, охотно шли на обучение и другим наукам, а еще более охотно слушали чтение или вели беседы на общественные темы. Это были все фабричные рабочие, правда, много менее культурные и развитые, чем заводские, но особенно ценные для нас тем, что они еще не потеряли связи с деревней, а потому в будущем, по достаточной подготовке их, могли быть пропагандистами не только в рабочей среде, но и в крестьянской, куда они ежегодно возвращались на летние работы и на праздники.

Первые наши шаги в рабочей среде, в особенности когда самое трудное — заведение связей — уже миновало, не только не разочаровало нас, а наоборот, все больше и больше увлекало. Аудитория была восприимчивая и отзывчивая и охотно слушала нас, а все остальное уже зависело лишь от нас самих, от нашего такта, умения и преданности делу. В последнем недостатка, разумеется, не было, а такт и умение постепенно приобретались опытом. С этих пор связь наша с Выборгским рабочим районом уже не только не прекращалась, а с течением времени углублялась и расширялась, приобретая в то же время и более организованную форму. Здесь следует сказать, что одновременно с нами, а возможно, и раньше нас, но совершенно независимо от нашей группы такая же

связь, но с заводскими рабочими была заведена А. И. Сердюковым при содействии студента Технологического института Лисовского*. Едва ли может подлежать сомнению, что на направление деятельности Сердюкова, возможно и Низовкина, Шлейснер и некоторых других, немалое влияние оказал Лисовский, человек огромной энергии, уже и тогда обладавший весьма значительными связями среди заводских рабочих в различных заводских районах Петербурга. Бывая во второй половине 1871 г. в штаб-квартире чайковцев на Кабинетской улице, я и тогда уже немало слышал о Лисовском, близко стоящем к некоторым из них, о связи его, а также и Сердюкова с рабочими. Но к сожалению, об этих первоначальных сношениях с рабочими не сохранилось никаких достоверных сведений.

Заводские рабочие того времени были уже квалифицированные рабочие и много более культурные и развитые, чем фабричные. В начале 1872 г. уже целая группа заводских рабочих, образовавшаяся около упомянутых выше лиц, собирается на Выборгской стороне, первоначально у студента университета Корнеева, а затем на Астраханской улице в квартире студента Медицинской академии Низовкина, с которым в это время жил Сердюков. Большинство их были рабочие Василеостровского патронного завода артиллерийского ведомства, уже несколько подготовленные благодаря общению с офицерами завода; меньшинство же составляли заводские рабочие Выборгской стороны и из-за Невской заставы. При сношениях с этими рабочими уже не приходилось начинать дело с обучения грамоте, как это нередко было с фабричными, а с самого же начала читать им популярные лекции по научным вопросам. Так, первоначально Корнеев читал им лекции по географии, Даводчиков — по физиологии, Сердюков же и Лисовский не преминули внести в свои сношения с рабочими общественно-революционный элемент. Начатое таким образом в скромных размерах дело и здесь, как и среди фабричных рабочих Выборгского района, в течение 1872—1873 гг. постепенно росло и крепло до своего разгрома в марте 1874 г.

Весьма вероятно, что в пополнении кадров этого кружка заводскими рабочими из-за Невской заставы

принимал участие близкий к чайковцам Шлейснер, брат жены Натансона, который еще во второй половине 1871 г. поступил простым рабочим на один из тамошних заводов*. Связь свою с рабочим кружком Сердюкова Шлейснер поддерживал и в дальнейшем.

Об этой же связи с заводскими рабочими, установившейся еще с 1871 г., свидетельствует и П. А. Кропоткин, который в своих «Записках революционера» по этому поводу пишет:

«За год уже до моего знакомства с чайковцами [состоявшегося весной 1872 г. — *Н. Ч.*] Сердюков свел знакомство с заводскими рабочими в Петербурге, и к весне 1872 г. у него уже был кружок заводских, человек 25—30. Большинство из них работали на казенном Патронном заводе артиллерийского ведомства... Другие их товарищи были с других заводов...» [15]

Таким образом, брешь в неведомую нам рабочую среду — фабричную и заводскую — была пробита, и среда эта не оттолкнула и не разочаровала нас, а, наоборот, увлекла, а немного позднее увлекла она и остальных чайковцев и близко стоящую около них молодежь.

Как я уже говорил, правительственная реакция не останавливалась в своем поступательном ходе, и естественного конца ей не предвиделось, благодаря чему русское общество все больше и больше настраивалось оппозиционно, а более молодая и нетерпеливая часть его — и революционно. Понятно, что при таком настроении те и другие пытались осмыслить создавшееся положение и найти из него выход. На этой почве и состоялось еще в декабре 1871 г. объединенное и довольно многолюдное собрание у профессора Таганцева из представителей радикальной интеллигенции и всего наличного состава кружка чайковцев, находившихся в то время в Петербурге. Чья тут была инициатива — я в точности не знаю, но предполагаю, что исходила она не от последних. Цель этого собрания — побеседовать на злободневные темы и попытаться соединенными силами наметить ближайшие пути для выхода из тупика.

На собрании предполагалось заслушать предварительно реферат некоего Шевича, сенатского чиновника,

---

[15] *П. А. Кропоткин*. Записки революционера. М., 1924, стр. 402.

«О сущности конституции» по Лассалю, который и должен был послужить ближайшим поводом для беседы на эту животрепещущую для России тему. Все чайковцы заранее были оповещены о предстоящем собрании и вечером в назначенный день небольшими группами с разных концов Петербурга двинулись на Васильевский остров, где жил тогда проф. Таганцев. По нашем приходе не особенно большая квартира Таганцева была уже полна народу. Там кроме самого хозяина и референта Шевича можно было видеть Н. К. Михайловского, В. И. Водовозова, известного педагога и общественного деятеля, Е. И. Утина, В. Д. Спасовича, В. П. Воронцова (В. В.) и многих других, которых я не знал или запамятовал. Из чайковцев же припоминаю самого Чайковского, Клеменца, Волховского, Сердюкова, Купреянова, Лермонтова, Перовскую, Ободовскую, Любовь Корнилову и Шлейснер — жену Натансона. Самого же Натансона не было, так как он в это время уже сидел в III отделении.

На собрании, открытом под председательством Таганцева, было от 40 до 50 человек. Шевич прочел свой реферат, составленный исключительно по Лассалю без какого-либо экскурса в область русской действительности. Сам по себе реферат Шевича не вызвал ни возражений по существу вопроса, ни даже каких-либо замечаний, так как, видимо, с основными положениями лассалевской речи о сущности конституции все были согласны. Этим роль референта и закончилась, и собрание уже само перевело вопрос о конституции на русскую почву, благодаря чему сразу же интерес собрания значительно повысился. Не помню, кто первый из участников собрания открыл прения по вопросу о конституции применительно к русским условиям, но хорошо помню, что выступали главным образом трое: чайковцы Клеменц и Волховский и близко стоявший к ним, но не входивший в состав кружка В. П. Воронцов. Все они, не расходясь в основных положениях, в своих выступлениях лишь дополняли друг друга и углубляли вопрос.

В общих чертах сущность прений, как я уже писал в небольшой заметке об этом собрании, помещенной в «Каторге и ссылке» (1925, № 2, стр. 101), сводилась к следующему:

«Конституция, в особенности конституция подлинная, — дело хорошее, но сами собой конституции с неба не падают, а их добывают. Но кто же у нас будет бороться за конституцию? Наши привилегированные сословия — дворянство и буржуазия — слабы и бороться за конституцию не будут, а предпочтут защищать свои классовые интересы с заднего крыльца, что они с большим успехом и делают в настоящее время. С точки же зрения общенародных интересов классовая куцая конституция, каковую только и могли бы добыть эти классы, если бы даже и захотели, не была бы полезна, а послужила бы лишь к усиленной эксплуатации широких народных масс и их угнетению. Указывая на наше прошлое и, в частности, на наши земские соборы, созывавшиеся время от времени в старину, ораторы находили в этих последних подтверждение такого своего взгляда. Приводились факты, как, например, представители нашего третьего сословия добивались на этих соборах и для себя такого же права владения крепостными крестьянами, каким обладало дворянство».

«Таким образом, — писал я дальше, — для борьбы за конституцию наши высшие классы в целом признавались совершенно безнадежными».

Но «оставался еще один слой населения, действительно заинтересованный в политических свободах, это — наша интеллигенция, но она тоже была слаба и сама по себе материально бессильна в борьбе с самодержавием; к тому же интеллигенция эта, в большинстве своем социалистически настроенная, не стала бы бороться за чистую конституцию».

«Этот анализ положения наших дел приводил к единственному и неизбежному выводу, что без серьезной материальной базы или, иначе говоря, без сознательного участия широких народных масс выхода из тупика нет и не может быть. А чтобы создать эту базу и вовлечь в борьбу и наше многочисленное крестьянство, и наших рабочих, тогда еще немногочисленных, но более культурных и восприимчивых, чем крестьянство, — необходимо развернуть наше знамя, выставив на нем и социалистические требования, близкие и понятные для тех и других. Словом, интеллигенция должна объединить свое дело с делом обще-

народным, поставив это последнее во главу угла и связав его с вопросом политическим».

Отсюда сам собою вытекал вопрос о необходимости организации народных масс в целях вовлечения их в активную борьбу с самодержавием, а вместе с тем и вопрос о пропаганде среди них.

Вышеуказанные общие выводы, к каким пришло собрание, ни с чьей стороны никаких возражений не встретили. Рассмотрение же организационных вопросов, при котором, несомненно, в первую же голову выплыл бы аграрный и рабочий вопросы как базис для объединения рабочих и крестьян, за поздним временем было отложено до следующего собрания, которое по неизвестным мне причинам так и не состоялось. Возможно, что при рассмотрении этих коренных вопросов уже не было бы того единодушия, какое было на этом первом собрании при рассмотрении вопросов общего характера.

Собрание у Таганцева и те выводы, к каким оно пришло, еще более укрепили во мне мысль о необходимости работы в народных массах, и, в частности, в рабочей среде, не откладывая ее в долгий ящик. Обязывало, по-видимому, к этому же и остальных чайковцев, принимавших столь активное участие в рассмотрении и предрешении этого вопроса на упомянутом собрании. Но кружок в целом пока этого вопроса не поднимал у себя, хотя принципиально он стоял на той же точке зрения, на какую стало собрание у Таганцева. Всегда осторожный и вдумчивый, он не спешил переходить с занятой им позиции на другую, еще мало ведомую и мало освещенную. К тому же организационные планы среди интеллигентных кругов не считались еще выполненными, а потому и разбивание своих небольших сил в такое время могло казаться преждевременным. Как раз приблизительно в это время и несколько позднее некоторые из чайковцев заняты были даже мыслью о вовлечении в круг своих организационных планов земского элемента, для чего знакомились с земской литературой и заводили связи с земцами, а Кропоткин, вошедший в состав кружка весной 1872 г., хотя уже и анархически настроенный, предлагал даже свои услуги, если кружок того пожелает, заняться организацией придворных сфер, где у него были знакомства и связи, в целях конститу-

ционного переворота. Но эти планы, свидетельствовавшие лишь о поисках более коротких путей для выхода из политического тупика, в котором находилась страна, были скоро оставлены, как не имеющие под собой реальной почвы, и к ним уже не возвращались.

Вероятно, немалое влияние в этом отношении оказала и начавшаяся работа в рабочей среде, в которую постепенно втягивались и другие члены кружка. Рабочая среда, как я уже сказал, оказалась отзывчивою и для работы благодарною; ею невольно увлекались и незаметно для себя перемещали центр тяжести своего внимания с интеллигентских кругов на рабочие массы, что в то же время совпадало и с идеологическими представлениями.

То, о чем мечтали, к чему стремились и что́ в конечном итоге должно было, особенно в русских условиях, составлять главную задачу деятельности всякой революционной организации, оказалось совсем не трудным, была бы лишь для этого известная решимость.

V

Вести из Вятки с призывом помочь Чемодановой выбраться из домашних тисков. Новые члены кружка: С. М. Кравчинский, П. А. Кропоткин и С. С. Синегуб. Несколько слов о Д. А. Клеменце. Моя поездка в Вятку, Орлов и обратно. Углубление работы среди рабочих, которая захватывает почти весь состав кружка и становится его главным делом

Приблизительно в феврале 1872 г. мною из Вятки получено было от Кувшинской письмо, в котором она сообщала о печальной участи одной из своих любимых воспитанниц епархиального училища Ларисы Васильевны Чемодановой, дочери сельского священника. Блистательно окончив курс этого училища в 1871 г. на шестнадцатом году, но будучи уже основательно затронута новыми идеями, она поехала в свое село Уни, где отец ее священствовал, с радужной надеждой осенью этого же года поехать учиться дальше, чтобы затем посвятить свои силы на служение народу. Но

дома эти мечтания умной и даровитой девушки были скоро и основательно разбиты: о поездке куда-либо учиться никто и слышать не хотел, а вместо поездки вольнодумную и зараженную вредными идеями девицу подвергли строгому режиму, сделав ее жизнь невыносимой. От отцовского деспотизма Лариса бежала, но на 80-й версте была поймана отцом и возвращена домой, после чего жизнь в семье сделалась для нее еще невыносимее. Ее окружили шпионами, прекратили всякие сношения с внешним миром, дозволив лишь видаться с дочерью местного дьякона, и в довершение всего собирались выдать замуж за нелюбимого человека — местного мирового судью Захарова, большого любителя выпить. Дело для нее стояло так: или свобода, хотя бы путем фиктивного брака, или смерть. Я знал эту девушку. Бывая у Кувшинской в епархиальном училище, я в числе других воспитанниц познакомился и с Ларочкой Чемодановой, невольно обращавшей на себя внимание. Красавица, но вместе с тем скромная и серьезная, с пытливым умом, усиленно работавшая над собой, уже твердо для себя решившая во что бы то̀ ни стало выбиться на широкий жизненный простор, она обладала глубокой и сильной натурой, которая не сгибается, а лишь ломается. Попав в домашнюю кабалу и потеряв надежду собственными силами выбраться из нее, она, несомненно, покончила бы все счеты с жизнью, если ей не будет помощи со стороны, о чем она через свою подругу, дьяконскую дочку, и извещала Кувшинскую. Вот об этом и писала мне последняя и убедительно просила помочь Ларисе хотя бы путем устройства фиктивного брака.

В то время каждым ценным человеком, в особенности из женской половины, хотя бы этот человек еще только подавал надежды, очень дорожили, дорожил им и наш кружок, а потому в число своих задач он ставил как помощь политическим ссыльным по освобождению их из неволи, так и молодым людям, стремящимся выбраться из кабалы домашней. Поэтому сочувствие делу освобождения Чемодановой было полное, но весь вопрос был в том, как это сделать и кто возьмется за такую сложную и щекотливую миссию, как устройство фиктивного брака с девушкой, находящейся в заточении в глухой сельской местности под

тщательным присмотром домашних, при этом уже подозрительно настороженных относительно возможности фиктивного брака благодаря перехваченным ранее письмам Ларисы к Кувшинской.

Перебирая своих приятелей, я остановился на Синегубе как на наиболее подходящем для такой роли человеке. Он был дворянин и сын помещика, значит, хорошего происхождения и материально должен казаться совершенно обеспеченным, что было чрезвычайно важно для родителей; затем — в достаточной степени находчив и не трус — качества, тоже необходимые, а главное, его умение быстро сходиться с людьми и располагать их к себе делало его незаменимым человеком для предназначенной роли. Дело же было, действительно, трудное и до крайности щекотливое, а проваливать его ни в коем случае не хотелось, да и стоило бы это жизни хорошего человека и многих неприятностей для другого.

Остановившись на Синегубе, я вместе с тем не хотел оказывать на него какого-либо давления, а потому, возвратившись домой по получении письма Кувшинской, ограничился лишь подробным изложением всех обстоятельств дела моим сожителям, в том числе и Синегубу. Последний, выслушав все, тотчас же сам предложил мне свои услуги, о чем я и уведомил Кувшинскую, а та окольными путями довела до сведения Ларисы. Но Чемоданова почему-то долго молчала и лишь к осени того же 1872 г. написала Кувшинской, что терпеть больше не может, и просила послать ей на выручку обещанного жениха. Жених, хотя уже и перестал было думать о своей неведомой невесте и своей освободительной миссии, тотчас же принялся с помощью своих друзей за приготовления к отъезду, каковой после подробного инструктирования и состоялся приблизительно во второй половине сентября. Миссия Синегуба, потребовавшая до двух месяцев времени, несмотря на целый ряд затруднений, предвидеть которые заранее было невозможно, была выполнена им артистически. Подробно и красочно вся эта история фиктивного брака Синегуба и Чемодановой, обратившегося через год в самый тесный и завидный супружеский союз, описана самим Синегубом в его «Воспоминаниях чайковца» на страницах «Былого» (1906, № 8).

Весной 1872 г. кружок наш пополнился новыми членами — Кравчинским и затем Кропоткиным. Это были ценные приобретения для кружка.

Сергей Михайлович Кравчинский, артиллерийский офицер, некоторое время уже служил в батарее, но затем бросил военную службу и поступил в Петербургский лесной институт. Это был богато одаренный и увлекающийся молодой человек среднего роста, богатырски сложенный, с большой курчавой головой, с крупными чертами лица и со взглядом исподлобья. Весь его облик, дышащий умом и энергией, был оригинален. Он много и серьезно читал, владел несколькими языками и в кружок вошел уже определенно настроенным революционно, но на несколько романтический лад. Изучая историю Великой французской революции, он пришел к выводу о громадной роли личности в направлении и ходе этой революции и в ходе истории вообще, а потому естественно, что эту же точку зрения переносил и на русскую действительность, мечтая о героических подвигах. Попав в кружок, быстро сойдясь со многими из его членов и искренне привязавшись к ним, а вместе с тем и проникнувшись уважением к кружку в целом, он невольно для себя переносил и свою веру в собственные свои революционные силы на коллективные силы кружка, представлявшего уже тогда известную общественную величину. Но романтически настроенная натура Кравчинского никогда не могла уложиться в рамки правильной, систематической работы и постоянно рвалась к личным подвигам революционного характера, что не раз ему и приходилось приводить в исполнение впоследствии.

Другой вошедший в состав кружка — Петр Алексеевич Кропоткин — имел много общих черт с Кравчинским. Происходя из известной княжеской фамилии, корни которой обретаются в роде Рюриковичей, он воспитывался в Пажеском корпусе, по окончании курса которого ему открывалась широкая придворная карьера, но от последней он уклонился, предпочтя ей военную службу в Сибири, куда и отправился в 1862 г. Здесь он пробыл целых 5 лет то в Чите, то на Амуре, то в Иркутске, то предпринимая экспедиции в Маньчжурию, предаваясь в то же время со всем пылом молодости общественной и научной работе.

Будучи конституционалистом, но разочаровавшись в русской государственности, вступившей после польского восстания 1863 г. на путь откровенной реакции, Кропоткин, после восстания в 1866 г. ссыльных поляков на Кругобайкальской дороге, опасаясь, что его, как военного, могут послать на какое-либо усмирение, бросает военную службу и в следующем же году едет в Петербург, где отдается научной работе в качестве секретаря Русского географического общества*. Но, несмотря на его увлечение наукой и известность благодаря его работам в ученом мире, Кропоткина как живого и чуткого человека повелительно влечет «в стан погибающих за великое дело любви»: он бросает и эту службу и в 1871 г. едет за границу, где знакомится с рабочим движением, примыкает к Юрской федерации и приобщается к анархическому мировоззрению. Возвратившись в 1872 г. в Россию, он, ищущий живого дела, весной этого же года примыкает к кружку чайковцев, искренне привязывается к нему и отдает ему все свои силы, как и Кравчинский, несмотря на разницу в теоретических воззрениях. Невысокий, коренастый, с огромной русой бородой, доходящей чуть не до пояса, с живым взглядом и выразительным умным лицом, Кропоткин, несмотря на то что был старше многих из нас лет на 7—10, благодаря своей простоте и искренности сразу же завоевал наши общие симпатии. Демократ в душе и по привычкам, выработанным еще предыдущей жизнью, он быстро вошел в круг деловой жизни кружка, не внося в нашу тесно сплоченную семью ни малейшего диссонанса. Несмотря на то что ни Кравчинский, ни Кропоткин организаторскими способностями не обладали и в жизни кружка руководящей роли не играли, они своим участием в нем вносили много оживления и содержательности. К тому же оба обладали литературными дарованиями, что при расширяющихся задачах кружка, в особенности в связи с рабочим делом, нуждавшимся в создании особой популярной литературы по общественным вопросам, представляло большую ценность.

Едва ли не больше всех других из состава нашего кружка к типу этих двух людей по свойствам своей натуры приближался Дмитрий Александрович Клеменц. Разносторонне образованный, с пытливым и

острым умом, одинаково легко ориентирующийся в вопросах общественного характера и научных, смелый, находчивый и остроумный, крайне нервный и живой, не могущий ни минуты спокойно посидеть на месте, он невольно вызывал к себе общее любовное и в то же время почтительное отношение. Его острого языка побаивались все, а вместе с тем и подтрунивали над ним самим за его анархическую беспорядочность в жизни. Это безусловно оригинальная личность, оригинальная и во внешнем облике, плохо укладывалась в рамки кружковой деловой жизни и нередко вылезала из них, что, однако же, не нарушало установившихся с ним дружеских и приятельских отношений. Клеменца ценили и уважали и охотно прощали ему его маленькие погрешности, вытекающие из его широкой, увлекающейся и неуравновешенной натуры, формировавшейся на широком просторе приволжских степей. Рамки русского подполья всем им были тесны, и они не имели возможности в должной мере развернуть свои силы.

Приблизительно около этого же времени в состав нашего кружка вошел и С. С. Синегуб, о котором я уже говорил раньше. Это был тоже своеобразный тип, но совсем в другом роде, чем последние трое. Его уже давно и хорошо знали в кружке, ценили и любили как искреннего и преданного делу человека и прекрасного работника, но до сих пор не решались ввести его в состав кружка по недостатку в нем, как казалось, надлежащей конспиративности.

К лету 1872 г., порядочно измотавшись за осень и зиму, часть нашей публики стала разъезжаться. Уехала С. Л. Перовская в Самарскую губернию учительствовать на курсах по подготовке народных учителей в имении М. А. Тургеневой, а затем она в качестве оспопрививательницы бродила по окрестным селениям, знакомясь с жизнью и настроением крестьянства. Уехал Синегуб на юг к брату, а затем в Екатеринбург. Еще раньше, а именно осенью 1871 г., А. И. Корнилова выехала для изучения акушерства в Вену, где попутно знакомилась с рабочим движением. Поехал и я в Вятку, а затем в Орлов — к своим.

В Вятке ко времени моего приезда большинство вятского студенчества уже было на месте, а потому в городе царило оживление в связи со съездом моло-

дежи, которой было что порассказать. Приехал, между прочим, и состоящий в деловых отношениях с чайковцами Овчинников из Казани; и я передал ему часть привезенной литературы, а он ознакомил меня с тем, что делается в Казани. Мои же старые знакомые все были на месте, были и Трощанский, и Кувшинская, с которой я всю эту зиму вел оживленную переписку. Кувшинская рассказывала мне о последующей после выхода из епархиального училища судьбе своих воспитанниц, с большинством из которых она поддерживала переписку. Почти все они попали в родительскую кабалу, вырваться из которой можно было лишь при помощи экстраординарных мер. Но всего больше беспокоила ее Чемоданова, положение которой было отчаянное, а известий от нее никаких. В то время еще не было ничего известно, как она отнесется к готовности Синегуба разыграть роль ее жениха, и это очень беспокоило нас.

В это же лето определились и мои отношения к Кувшинской: прежняя наша дружба сменилась любовью, несмотря на мое твердое решение не связывать себя браком, могущим по своим последствиям, как я думал, послужить помехой свободно располагать своей судьбой. Но, зная Кувшинскую, ее взгляды и настроение, опасения эти поблекли и перестали устрашать меня.

Прожив в Вятке две-три недели и условившись с Кувшинской съехаться в августе в Казани, чтобы отсюда уже ехать вместе в Петербург, я выехал в Орлов к своим, а Кувшинская — в свою Кокшагу Яранского уезда.

В Орлове я все нашел по-старому, материальные условия моих семейных были сносные, но настроение мое, несмотря на это, было далеко не важное. Там, конечно, все были рады видеть меня целым и невредимым, но эта радость еще больше угнетала меня, так как я отчетливо сознавал, что для семьи я уже конченный человек и никаких надежд возлагать на меня не приходится. Все это отравляло радость пребывания моего среди близких. Мучило меня сознание, что и сама катастрофа со мной, каковую рано или поздно я считал неизбежной, сама по себе помимо всяких материальных соображений причинит моим семейным много искреннего и глубокого горя, не умеряемого

притом тождеством взглядов на мои гражданские обязанности. От матери, воспитанной в ветхозаветной среде, конечно, трудно было и ждать понимания, а потому я и не решался заговаривать с ней на эти темы, чтобы заранее не тревожить ее. И лишь мои подрастающие братья, в особенности старший из них, с которым по возрасту у меня были более близкие отношения, могли до известной степени понять мои мотивы и не осуждать меня.

Недолго при создавшихся трудных обстоятельствах я пробыл в Орлове и скоро выехал в Вятку. Это была моя последняя встреча с родными, и лишь через 23 года я имел возможность снова увидеться с ними, но уже значительно поредевшими и постаревшими.

В Вятке я пробыл всего лишь несколько дней и опять на лошадях двинулся на Казань, где, как было условлено, встретился с Кувшинской, уже ожидавшей меня. В тот же день, взяв из экономии билеты третьего класса, мы выехали на пароходе в Нижний, но поднявшийся ночью холодный северный ветер в значительной степени отравил нам радость встречи и удовольствие самой поездки. Мы мерзли от холода и вынуждены были искать какого-нибудь прикрытия от все усиливающегося ветра и, наконец, нашли его между тюками под брезентом, где и провели утомительно длинную и беспокойную ночь.

В Москве опять остановка и поездка в Петровское-Разумовское, чтобы повидаться с нашими знакомыми, между прочим, и с Синцовыми [16], жившими этим летом недалеко от Разумовского.

По приезде в Петербург я сдал Кувшинскую Корниловым, которые устроили ее в женской коммуне, на Басковой улице, где в это время проживали Рязанцева, Палицына, Надя Купреянова и Олеся Охроменко, а я поселился в Ротах, недалеко от Технологического института и нашей штаб-квартиры, перебравшейся за лето со своего старого пепелища на Кабинетской улице. На этот раз на этой новой квартире жили лишь В. И. Корнилова, Чайковский и Купреянов, а несколько позднее временно поселилась тут же и О. А. Шлейснер. Поселившись поблизости

---

[16] М. М. Синцов — бывший председатель Вятской губернской земской управы.

от нее, я почти ежедневно бывал там и имел возможность ближе сойтись как с самим Чайковским, так и с другими членами кружка, посещавшими эту квартиру. Вера Ивановна Корнилова в это время была уже больна и редко выходила из своей комнаты, а когда выходила, большей частью лишь к обеду, то была молчалива и мало принимала участия в общих разговорах. Видимо, настроение у нее было неважное.

Осенью 1872 г. дела кружка шли в прежнем направлении, но с тою лишь разницей, что члены его все больше и больше уделяли внимания рабочему делу. Эта последняя деятельность кружка невольно сказывалась и на настроении студенческой молодежи, в особенности той части ее, которая соприкасалась с чайковцами. Невольно заражаемая тем увлечением новым делом, которое было у этих последних, молодежь охотно шла навстречу новому течению, принимая деятельное участие в занятиях с рабочими, организуясь с этой целью в самостоятельные подсобные кружки. Постепенно благодаря приливу новых сил деятельность в рабочей среде ширилась, захватывая новые рабочие районы. Но едва ли не главным центром деятельности среди рабочих была в это время Выборгская сторона, где в ноябре этого года специально для занятий с рабочими был нанят большой дом Байкова, в который перебралась вся женская коммуна из Баскова переулка в лице медичек: Кувшинской, Рязанцевой, Кочуровой, Купреяновой и только что прибывшей вместе с Синегубом Ларисы Чемодановой, уже обвенчанной с ним. Эта женская компания поселилась в двух поместительных комнатах, отделенных от другой, много большей части дома парадными сенями. В этой второй половине, состоявшей из большого зала и трех жилых комнат, разместились студенты: Попов Леонид, Стаховский, Шамарин, Жуков и Красовский.

Занятия школьного характера обычно происходили по отдельным комнатам, а в зале производились общие чтения, беседы или читались лекции по общественным вопросам. Ежедневно вечерами собирались сюда десятки фабричных рабочих — мужчин и женщин — и усердно занимались или слушали чтение или лекции. Здесь Кропоткин читал лекции об интернациональном движении рабочих Запада, а Клеменц

знакомил рабочих с русской историей, и в частности с народными движениями, а А. И. Корнилова — с немецким рабочим движением. Это в своем роде была настоящая лаборатория, где целый десяток постоянно живущих лиц да плюс приходящие заняты были обработкой малокультурной рабочей среды. Рабочие с увлечением занимались, еще с большим увлечением принимали участие в беседах или слушали лекции, расширявшие их взгляды. Чрезвычайно любопытно было наблюдать, как некоторые из них постепенно в какие-нибудь два-три месяца из самого обыкновенного, с обывательским мировоззрением рабочего превращались в критически, а иногда и в революционно настроенных людей. Уже в это время из фабричной среды Выборгского района выделялись своей сознательной революционностью и готовностью отдать свои силы на дело революции Григорий Крылов, Абакумов и Никита Шабунин. С ними одними из первых мы связались и были в самых дружеских отношениях*. До февраля следующего года весьма деятельное участие принимал в делах Выборгского района Синегуб, живший в это время вместе со мной на Выборгской же стороне, куда из Рот я переселился, чтобы быть ближе к месту моей главной деятельности в рабочей среде. В феврале же Синегуб, стремившийся к непосредственной работе в деревне, выехал учительствовать в Тверскую губернию, куда через некоторе время перетащил к себе и Чемоданову. Я же, за исключением месяцев, когда выезжал на юг, был прикован к Выборгскому району вплоть до своего ареста в начале 1874 г., принимая в делах его, как и в делах кружка в целом, живейшее участие.

Вспоминая теперь эти ежедневные и многолюдные собрания рабочих в доме Байкова, тянувшиеся до лета 1873 г., невольно удивляешься, как многоокая полиция ничего не видела и ни разу не побеспокоила живущих в нем, хотя рабочие мало таились в своей среде об этих собраниях и почти ежедневно привлекали на них все новых и новых любителей просвещения. Очевидно, и для полиции, и для агентов политического сыска это тоже было совсем новое дело, о существовании которого они не подозревали, а потому по-прежнему все внимание свое направляли в другую сторону.

Благодаря такому уклону внимания со стороны надзирающих органов работа в рабочей среде при соблюдении лишь некоторой осторожности происходила в течение 1872 и почти всего 1873 г. почти беспрепятственно. Это было, в особенности при начале сношений с рабочими, чрезвычайно важно, так как давало возможность работающей публике выработать соответствующие навыки в совершенно новом для нее деле, полюбить это дело, увлечься им, успеть подготовить из наиболее отзывчивых и способных рабочих преданных делу людей и установить с ними прочную идейную связь.

Выборгский район, как я уже говорил, был по преимуществу фабричным. Здесь работали выходцы из подмосковных губерний, не потерявшие еще связи с деревней. Обычно на большие праздники, и в особенности на время летних полевых работ, они разъезжались по своим деревням для участия в этих работах. К осени они снова возвращались на фабрику и в свои артели, чтобы заработать малую толику для поддержки своего крестьянского хозяйства. Заработок ткачей был скудный, а работа длительна и утомительна, развлечений же никаких, кроме трактира или чайной. Культурный уровень массы фабричных, часто совсем неграмотных, был невысок и мало чем отличался от крестьянской массы. Но мы, мечтавшие воздействовать и на эту последнюю, как я уже говорил, особенно ценили фабричную среду, как не только ценную самое по себе, но и как естественного проводника в ближайшем же будущем революционных идей в крестьянских массах.

Однако, чтобы достигнуть таких результатов, нужно было предварительно проделать большую работу: неграмотных надо было обучить грамоте и сообщить им хотя бы самые элементарные сведения по разным отраслям знания, а затем уже чтением, беседами и лекциями на темы общественного характера постепенно вводить в круг наших идей. Мы шли в народную среду, чтобы путем пропаганды приобщить ее к этим последним, а приходилось прежде всего брать на себя чисто черновую работу, которая должна бы быть сделана начальной школой, которой в то время среди крестьянского населения почти не было.

Все это, без сомнения, немало затрудняло нашу работу, которую к тому же приходилось делать тайком, усердно укрываясь от зоркого и подозрительного ока начальства. Но различные препятствия, встречавшиеся на нашем пути, как бы они серьезны ни были, не казались нам страшными и непреодолимыми. Безграничная вера в идею и в ее жизненность покрывала все. К тому же мы были социалистами и отчетливо сознавали, что дело народа в конечном итоге должно находиться в его собственных руках и освобождение его всецело будет зависеть от степени его сознательности, которой нужно было добиваться во что бы то ни стало.

Правда, наш социализм плохо усваивался реалистически настроенной полукрестьянской массой фабричных рабочих, которые с гораздо более живым интересом слушали нас, когда мы касались вопросов о земле, податях, административном произволе, беззастенчивой эксплуатации владельцев промышленных заведений, о нашем государственном строе, выгодном лишь для богатых и знатных. Подвергая критике наш государственный строй, основанный на бесправии и угнетении народа, мы всегда, конечно, указывали, что изменение этого строя в благоприятном для народа смысле всецело будет зависеть от самого народа, перед силой которого не устоит никакое правительство. Таким образом, силою вещей наша пропаганда вращалась в области социально-политических идей, в особенности же политических, без разрешения которых не представлялось возможности разрешить и вопросы социального характера.

Эту грандиозную задачу, в особенности в такой необъятной и малокультурной стране, как наша, мы не собирались разрешить в завтрашний же день. Мы отлично понимали, что дело это страшно большое и трудное и потребует много времени и тысяч жертв не одного поколения революционных деятелей, но сделать его было необходимо. И лишь временами, в минуты раздумья, когда со всею отчетливостью представлялась вся необъятность начатого дела, казалось безумием какой-то горсти людей, хотя и беззаветно преданных, мечтать перевернуть все вверх дном в огромной некультурной стране с прочно стоящей и хорошо организованной исторической властью, располагаю-

щей материальными силами и веками налаженной государственной организацией. Но сомнения эти были мимолетны и не имели влияния на прочность веры в жизненность нашей идеи, которая, как мы были убеждены, победит все лежащие на ее пути препятствия. Не будь этой веры, люди не шли бы с таким легким сердцем на явно безнадежное для них лично дело, не было бы и последующего движения, видоизменявшегося лишь в зависимости от времени и господствующих настроений.

В то время, о котором идет речь, как я уже говорил раньше, рабочий класс был малочислен и слаб и особых надежд для борьбы за освобождение сам по себе представлять не мог. Россия в начале 70-х годов была страной по преимуществу крестьянской, многомиллионные массы которой находились во всех отношениях в самом безотрадном положении, а потому они и не могли не привлекать к себе нашего преимущественного внимания, тем более что массы эти в наших глазах представляли ту потенциальную, но пока еще не осознанную ими самими революционную силу, при помощи которой только и возможна была победоносная борьба с угнетающим страну режимом. Но доступ в эту крестьянскую среду был бесконечно труден, а городской идейный интеллигент, как бы он ни был революционно настроен, этой среды совсем не знал или знал очень мало; подойти к ней, не возбуждая к себе подозрения или недоверия, сумел бы далеко не всякий. Вот почему в самый первый период движения внимание по преимуществу сосредоточивалось на рабочем классе, в особенности на его фабричной части, еще не потерявшей связи с деревней. Рабочая публика, притом все же более культурная, чем деревенская, была под боком, и подойти к ней, не ломая себя, было много легче. Среда эта была также угнетена и обездолена, а потому и отзывчива. У ней, правда, были и свои интересы, но эти интересы, как непосредственно входившие составною частью в круг наших идеологических представлений, были в то же время и нашими интересами. Подготовленные в достаточной степени, они, естественно, могли быть и лучшими пропагандистами освободительных идей в крестьянской среде, где они были своими людьми, не возбуждавшими ни у кого никакого подозрения.

Расчет был правильный, в ближайшее же время рабочие и дали таких пропагандистов в крестьянской среде, которые в своих сообщениях с мест отнюдь не жаловались на холодное или недоверчивое отношение со стороны крестьян к их проповеди; наоборот, письма их и личные сообщения были полны веры в начатое ими дело.

Как уже сказано было выше, другим не менее крупным центром пропаганды, но среди заводских рабочих, в 1872 г. был тоже Выборгский район, объединявший в себе заводских рабочих Васильевского острова, Выборгской стороны и Невской заставы. Местом объединения служила квартира Низовкина на Астраханской улице. Главный контингент этого объединения составляли рабочие Василеостровского патронного завода, а затем уже заводские рабочие Выборгской стороны и Невской заставы. Здесь в кружке в 25—30 человек, главном поле деятельности Сердюкова, группировались уже видные заводские рабочие, как Виктор Обнорский, Сергей Виноградов, Алексей Лавров, Михаил Орлов, Дмитрий Смирнов, Алексей Козлов, Карл Иванайнен, Степан Митрофанов, Игнатий Бачин, Алексей Графов, Алексей Петерсон и др. Из какой-то пожертвованной библиотеки приблизительно в начале этого же года при содействии Купреянова составлена была и поступила в распоряжение рабочего кружка библиотека, пополняемая затем новыми изданиями. Книги вроде Лассаля, Флеровского, Милля, Чернышевского, Дрэпера и других свободно читались этими рабочими и были в большом ходу. Вслед за тем из взносов рабочих была образована и специальная библиотечная касса, на средства которой и производились пополнения библиотеки.

Для этой группы рабочих налажены были правильные занятия повышенного типа в виде лекций по истории, западноевропейскому рабочему движению и общественно-политическим вопросам. В качестве лекторов здесь выступали Кравчинский, Кропоткин, Клеменц, Корнилова и другие. Непосредственной задачей чайковцев в своих сношениях с рабочими, как с фабричными, так и заводскими, была, с одной стороны, массовая пропаганда, где это оказывалось возможным, а с другой — выделение из рабочей среды отдельных личностей, достаточно подготовленных, и

составление из них самостоятельных кружков, которые и вели бы независимо от нас пропаганду и организацию среди рабочих, а фабричные, не потерявшие еще связи с деревней, кроме того, — и среди крестьянства. Означенные функции в известной степени уже и выполнялись этим кружком: члены его путем личного воздействия и при помощи литературы делали это на своих заводах и самостоятельно вводили новых рабочих в состав своего кружка.

Позднее, приблизительно в конце 1872 г., когда состав кружка заводских рабочих значительно возрос, среди них явилось стремление приблизить работу к местам и образовать при них самостоятельные центры пропаганды. Первыми приводят в исполнение эту мысль василеостровцы — рабочие Патронного завода, с которыми затем по преимуществу и имеет дело Чайковский. К лету 1873 г. за василеостровцами последовали и рабочие из-за Невской заставы, где в это время, проживая в Клочках, вели пропаганду среди заводских рабочих Кравчинский и Клеменц. Кравчинский уже в августе покидает Клочки, чтобы пуститься в свой первый поход в народ. За ним выехал и Клеменц.

Таким образом, теперь у заводских рабочих вместо одного центра получилось уже целых три, с библиотеками при них и библиотечными кассами. Для двух новых библиотек были выделены и перевезены на места книги из библиотеки на Астраханской улице. Оба этих новых центра пропаганды сыграли немалую роль, в особенности василеостровский, просуществовавший до своего разгрома в марте 1874 г.

Говоря о заводских рабочих, нельзя не сказать несколько слов и о студенте-медике Низовкине, все время непосредственно соприкасавшемся с ними и принимавшем ближайшее участие в их делах.

Низовкин, несомненно, был не дурак, с организаторскими способностями, но без твердых нравственных устоев, болезненно самолюбивый и с большим честолюбием. Он сумел добиться доверия и расположения к себе рабочих, для чего, не брезгуя ничем, прибегал даже к разговорам на грубо клубничные темы. Своей ролью в рабочем кружке он, видимо, не удовлетворялся, ему сильно хотелось войти в кружок чайковцев. Но, получив решительный отказ, Низовкин

обозлился и повел среди рабочих кружка подпольную агитацию против чайковцев, не стесняясь средствами. Агитация эта не была безрезультатна и немало содействовала некоторой порче отношений между рабочими и чайковцами. Позднее, когда в марте 1874 г. начался второй разгром рабочих организаций чайковцев, Низовкин, арестованный вместе с другими, спасая свою шкуру, быстро капитулировал и выдал решительно все, что было ему известно. Предательство Низовкина, можно сказать, было беспримерно, надоел он в конце концов даже и следственной власти, не знавшей, как отделаться от целого потока его донесений, следовавших одно за другим. И только тут рабочие, державшиеся в большинстве случаев бодро и с достоинством, как следует оценили Низовкина и решительно отвернулись от него. Сталкиваясь по рабочим делам с очень многими из чайковцев и кое-что зная и о других делах их, Низовкин и явился одним из главных осведомителей следственной власти не только в отношении своих товарищей по работе, но до известной степени и всего кружка чайковцев в целом. Показания Низовкина, хотя и не всегда соответствующие действительности, все же дали возможность следственной власти из массы подсудимых (193-х) выделить, не без грубых ошибок конечно, в особую группу чайковцев численностью почти в 30 человек.

Уже в это время среди идейной интеллигентской публики под напором стремления к возможно полному слиянию с народом в интересах создания лучших условий для пропаганды делались первые шаги к переходу из интеллигентского состояния в положение простого рабочего. Так, Шлейснер, брат жены Натансона, а затем Д. Рогачев, бывший артиллерийский офицер, оба близко стоявшие к кружку чайковцев, одними из первых поступили простыми рабочими на заводы за Невской заставой. Оба были люди крепкого сложения и выносливые, а последний — настоящий богатырь, веселый и добродушный, а потому в новом своем положении они легко освоились и обжились.

Таким образом, к концу 1872 г. рабочее дело для чайковцев становится фактически важнейшим делом, им увлекаются, на нем сосредоточивается преимущественно их внимание. В составе кружка уже в это время

почти не было никого, кто бы в той или иной степени не принимал активного участия в этом новом для него деле. Но все это делалось пока без специальной санкции кружка в целом, а как-то само собою, благодаря естественному уклону настроений именно в эту сторону. Откладывать дальше обсуждение назревшего вопроса становилось уже невозможным. Нужно было, наконец, санкционировать это дело и отвести ему определенное место в деятельности кружка, практически и без того уже занявшего в нем одно из самых видных мест.

VI

Общее собрание членов кружка, на котором рабочее дело получает окончательную санкцию. Новые планы кружка в связи с новыми задачами: выявление легальной, доступной для народа литературы, создание нелегальной и осведомление отделений кружка о новом направлении его деятельности. Моя поездка по отделениям по поручению кружка с осведомительными целями и для установления полной согласованности в задачах работы. Москва, Орел, Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Воронеж. Опять в Петербурге. Смерть В. И. Корниловой. Настроение молодежи. Тяга в народ. Журнал «Вперед». Покупка типографии



В январе 1873 г. было созвано, наконец, общее собрание членов кружка, на котором по приведении в известность уже сделанного в рабочей среде это новое дело без возражений не только санкционируется, но ему отводится в задачах кружка самое почетное место. Прежние же задачи кружка, как книжное дело, пропагандистская и организационная деятельность среди интеллигенции и учащейся молодежи, не отбрасываются, а видоизменяются, в особенности же видоизменяется работа с молодежью, которая отныне должна призываться к непосредственной работе среди народа. Таким образом, лишь через год после памятного собрания у профессора Таганцева кружок чайковцев и принципиально, и фактически становится на точку зрения решений этого собрания.

В связи с новым направлением деятельности кружка само собой возникли и новые задачи. Прежде всего нужно было осведомить наши филиальные отделения в других городах о коренном изменении деятельности кружка и вместе с тем постараться путем личного воздействия и переговоров изменить в желательном направлении деятельность этих отделений. Миссию эту собрание возложило на меня.

Другим не менее важным вопросом, вытекающим из решения упомянутого собрания, был вопрос о народной литературе, необходимой при работе среди народных масс. В то далекое время чего-либо подходящего в легальной литературе почти не было, а если что и было, то было раскидано по разным повременным изданиям, малодоступным для пользования. Нелегальной же литературы для народа и совсем не было. Поэтому пропагандисту в рабочей и крестьянской среде приходилось приступать к своему делу почти с пустыми руками, что, естественно, сильно тормозило его работу, лишая его возможности пользоваться таким важным вспомогательным средством, как хорошая и доступная для понимания книга. Поэтому сам собой возникал вопрос о выявлении в первую голову уже имеющегося, но раскиданного по разным изданиям подходящего материала и издании такового, если он того заслуживал, а затем и о создании такой литературы, в особенности нелегального характера. В этих целях и было приступлено к ознакомлению с имеющимся материалом, а затем и к переговорам с авторами о разрешении издания наиболее ценного из него. Переговоры эти велись Чайковским и другими членами кружка; помню, и мне пришлось по этому поводу посетить Майкова и Михайлова-Шеллера и вести с ними соответствующие разговоры, но не могу припомнить, о каких произведениях шла у меня с ними речь. Обследование это и переговоры с авторами не много что дали, но все же кое-какие результаты были. Так, едва ли не первым изданием кружка в этой области было издание талантливого и пользовавшегося большим успехом среди рабочих рассказа Цебриковой «Дедушка Егор» *.

Но отдельное издание даже таких сравнительно невинных произведений было сопряжено с великими трудностями благодаря цензурным препятствиям. На

петербургскую цензуру рассчитывать было трудно, а потому рассказ был отправлен в Киев на разрешение тамошней, более милостивой цензуры, где он и был издан. Уже этот опыт с легальным изданием книжек для народного чтения наглядно показал, что дело это благодаря внешним препятствиям сколько-нибудь успешно двинуть будет нельзя. Приходилось поэтому главным образом надежды возлагать на нелегальную литературу, которой еще не было и которую нужно было создать, для чего и призывались члены кружка, обладавшие тем или другим литературным дарованием.

В начале февраля, исполняя поручение кружка, я начал собираться к объезду по отделениям. Предстояло совершить довольно большое путешествие в направлении к югу России, увидеть неведомые мне края и перезнакомиться со многими новыми людьми. Все это занимало меня, но еще много больше интересовала сама миссия, которой я не мог не придавать большого значения и успешность выполнения которой в значительной степени должна была зависеть от меня самого. Встречу ли я сочувствие новому направлению деятельности кружка, будет ли оно приемлемо для отделений и, наконец, сумею ли я в случае неподготовленности почвы побудить их сделать соответствующий уклон в своей деятельности? Все эти вопросы не могли не волновать меня, хотя в то же время у меня была уверенность в успехе дела, так как и идеологические основания у нас были одинаковы, и более чем годовой опыт нашей работы в этом направлении давал красноречивые и убедительные факты, доказывавшие необходимость и своевременность такого уклона.

Около половины февраля, заручившись адресами и паспортом купеческого сына П. А. Шуравина, моего гимназического товарища, а теперь студента Медицинской академии, я выехал в Москву. Такая предосторожность была не лишней, так как за полтора года жизни в Петербурге свой паспорт я уже не мог считать вполне чистым, паспорт же Шуравина был совершенно свободен от этого недостатка.

В Москве я не раз бывал и прежде, приходилось наезжать туда и по делам кружка, кажется, все больше по денежным, а потому многие из членов мос-

ковского отделения мне были уже знакомы. Клячко, игравший видную роль в московском кружке, в то время уже выбыл. Из-за какой-то романтической и не особенно красивой истории он должен был покинуть Москву и выехать за границу — в Германию. Но там были еще Н. А. Армфельд, Цакни, Аносов, Алексеева, Т. Лебедева, Лев Тихомиров и др. Примыкали ли уже тогда к кружку Фроленко и Николай Морозов, я не знаю, но их, насколько припоминаю, я не видел. Льва же Тихомирова, студента Московского университета, я видел впервые и только теперь познакомился с ним. Видимо, он недавно вошел в состав кружка, но уже пользовался заметным влиянием в нем. Это был молодой человек небольшого роста, умный, спокойный и рассудительный, чуждый громких фраз и какого-либо позерства и в то же время, несомненно, настолько убежденный, что на него можно было положиться. Качества эти невольно привлекали, и я, в бытность мою в Москве, ежедневно бывал у него и едва ли не больше всего беседовал с ним. Кажется, в той же квартире, где жил Тихомиров, жили и долгушинцы Папин и Плотников, собиравшиеся тогда начинать свою революционную работу в деревне. Оба они были жизнерадостные, энергичные и симпатичные люди с тою лишь разницей, что Папин был краснощекий, русского типа молодец, богатырски сложенный, напоминавший внешним своим видом Рогачева, а Плотников — худой и бледный, не отличавшийся хорошим здоровьем человек.

Московский кружок того времени еще не успел развернуть свою деятельность в том размере и с тою интенсивностью, как это было у его петербургского собрата, хотя условия для работы были почти однородные с петербургскими *. Первопрестольная столица того времени была также интеллектуальным центром, имела не одно высшее учебное заведение и не менее развитую фабрично-заводскую промышленность, чем Петербург. Но, несмотря на это, в области конспиративной деятельности здесь еще почти все внимание фактически сосредоточивалось на интеллигентских кружках и, в частности, на учащейся молодежи, о работе же среди рабочих, не говоря уже о крестьянстве, лишь шли разговоры. Правда, и здесь новую позицию

петербургского кружка вполне одобряли, сочувствовали ей и не выставляли против нее ни одного принципиального возражения. Готовность была полная, но все дело было лишь в том, как начать и где зацепиться. На эти темы больше всего приходилось беседовать с Тихомировым и Аносовым, горячо относившимся к новому направлению деятельности. Кажется, этому последнему вскоре же и удалось завязать соответствующие связи с фабричными рабочими и, таким образом, положить начало фактическому переходу к деятельности в этой новой для них области.

В Москве я зажился и пробыл долее, чем рассчитывал. Из моего более близкого знакомства с членами московского кружка я вынес впечатление, что несмотря на то что все они были безусловно отличные люди, искренние и преданные делу народа, им недоставало чего-то важного и необходимого: не было спаянности и инициативности, присущих петербургскому кружку, благодаря чему в московском отделении было мало жизни и воодушевления. Объяснялось это в значительной степени, может быть, тем, что состав московского кружка гораздо чаще обновлялся, там меньше было деловой преемственности и почти не было лиц с прочно установившейся революционной репутацией и с необходимыми для дела организаторскими талантами. Из более старых членов кружка там была едва ли не одна Н. А. Армфельд, генеральская дочка, умная, образованная и остроумная, но она руководящей и объединяющей роли играть не могла. Другой не менее важной причиной указанного выше недостатка было, возможно, и то, что москвичи еще не прикоснулись к народным массам и не получили от них того животворящего импульса, благодаря которому так оживилась деятельность петербургского кружка. И лишь через год, когда идея сближения с народом сделалась господствующей и повелительной, когда в Москву, между прочим, перебрались Клеменц, Кравчинский, Кропоткин и Шишко и стали съезжаться с разных концов России молодые люди, чтобы отсюда двинуться в народ, одни — с целью ознакомления и сближения с ним, другие же — с верою в готовность его к открытому выступлению, подпольная Москва представляла собою совсем другую картину: она кипела и жила интенсивною жизнью *.

Из Москвы я направился в Тулу, где должен был видеться с Николаем Федоровичем Цвиленевым, оканчивающим в этом году курс Тульской гимназии и игравшим видную роль в кружках местной учащейся молодежи. С этим симпатичным и умным юношей я пробеседовал целый вечер, познакомил его с тем, что делается в столицах, и в общих чертах с новым направлением кружка. В свою очередь и Цвиленев ознакомил меня с положением дел в тульских кружках учащейся молодежи. Тула того времени уже была значительным промышленным центром, в ней кроме большого оружейного завода были и другие промышленные заведения, а стало быть, имелся и значительный контингент рабочих. Тем самым она представляла большой интерес. Но к сожалению, здесь имелась лишь группа учащейся молодежи, не развязавшейся еще со средней школой, почему и надежда на сколько-нибудь серьезную работу среди тульских рабочих в ближайшем будущем была не особенно велика.

Следующим пунктом был Орел, куда мне дан был адрес Александра Капитоновича Маликова, у которого я и остановился. Орел того времени был обыкновенным провинциальным городком, хотя и довольно значительным, но лишенным промышленного значения. Даже железная дорога с ее мастерскими проходила верстах в пяти от города. Но на Орел я и не возлагал особенных надежд. Сам Маликов, имевший уже политическое прошлое, привлекавшийся по Каракозовскому делу и живший в Орле в качестве административно высланного, был человеком уже не первой молодости, лет 33—35. В высокой степени симпатичный, умный и образованный, умевший убедительно говорить, он, без сомнения, должен был производить большое впечатление на ту учащуюся молодежь, с которой ему приходилось иметь дело. В то время Маликов, по-видимому, еще не был увлечен идеей богочеловечества и далек был от приятия толстовского непротивления злу, по крайней мере в беседах со мною он никакого признака чего-либо подобного не обнаруживал.

Коллегой его по работе в том же направлении и тоже среди учащейся молодежи был Оболенский, около которого группировался большой кружок учащихся

в средних учебных заведениях. Оболенский тоже был человеком уже не первой молодости, живой и подвижный и, видимо, увлекавшийся своим делом. В Орле в это же время проживал в качестве поднадзорного еще третий интересный человек с большим политическим прошлым, побывавший уже на каторге, а именно П. Г. Заичневский, с которым мне, к сожалению, не пришлось увидеться. Будучи по своим убеждениям якобинцем, он, по-видимому, мало имел общего с Маликовым и Оболенским и вел в сношениях с молодежью свою собственную и особую линию. В 80-х годах Заичневский снова был выслан в Сибирь и жил в Иркутске до вторичного его возвращения в Россию.

Местные условия жизни Орла, лишенного промышленного значения, мало благоприятствовали для постановки рабочего дела, а потому, а также и ввиду ограниченности сил мне не пришлось убеждать и настаивать на необходимости положить начало этому новому делу, против которого принципиально никто не возражал.

Пробыв в Орле два или три дня, я выехал в Киев. Большой уже и тогда и живописный город, с большим историческим прошлым, окаймленный чудной рекой, Киев своим внешним видом производил чарующее впечатление. К тому же в конце февраля здесь была уже весна и признаков зимы не оставалось и следа. В Киеве мне даны были адреса двух лиц, уже давно состоявших в тесном деловом общении с петербургским кружком, — Рашевского и Эмме, оканчивавших уже курс медицинского факультета. Лопатина же, члена петербургского кружка чайковцев, перебравшегося из Петербурга в Киев, чтобы окончить свое медицинское образование, на что он, оставаясь в Петербурге как поднадзорный, не рассчитывал, я уже не застал. Окончив киевский медицинский факультет, он, по-видимому, от политической жизни отошел, перебрался сначала на Северный Кавказ военным врачом, а затем и в Закавказье, где в 1906 г. уже в генеральских чинах умер, завещав Вятскому губернскому земству на нужды народного образования половину своего состояния, выразившуюся в сумме 15 000 руб. [17]

---

[17] Вторая половина наследства предназначалась двум братьям и сестре, а выполнителем воли покойного назначался брат Ни-

В Киеве я остановился у Эмме, но он и Рашевский заняты были подготовкой к предстоящим экзаменам, а потому мне пришлось иметь дело главным образом с молодой компанией в лице Аксельрода, братьев Левенталь, Лурье, сестрами Каминер и другими, состоявшими также в киевском отделении кружка чайковцев. Компания этих молодых людей, где старшим и наиболее влиятельным был Аксельрод (лет 23—24), была живая и симпатичная. Все они были тогда народниками, и лишь в 80-х годах Аксельрод, эмигрировавший в 1874 г. за границу, становится на социал-демократическую позицию*.

В то время Киев, хотя и большой город, имевший до 75 тыс. жителей, промышленным городом еще не был. Поэтому, несмотря на все сочувствие новым задачам в деятельности петербургского кружка, проведение их в жизнь в Киеве было затруднительно. Строя в этих целях разные планы, я помню, на первых порах за неимением другого подходящего материала остановились на одной довольно многолюдной плотничьей артели, состоявшей из жителей деревни, с руководителем которой познакомили и меня. Связавшись затем и с другими артелями, весь состав кружка повел деятельную пропаганду среди артельщиков.

Кроме рабочего вопроса занимал меня и другой вопрос: предстоял в ближайшем будущем усиленный ввоз в Россию заграничной литературы, а путей, кроме северной границы, для этого пока не было. Сравнительная же близость Киева к границе дала мне повод завести разговор об установлении и другого пути. Предложение было встречено сочувственно, и за организацию этого дела взялся Лурье, который этим же летом с этою целью и ездил за границу.

Общественная жизнь в городе была слаба. Разноплеменное население его, состоявшее из великороссов,

---

колая Константиновича — Александр Константинович Лопатин, которому и выданы были наследственные капиталы и имущество. Но так как завещание подписано было лишь одним завещателем и юридической силы не имело, то Александр Константинович воспользовался этим обстоятельством и не пожелал выделить назначенную часть Вятскому земству, которое, несмотря на возникшую по этому поводу переписку, так ничего и не получило из лопатинского наследства.

малороссов, поляков и евреев, каждое жило своими интересами, что непосредственно отражалось и на университетской молодежи.

В то время из подпольных организаций общерусского значения кроме чайковцев в Киеве имелась еще так называемая киевская коммуна, получившая широкую известность благодаря тем легендарным слухам, которые повсеместно сплетались около нее *. Мне хотелось познакомиться с обитателями этой коммуны, и я, кажется, с Аксельродом отправился туда, но, к сожалению, кроме голых стен, никого в ней не нашел. Так знакомство это и не состоялось. Из публики, не входившей в состав кружка, но близко стоявшей к нему, я помню особенно некоего Трахтмана, большого и умного диалектика и поклонника Лассаля, с которым мне пришлось вести во время наших прогулок длительные беседы. Что с ним сталось потом, я не знаю, но облик этого, несомненно, даровитого человека, напоминавшего и своим внешним видом, манерою держаться и свойствами своего ума самого Лассаля, врезался в мою память. Помню, я очень жалел, что он уклонился в то время от вступления в состав кружка.

Пребывание мое в Киеве несколько затянулось, и мне пора было двигаться дальше. Ближайшим же пунктом в моем маршруте была Одесса, куда я и направился.

Этот южный кусок железнодорожного пути от Киева до Одессы пролегал по малонаселенной степной местности, столь отличной от природы Севера. И спутники мои в дороге по третьему классу были уже не те, что на Севере: малороссы с их мягким и певучим говором, евреи и затем уже только великороссы. Эта разноязычная толпа много и охотно говорила с южной экспансивностью. В воздухе стоял непрерывный гомон, а вместе с тем он пропитан был острым запахом чеснока, который я с трудом переносил.

Красавица Одесса имела облик вполне европейского города, но страшно пыльного какою-то мелкой известковой пылью, от которой не знаешь куда деваться. Этот южный приморский город с населением, доходившим до 200 тыс. жителей, по-американски быстро рос и развивался и был центром торгово-промышленной деятельности всего юга России. Ведя обширную хлебную

и иную торговлю с заграницей, он, естественно, привлекал в свои гавани многочисленные иностранные суда разных национальностей, которыми всегда был переполнен Одесский порт. Жизнь кипела, а панорама, открывающаяся с высокого городского берега на порт и на безбрежное море, была захватывающая. Впечатление от города портили лишь несносная пыль и скудная растительность, не находящая себе надлежащей пищи в известковой почве.

Остановившись в номерах, я тотчас же отправился отыскивать Ф. В. Волховского, с которым уже был знаком по Петербургу. В это время он уже служил в Одесской городской думе, был близок к одесскому либеральному городскому голове Новосельскому, который его очень ценил, и имел большие связи в либеральных кругах. Жил он в небольшой квартирке вместе со своей женой Марией Осиповной, бывшей Антоновой, игравшей видную роль в московских студенческих делах и так же, как и сам Волховский, привлекавшейся по Нечаевскому делу. Она была больна и не могла показаться, был болен и сам Волховский — результат длительного заключения их обоих по Нечаевскому делу. Но Волховский, несмотря на свое слабое здоровье, был необыкновенно живуч. Кажется, вот-вот человек рассыплется, а затем глядишь — он снова бодр, деятелен и мило остроумен. Имея за плечами всего 30 лет жизни, он был уже сед и имел немалое политическое прошлое. В 1868 г., будучи студентом Московского университета, Волховский за участие в покупке дешевых книг для распространения среди народных масс арестуется и содержится в заключении без предъявления какого-либо обвинения целых 7 месяцев. В 1869 г., когда он служил в московском книжном магазине Черкесова, он после обыска снова арестуется по Нечаевскому делу и содержится до суда в заключении свыше двух лет, сначала в московских тюрьмах, а затем в Петропавловской крепости, где и теряет свое здоровье. Волховский был далеко не заурядным и не шаблонным человеком. В высокой степени симпатичный, мягкий и доступный, с большой эрудицией и организаторскими способностями, прекрасно владеющий пером и словом и в то же время всегда деятельный и искренне преданный делу народа, он не мог не иметь влияния на лиц, с которыми соприкасался. И действительно, в

Одессе благодаря главным образом Волховскому имелся один из самых многолюдных и организованных нелегальных кружков, не только деятельно работавший среди интеллигентских кругов, но и среди рабочих. Одесский кружок по серьезности и деловитости всего больше напоминал мне петербургский, и из его состава в ближайшие же годы вышло немало лиц, зарекомендовавших себя на революционном поприще. Тут кроме самого Волховского и его жены были в числе других С. Л. Чудновский, Желтоновский, Ланганс, Андрей Франжоли, Костюрин, Дическуло и Желябов, вошедший в состав кружка в том же году, но несколько позднее *.

Я подробно ознакомил Волховского с тем, что делается в петербургском и других кружках, с которыми я успел ознакомиться за время моей поездки, с фактической переменой нашего фронта и с мотивами, вызвавшими эту перемену, а также и с задачами, которые имела моя поездка. Но убеждать Волховского и его товарищей в чем-либо мне не пришлось. Они уже не только идеологически, но и фактически стояли на той же точке зрения, что и мы в Петербурге, и уже деятельно работали как в интеллигентских кругах, так и в рабочих. Этому последнему обстоятельству в значительной степени помогало наличие довольно развитой в Одессе фабрично-заводской промышленности, а также многочисленных рабочих артелей различных специальностей. В свою очередь и Волховский познакомил меня с тем, что сделано и делается у них в Одессе, а в один из последующих дней состоялось общее собрание членов кружка, на котором присутствовал и я. Собрание человек в 90, на котором были и рабочие, произвело на меня своею деловитостью самое благоприятное впечатление. Сообщения же мои о работе в других местах, которыми я мог поделиться, видимо, значительно подняли дух и настроение от сознания, что они не одни, что в том же направлении идет оживленная работа, если не повсеместно, то во многих пунктах.

Прожил я в Одессе несколько дней, которые почти все целиком ушли на более близкое ознакомление с членами кружка и разные деловые разговоры. Между прочим, в это время становился злободневным вопрос о заграничном органе «Вперед», который собирался

издавать П. Л. Лавров. Выхода журнала все ждали с большим нетерпением. Петербургские чайковцы, давно мечтавшие о заграничном органе, связывались с ним и принимали участие в обсуждении программы журнала, причем первая его земско-конституционная программа, появившаяся в литографированном виде в России в начале 1873 г., не встретила одобрения. Расчеты на земский элемент и вообще на буржуазные классы в борьбе за освобождение в это время уже окончательно миновали, и вера в них была утрачена. Идеологически на сцену повелительно выступали народные массы, а первые удачные опыты работы среди рабочих лишь подогревали эту веру. И теперь все живые и революционно настроенные силы молодой России в этом большом деле могли базироваться лишь на этих массах. В соответствии с таким направлением мысли требовалось и изменение программы журнала, каковое и было сделано.

Естественно, что с изданием журнала возникал вопрос и о его транспортировке. Близость Одессы к границе, связь с которой без особенного труда возможно было установить, делала ее в этом смысле весьма важным пунктом для доставки из-за границы нелегальной литературы если не для всей России, то по крайней мере для юга России. И действительно, уже к концу лета этого же года члену одесского кружка Чудновскому, проживавшему эту зиму в Вене, где он слушал лекции на медицинском факультете, при посредстве его львовских друзей удалось наладить это транспортное дело.

Покончив все дела в Одессе, я направился дальше — в Херсон, где, по рассказам одесситов, имелся живой и довольно многолюдный кружок молодежи, руководимый Андреем Афанасьевичем Франжоли, адрес которого я и получил. Путь предстоял морем, по которому мне еще никогда не приходилось плавать. Запасшись по совету друзей лимоном на случай морской болезни, я, взяв билет третьего класса, двинулся в путь. Море было довольно спокойно, качка была невелика и не отражалась на мне, хотя кое-кто из пассажиров и не мог ее выносить. Все время пути, пока мы плыли по открытому морю, я не сходил с палубы, любуясь захватывающей картиной безбрежности спокойно и мирно рокочущего моря.

Но вот мы уже в гирле Днепра, которое так же безбрежно, как и море. Но по мере продвижения вверх по реке начинают попадаться отдельные островки — местопребывание прежней Запорожской Сечи, прославившейся своими былыми подвигами, воспетыми малорусскими бардами. Я вглядываюсь в эти плоские оазисы земли, расположенные на широком водном просторе, пытаясь найти какие-нибудь следы прошлой кипучей жизни, но тщетно: там все тихо и пустынно, все вымерло, и ничто не напоминало об этом прошлом. Невольно какое-то грустное чувство закрадывается в душу от этого резкого контраста между прошлым и настоящим. Но долго это чувство не держит меня в своей власти. Близость цели путешествия уже дает себя знать. Показываются наконец берега многоводной исторической реки, а еще дальше — и сам Херсон, где мне предстоит высадиться.

Город Херсон того времени — сравнительно небольшой, обычного типа губернский городок, расположенный на берегу Днепра, на песчаной местности, а потому и изрядно пыльный. По указанному адресу я без труда отыскал А. Франжоли, местного уроженца, проживавшего теперь в Херсоне в качестве ссыльного, высланного на родину из Петербурга за студенческие беспорядки в 1872 г., где он с 1871 г. состоял студентом Технологического института. Небольшого роста, умный, необыкновенно живой и сердечный, он с первой же встречи расположил к себе. Ближайшее же знакомство с ним лишь подтвердило мои первые впечатления, полученные от этой в полном смысле слова обаятельной личности, преданной до самозабвения делу народа, как показала и вся его дальнейшая сравнительно недолгая жизнь*. Он умер в 1883 г. в Женеве, куда ему удалось приехать уже совершенно больным после бурной десятилетней революционной жизни в России, сопряженной, как обычно, с высылками, тюремным заключением, побегами и судом. Дерзкий прыжок его из уборной вагона на полном ходу поезда, когда его везли с юга на предстоящий «процесс 193-х», губительно сказался на его здоровье и привел его к преждевременной могиле.

Франжоли познакомил меня со своими товарищами по кружку, в составе которого в то время был, между прочим, Александр Осипович Лукашевич, еще совсем

молодой человек, последующая судьба которого также богата проявлениями революционной деятельности: и хождение в народ с чайковцами в 1874 г., описанное потом им самим, и работа на московских фабриках совместно с кружком кавказцев, а затем два суда («процесс 50-ти» и «193-х»), и ссылка в Восточную Сибирь на поселение, где он за укрывательство бежавших из Иркутской тюрьмы политических арестантов, пересылавшихся на Кару, — Березнюка, Волошенко и Попко — снова судится и приговаривается к 7 годам каторжных работ. Здесь на Каре и была моя последняя встреча с Лукашевичем: я уже отсиживал последние месяцы своего каторжанского срока, а он в 1881 г. только еще начинал его отбывать. Предыдущая его жизнь, полная превратностей и испытаний, мало сказалась на нем: он по-прежнему был бодр, здоров и деятелен.

Не могу не остановиться, хотя бегло, еще на одном херсонце, деятельном и влиятельном члене херсонского кружка, Мартыне Рудольфовиче Лангансе, тоже учившемся в Херсонской гимназии, а затем поступившем в петербургский Технологический институт, откуда он по слабости своего здоровья должен был возвратиться к себе на родину в Херсон. Он много читал, хорошо был знаком с социалистической литературой и, как чуткий и отзывчивый человек, не мог не питать влечения ко всем обиженным судьбой и угнетенным. Перебравшись затем о Одессу, он и здесь становится одним из видных и влиятельных членов кружка Волховского, ведет энергичную пропаганду среди рабочих. Когда волна движения в народ прокатилась по всей России, она увлекла и его. Ланганс в качестве простого рабочего работает и ведет пропаганду сначала в Черниговской губернии, затем в Екатеринославской и Херсонской и, само собой, в конечном итоге арестовывается и больше трех лет сидит в тюрьме, ожидая «процесса 193-х», по которому оправдывается. Затем снова семимесячное заключение, высылка в Пруссию как иностранного подданного и нелегальное возвращение в Россию, где он так же, как и Франжоли, примыкает к «Народной воле». В 1881 г. он снова арестовывается в Киеве, а в 1882 г. становится участником «процесса 20-ти», по которому присуждается к бессрочной каторге. Заключенный в Алексеевский раве-

лин, Ланганс, уже с сильно подорванным здоровьем, не выдерживает этой новой пытки и в 1884 г. погибает от чахотки*.

Молодая компания херсонцев, к которой примыкали и другие лица, указать которых с точностью я не могу, состояла в постоянных и близких сношениях с одесским кружком и вела деятельную работу среди местной учащейся молодежи, не забывая и рабочую среду, насколько это позволяло отсутствие в городе крупной промышленности. О том, что связи эти были не только с херсонскими рабочими, но, полагаю, и с рабочими близлежащего к Херсону города Николаева, где находились военно-морские верфи и крупные мастерские, свидетельствует и то, что туда меня возили, чтобы познакомиться с тамошними работниками. Но поездка эта не была удачной: мы не нашли, кого было нужно, а потому пришлось ограничиться лишь внешним осмотром города и некоторых общественных учреждений и снова вернуться в Херсон.

В Херсоне, как и в Одессе, тоже ознакомив друг друга в достаточной степени с положением дела, мне делать больше было нечего. Ни убеждать, ни склонять к чему-то для них новому мне не приходилось, так как идеология и практика, насколько это позволяли местные условия, были у херсонской публики аналогичны с нашей.

Распростившись со своими новыми друзьями, оставившими самое лучшее впечатление, я тем же путем, сначала вниз по Днепру, а затем морем, выехал снова в Одессу, чтобы оттуда после кратковременного свидания кое с кем из одесситов направиться в Харьков. Маршрут этот был предусмотрен еще в Питере.

С Харькова, куда я наконец приехал, начались мои неудачи и маленькие злоключения. В моем распоряжении были лишь две фамилии, но без их адресов. Это — Синегуб, кузен нашего петербургского Синегуба, и Лизогуб. Я должен был разыскать их и через них связаться с харьковским кружком, в состав которого они входили. Остановившись в каких-то захудалых номерах, я тотчас же принялся за поиски этих лиц, но никаких сведений ни от кого, к кому я ни обращался, получить не мог; направился в университет, но и там те же результаты. Настроение благодаря моим незадачам было неважное, к тому же и погода стояла чисто

осенняя, а в кармане — совершенная пустота. Даже заплатить за номер было нечем, не говоря уже о покупке билета на дальнейший проезд. При таких обстоятельствах оставаться в большом и совершенно незнакомом мне городе без гроша денег, чтобы продолжать свои розыски, было рискованно, и я решил бежать. У меня были старинные серебряные часы — подарок дяди, которые я решил продать или заложить. Сделка состоялась, проезд до Москвы был обеспечен, но заплатить за номер все же было нечем, нечего было и продать больше. Что было делать и как быть? Раздумывать долго было нельзя. И вот поздним вечером, захватив с собой свой маленький саквояж с бельем, я покинул номера, не рассчитавшись с хозяином.

Так постыдно закончился для меня мой деловой визит в одну из столиц юга России, которая, кстати сказать, своим внешним видом мне не понравилась. Приходилось поскорее пробираться в Москву, так как без денег никакое дальнейшее уклонение с прямого пути было уже невозможно. Но по дороге в Москву я решил еще заехать в Воронеж, где в это время проживали супруги Ефименко, свидание с которыми входило в план моей поездки.

Сам Ефименко был в архангельской ссылке, где женился, и после ссылки поселился в Воронеже и занимал там вместе с женой маленькую и очень скромную квартирку, которая вся была завалена древними актами и рукописями, вывезенными, очевидно, из Архангельской губернии. Оба они были еще молодые, милые и сердечные люди, но, видимо, серьезно увлеченные чисто научной работой по разработке богатого архивного материала, добытого, несомненно, немалым трудом. Они и меня пытались заинтересовать своим драгоценным для них материалом, показывали некоторые наиболее достойные внимания документы, стараясь разъяснить мне их значение. Но жизнь в этом большом губернском городе они вели, по-видимому, довольно уединенную, и основные интересы их были другие, чем те, которые занимали нас. Поэтому, за неимением других адресатов с более подходящим для меня настроением, мне делать было нечего, и я, проведя с симпатичными Ефименко день, выехал в Москву.

В Москве опять остановка. Нужно было поделиться впечатлениями, вынесенными из поездки, и осведомить о том, что делалось и делается в посещенных мною пунктах. Здесь я опять чаще всего бывал у Тихомирова, который при ближайшем знакомстве с ним все больше и больше мне нравился и привлекал к себе. Узнав же, что он не лишен литературных дарований и, кажется, уже кое-что пописывал, я стал убеждать его перебраться в Петербург, где на очереди стояла большая задача — создание народной нелегальной литературы. Настоятельность этой задачи была очевидна и вне всякого спора, а вынесенные мною впечатления от провинции, где повсеместно раздавались жалобы на отсутствие подходящей литературы, нужной при сношениях как с рабочими, так и с крестьянами, только усиливала эту настоятельность. Петербург же для литературной работы был более подходящим пунктом, чем Москва. Как-никак, там был центр революционной деятельности, была налицо наиболее прочно установившаяся и влиятельная организация со значительными и планомерными связями в рабочей среде, и, наконец, там была в составе организации группа лиц, могущих принять участие в разрешении этой назревшей проблемы. Все это говорило за мое предложение, и Тихомиров против доводов моих не возражал.

Здесь же, в Москве, в этот мой приезд я впервые встретился у Тихомирова с артиллерийским офицером, товарищем и другом Кравчинского, Л. Э. Шишко. Выпущенный в 1871 г. из Михайловского артиллерийского училища с чином офицера, он тотчас же подает в отставку и поступает в Технологический институт, где вместе с Кравчинским участвует в кружках саморазвития *. Но и институт его не удовлетворяет. Захваченный господствовавшим тогда течением, он стремится стать ближе к народу и пытается поступить в народные учителя и в то же время жаждет связаться с какой-нибудь нелегальной организацией для работы в народе. Как раз в это время, когда я с ним познакомился, он уже подумывал примкнуть к долгушинцам, собиравшимся начать свою деятельность в народной среде. С ними он часто видался, симпатизировал им. Скромный, даже как будто застенчивый, что, может быть, обусловливалось его небольшим заиканием, с

симпатичным и выразительным лицом, он невольно располагал к себе. Тогда, конечно, нельзя было еще и думать, что в его лице я скоро обрету себе усердного товарища по работе среди петербургских рабочих, верного и преданного друга, с которым придется делить длительное тюремное заключение и карийскую каторгу. Это был чистый, с упорным характером и с пытливым умом человек. Почти потерявший за время сибирской жизни зрение и не имевший возможности продолжать свое саморазвитие самостоятельно, он все же настойчиво продолжал свои занятия при помощи своих друзей. В 1889 г. ему удается бежать из Томска, где он в это время жил, и пробраться за границу, в Париж, где он главным образом отдается литературной работе, служащей продолжением его прежней практической деятельности.

Кажется, в Москве же после наших разговоров о скудости литературы для народа Шишко передал мне свое небольшое произведение «Чтой-то, братцы...», изданное затем кружком чайковцев нелегальным изданием и имевшее успех в рабочих кругах. Связаться с долгушинцами он так и не успел. Вызванный Кравчинским в Петербург вскоре же после наших встреч с ним в Москве, он едет туда, вступает в кружок чайковцев и связывает с ними свою дальнейшую судьбу.

Москва — последний этап на моем возвратном пути, а с ней и конец возложенной на меня миссии. Подводя итоги всему виденному и слышанному почти за полуторамесячный период моего блуждания по градам российским, я возвращался в Петербург не с чувством разочарования, а наоборот. Почти везде, где мне пришлось быть, я находил в большем или меньшем числе чудесных людей, родственных по духу и стремлениям, исполненных веры и готовности отдать себя на дело народа. Основная же задача моей поездки — ознакомление отделений с происшедшим в деятельности петербургского кружка уклоном в сторону непосредственной работы среди народных масс — мною была выполнена, и это новое направление всюду было встречено полным сочувствием и одобрением. Очевидно, вопрос уже сам по себе назрел, и убеждать в целесообразности этого уклона в работе и на местах почти нигде не приходилось. Мало того, течение революционной мысли,

приблизительно общее для всей России, толкало на этот путь, и там, где условия складывались более или менее благоприятно, люди сами, помимо всякого влияния извне, переходили к работе в рабочей среде, собираясь в то же время развернуть ее в ближайшем будущем и в крестьянской. Для всех работа среди рабочего класса, там, где он имелся, была первым этапом, а вторым этапом, много более трудным и доступным, была работа в крестьянстве. Это сознавалось всеми работниками, вступавшими на революционный путь как в столицах, так и в провинции. Эта же однородность идеологии и устремлений в свою очередь поднимала дух и укрепляла веру той горсти людей, которые взялись за необъятное и, казалось бы, совершенно непосильное для них дело.

Я вернулся в Петербург со значительно укрепленной верой и окрыленный надеждою на дружную работу в одном направлении не только в центрах, но и в провинции, где имелись живые люди. Своими впечатлениями, вынесенными из поездки, само собой, я поделился со своими петербургскими товарищами, не без чувства удовлетворения и радости воспринявшими их.

В Петербурге за время моего отсутствия произошли кое-какие в жизни кружка события, частью очень печальные. Так, одна из трех сестер Корниловых, старейших членов кружка чайковцев, а именно старшая из них, Вера Ивановна, неожиданно умерла. Хотя она и болела перед этим, но никто не ждал столь печального исхода болезни. Грустное событие это немало отравило радость свидания. Я мало знал В. И., почти никогда мне не приходилось беседовать с ней, хотя я довольно часто встречался с ней, оставаясь обедать в штаб-квартире кружка в Ротах, хозяйкой которой она состояла. Но она была членом кружка, и этого уже было довольно, чтобы почувствовать скорбь по утрате товарища.

Из других перемен, но не трагического характера, укажу на отъезд Синегуба со своей фиктивной женой, жаждавшего непосредственной работы в крестьянстве, в Тверскую губернию, где он и жена устроились народными учителями в селе Губин-Угол Корчевского уезда. Оставили также работу в доме Байкова и Леонид

Попов, выехавший в Торжок Тверской губернии учительствовать, и Кувшинская ввиду предстоящих экзаменов в Медицинской академии, а вместе с этим разъездом была ликвидирована и сама квартира для собрания рабочих в доме Байкова *.

Кувшинская, выехав из дома Байкова, поселилась на Выборгской же стороне, на Саратовской улице. Нужно было и мне где-нибудь устраиваться. С институтом фактически я уже покончил и, воспользовавшись свободной комнатой в квартире, где жила Кувшинская, переехал туда же, чтобы быть ближе к выборгским рабочим, с которыми я тотчас же по приезде возобновил сношения.

Кружковая работа шла в прежнем направлении, с явным уклоном в сторону рабочего дела, которое неизменно развивалось, тем более что общее настроение, особенно в студенческих кругах, благоприятствовало этому.

Мысль о работе в народе от слов переходила к делу. На студенческих собраниях занимали собравшихся не столько общие вопросы, которые для многих уже были решены, сколько вопросы чисто практического характера. Почти все стремились двинуться в самую гущу народную, но как это сделать, как лучше подойти к этому для многих неведомому народу, в каком виде и положении, чтобы не возбудить его подозрения к себе? По этим животрепещущим вопросам давались разные ответы, но большинство склонялось к более радикальному решению: в народ, чтобы заслужить его доверие и не возбуждать никаких подозрений ни в нем самом, ни в подозрительном начальстве, нужно являться в образе рабочего человека и притом знающего какое-нибудь ремесло, нужное для крестьянина. Уже тогда, весной 1873 г., такое решение было весьма популярно, и мысль об изучении какого-нибудь ремесла становилась повелительной. И вскоре, через каких-нибудь три-четыре месяца, Петербург — да и один ли Петербург? — покрывается организованными мастерскими, где молодежь обучается то сапожному, то столярному или слесарному ремеслам.

Занимали и волновали в это время членов кружка и вопросы иного порядка, стоявшие на очереди и вносившие немало оживления в его жизнь. Вопрос о за-

граничном лавровском органе «Вперед», выход которого уже был не за горами, был вопросом злободневным. Все этот журнал с нетерпением ждали: одни — с полной верой в его руководящее значение, другие — с некоторым сомнением. Но как-никак, фирма была вполне солидная, пользовавшаяся большим престижем и уважением в широких кругах русского общества, а потому и эти сомнения мало влияли на решение связаться с этим органом и быть его деятельными представителями в России по его доставке и распространению.

Другим не менее важным вопросом был вопрос о собственной нелегальной типографии в России, которая давала бы возможность быстро и своевременно откликаться на текущие события. Общественное настроение все нарастало, а молодежь уже в значительных массах своих рвалась к живому делу. В такое время иметь возможность своевременно откликаться на текущие события и по возможности направлять нарастающее движение в одно русло было очень важно. Заграничная же печать полностью этой роли выполнить не могла уже по одному тому, что доступ ее в Россию был значительно затруднен, и попадала она к нам с большим запозданием.

Летом того же 1873 г. мысль о типографии отчасти и была осуществлена. Для закупки типографского станка и других типографских принадлежностей в Вену, где была всемирная промышленная выставка, был командирован М. В. Купреянов. Он не только закупил на выставке, что было нужно, но и благополучно переправил закупленное в разобранном виде под видом технических приспособлений для водолечебницы доктора Веймара, в доме которого они затем и хранились. Но воспользоваться этой типографией кружку чайковцев так и не пришлось, использовали ее уже много позднее. Тому же Купреянову одновременно было поручено побывать в Швейцарии и окончательно договориться и связаться с Лавровым и его журналом «Вперед», что им и было исполнено.

VII

Вступление Шишко в кружок и начало его работы на Выборгской стороне. Уход рабочих Крылова и Абакумова и некоторых других на пропагандистскую работу в деревню. Отъезд туда же Кравчинского и Клеменца в качестве простых рабочих. Мое намерение на лето поехать в Крым. Несколько замечаний по поводу «Воспоминаний о П. Л. Лаврове» Кропоткина, где он говорит о кружке чайковцев



Вскоре по моем возвращении в Петербург к нам на Саратовскую улицу явился Шишко, уже не только как знакомый, а как член нашего кружка, только что принятый в него и откомандированный для работы на Выборгской стороне, где за отъездом многих работников чувствовался в них недостаток. Я и Кувшинская были очень рады этому подкреплению, тем более что Шишко нам обоим очень понравился, и мы скоро сделались с ним большими друзьями. Шишко в первое время лишь присматривался к нашей работе, а затем вскоре же принял в ней и активное участие. В это время из фабричных рабочих, с которыми по преимуществу имелось дело на Выборгской стороне, были уже выделены наиболее подготовленные и искренне преданные делу рабочие, которые обычно и собирались у нас на Саратовской улице. К числу этих рабочих кроме Григория Крылова, Абакумова и Никиты Шабунина, с которыми, как уже сказано было выше, мы прочно связались с одними из первых, следует отнести еще Якова Иванова, затронутого уже пропагандой в 60-х годах, Вильгельма Прейсмана, одного из руководителей стачки на Кренгольмской мануфактуре в 1872 г., Андрея Коробова, Акима Стульцова, Шилова и некоторых других *. Сношения с остальными рабочими попрежнему производились в рабочих артельных помещениях или других квартирах. С первыми уже велись вполне откровенные беседы и более правильные и серьезные занятия, а с последними шла чисто подготовительная работа. В народное восстание в ближайшем будущем, а тем более победоносное, как уже говорилось раньше, мы не верили и не тешили себя

иллюзиями на этот счет. Эту же точку зрения мы старались укрепить в умах рабочих и этим предостеречь их от тех неизбежных разочарований, которые им жизнь преподнесла бы на первых же шагах их практической деятельности при иной точке зрения на вопрос о времени наступления русской революции. Но рабочая публика, уверовавшая в освободительные идеи и горячо отдавшаяся им, всего труднее проникалась мыслью о необходимости столь длинного пути для достижения заветных целей. Они горели нетерпением и плохо мирились с такой длительной процедурой чисто подготовительной работы. Несомненно, недостаток образования и известной широты понимания условий русской жизни в значительной степени способствовал такому настроению, бороться с которым было трудно уж теперь; а что же будет дальше, когда будут охвачены движением более широкие массы, может быть еще менее подготовленные, чем эти первые пионеры рабочего движения?

Естественно, что при таком положении дела кроме общих организационных задач, уже стоящих на очереди, в постановку начатой работы должны были быть внесены какие-то коррективы, поставлены какие-то промежуточные цели, которые могли бы объединять людей в борьбе за их достижение. В городах для рабочего класса эти промежуточные цели легко намечались, на что указывал нам и европейский опыт. Борьба за ближайшее улучшение положения рабочего, за увеличение его заработной платы, за сокращение продолжительности труда и были именно такими целями, которые помимо возможных непосредственных достижений, полезных для рабочего, могли бы в то же время служить могучим средством для массового вовлечения рабочих в борьбу и их объединения. Сталкиваясь в этой борьбе с представителями интересов капитала, рабочие в то же время неизбежно столкнулись бы и с государственной властью, открыто поддерживавшей этот капитал, благодаря чему они уже в массах своих на конкретных примерах учились бы и политической грамоте и постепенно уясняли бы себе, что без побед над этой последней невозможна будет и решительная победа над угнетающим их капиталом. Таким образом, мысль об организации стачечного движения сама собой напрашивалась и намечалась, но встречала и

принципиальные возражения. Впрочем, осуществление ее за неимением достаточно подготовленного материала пока не представлялось возможным.

Много труднее было наметить что-нибудь подобное для деревни, но пока в этом не было и особенной надобности, так как и самой работы в деревне еще почти не было.

Как-никак, а наши лучшие рабочие из крестьян, как, например, Крылов, Абакумов и некоторые другие, рвались к более живому делу, чем то, что им давала фабричная среда. Натуры страстные и глубоко уверовавшие в освободительные идеи, они, видимо, не находили достаточного отклика на их призывы в рабочей среде и в то же время верили, что они гораздо большую отзывчивость найдут в среде крестьянской. Первым из этих рабочих двинулся Крылов. Прельщенный ролью Шовеля, героя «Истории одного крестьянина», Крылов в качестве офени, с коробом за плечами наполненным книжками для народа, отправился странствовать, сначала по ближайшим к Петербургу селениям, а затем перебрался в свою родную Тверскую губернию, где продолжал начатое дело *. Арестованный первоначально в деревне в марте 1874 г., он привлекается к дознанию по делу о пропаганде в империи, но по недостатку улик в конце марта уже освобождается и отдается под надзор полиции. В конце августа этого же года после своих странствований с пропагандистами по России Крылов снова арестуется в Нижнем Новгороде, куда он приехал с письмом из Москвы, и заключается в одну из московских тюрем и летом 1876 г. умирает в тюремной больнице от туберкулеза [18].

Вслед за Крыловым, а может быть, даже и несколько раньше его выехали для пропаганды в деревне Абакумов и Шабунин, от которых незадолго до моего ареста мною получены были их письма с сообщением о своих успехах в крестьянской среде **.

Но тяга в деревню, где в конечном итоге должна была быть наша основная работа, которую пока мы оставляли на ближайшее будущее, все больше и больше начала сказываться не только на рабочих, но и на более экспансивных членах нашего кружка. Сине-

---

[18] См. «Деятели революционного движения в России». Биобиблиографический словарь, т. II, вып. II. М., 1930, стб. 696 (Крылов Григорий Федорович).

губ с женой уже работали там, но, правда, еще в звании народного учителя, а летом этого же 1873 г. Кравчинский, а затем и Клеменц двинулись туда же, но уже в опрощенном виде, в образе простых рабочих*. Это, без сомнения, были одни из первых пионеров движения в народ, сделавшегося вскоре общим лозунгом русской революционной молодежи, реально осуществленным лишь весной и летом 1874 г. Из кружка чайковцев еще ранее уходили на работу среди крестьянства наши женщины — Ободовская и Перовская, которые еще в 1872 г. учительствовали в селе Эдимнове Тверской губернии, а летом того же года Перовская работала на Волге. Будучи правоверной и убежденной народницей, у которой слово никогда не расходилось с делом, Перовская не могла не стремиться в эту, мало ведомую ей, но влекущую ее к себе среду, думаю, даже не столько с целями пропаганды, сколько затем, чтобы познать этот народ, приспособиться к нему и установить с ним добрые отношения, что ей и удавалось. Несмотря на свою молодость (ей было тогда не больше 18 лет), рассудительная не по летам, спокойная и всегда простая и приветливая, она без труда завоевывала симпатии и доверие деревенского люда, с которым приходила в соприкосновение.

Таким образом, летом 1873 г. изрядная часть нашей публики должна была выехать из Петербурга по различным поводам: Кравчинский и Клеменц, чтобы окунуться «в безбрежное народное море» и испробовать и там свои силы, Чайковский — «по епархии», Кропоткин — для продажи своего имения в целях пополнения кружковой кассы, которой предстояли значительные расходы по покупке типографии и других неотложных надобностей, Купреянов — за границу для закупки на Венской всемирной выставке типографского станка и для установления связи с Лавровым и его органом «Вперед».

Я тоже собирался на юг, в Крым, чтобы починить свое расшатанное нервной жизнью здоровье и подзаняться, что почти совсем не удавалось делать в условиях петербургской жизни, а кстати и снова побывать в некоторых из тех пунктов, где я уже был в феврале и марте этого года. Я ждал только письма от Васюкова (впоследствии литератора), моего товарища по институту, который и соблазнил меня Крымом и который

уже выехал туда к своим приятелям, крымским помещикам Зотовым, обещая мне со стороны последних вполне радушный прием и гостеприимство. Несмотря на заверения Васюкова, я все же не решился воспользоваться его приглашением, не получив уведомления, что я не буду лишним и непрошеным гостем. Вскоре это письмо с приглашением было получено, и я в начале июня выехал в Крым.

Этим летом, еще, видимо, до разъезда членов кружка, состоялось кружковое собрание, на котором мне за моим отъездом уже не пришлось быть. Но об этом собрании, как об очень важном и бурном, говорит Кропоткин в своих неоконченных и бегло написанных за несколько недель до его смерти «Воспоминаниях о П. Л. Лаврове», помещенных в сборнике «Памяти П. Л. Лаврова» (стр. 436—439), ошибочно относя это собрание к маю или июню 1872, а не 1873 г. Я позволю себе несколько остановиться на этих «Воспоминаниях» П. А. [Кропоткина].

На этом собрании, по словам Кропоткина, «поднялись горячие споры о том, к которому из предполагавшихся журналов присоединиться» — к бакунистам или лавристам. Прения эти были вызваны, по его словам, тем, что нашему кружку, как «наиболее влиятельному и многочисленному в России», «было сделано предложение присоединиться к журналу лавристов».

«Мы в кружке, — говорит Кропоткин, — давно обсуждали, с которым из двух лагерей вступить в сношения, и, наконец, решили послать в Цюрих своего делегата, чтобы познакомиться с тем и другим течением. Наш делегат должен был повидать как Лаврова, так и «бакунистов» — Росса (Сажина) и Соколова и привести нам обстоятельный отчет об основных положениях и программах обоих лагерей. Делегатом был избран Клеменц, который занимал среднюю позицию между обоими направлениями».

«Это было, — продолжает далее Кропоткин, — в мае или июне 1872 г. У меня еще оставался мой заграничный паспорт, и я его вручил Клеменцу. Но когда наш кружок собрался на следующее наше совещание, то мы узнали, что в Цюрих поехал не Клеменц, а Купреянов, человек определенно умеренного направления. С Бакуниным и бакунистами Купреянов даже не повидался, а прямо заключил договор с Лавровым,

в силу которого журнал Лаврова «Вперед» должен был получаться и распространяться нашим кружком».

Выше я сказал, что собрания кружка чайковцев, о которых говорит Кропоткин в приведенных мною цитатах, ошибочно отнесены им к лету 1872 г., а не к лету 1873 г., как это следовало бы. Дело в том, что летом 1872 г. Купреянов в Цюрих не ездил, договариваться с Лавровым не мог, так как Лаврова там в это время даже и не было, да и не о чем было договариваться, так как журнал «Вперед» был в то время только в проекте и первая программа его, кстати сказать забракованная, появилась в России лишь в начале 1873 г. Поэтому летом 1872 г. никаких «горячих споров» о заграничных журналах и не могло быть *.

Не доверяя своей памяти и тем соображениям, которые привели меня к заключению об ошибочности даты, указанной Кропоткиным, я обратился по этому вопросу за разъяснениями к Александре Ивановне Мороз (бывш. Корниловой) как к единственному, кроме меня, оставшемуся еще в живых и пребывающему в России члену кружка чайковцев; она, в свою очередь наведя справки у В. Н. Фигнер и М. П. Сажина (Росса), ответила мне в письме от 10.IV.25 г. следующее:

«В августе 1872 г., когда в Швейцарии арестовали Нечаева, В. Н. [Фигнер] жила в Цюрихе до окончания семестра, и Лаврова тогда в Цюрихе не было. В это же время я приезжала на неделю в Цюрих из Вены, где кончила курс акушерства, чтобы повидаться с Александровым перед моим возвращением в Россию. *О журнале «Вперед» еще никаких разговоров не было и никаких переговоров не велось.* Наконец, М. П. Сажин сказал мне, что он первый вел переговоры с Лавровым в ноябре 1872 г., следовательно, Купреянов был там в 1873 году».

Вышеприведенный отрывок из воспоминаний Кропоткина возбуждает не меньшее недоумение и по существу вопроса. Читая его, пожалуй, можно подумать, что в кружке кроме Кропоткина была целая группа лиц, анархически настроенная, чем и объясняются те «горячие споры», которые произошли по вопросу об установлении связей с лавровским или бакунинским журналом. На самом же деле этого не могло быть, так как последователей бакунинского течения у нас, кроме

самого Кропоткина, не было. Даже само учение Бакунина в половине 1873 г. и даже позднее нам было мало известно, а насколько оно было известно, в особенности со стороны его бунтарского характера и призыва к немедленному народному восстанию, то оно встречало у нас определенно отрицательное отношение, так как в близкую революцию или народное восстание мы не верили.

Та же Александра Ивановна Мороз, запрошенная мною и по этому вопросу, в том же письме ответила мне:

«Были ли между чайковцами анархисты кроме П. А. {Кропоткина]? Думаю, что нет. Мы называли себя радикалами, считали себя социалистами-революционерами, об анархии имели самое смутное понятие, и многие не успели даже прочесть до своего ареста произведений Бакунина. По воспоминанию В. Н. [Фигнер], я говорила ей, что Войнаральский однажды просил Чайковского снабдить его фосфором «для поджигания сена в помещичьих усадьбах», но получил решительный отказ. Затем весьма характерно, что Клеменц окрестил бунтарей — последователей Бакунина — *«вспышкопускателями»*, и это ироническое прозвище получило широкое употребление».

Ссылка Кропоткина на то, что «бунтовское и народническое направление бакунистов было нам хорошо известно через кружок лермонтовцев», ничего не говорит или даже говорит совершенно обратное. Ни сам Лермонтов, ни его кружок, состоявший преимущественно из очень юных и неустойчивых людей, как, например, его правая рука — Рабинович, не пользовались у нас каким-либо престижем, и уже по одному этому не могли быть среди наших членов проводниками бакунинского направления. Правда, сам Лермонтов, как умный и способный человек, примкнул после выхода из нашего кружка к бакунистам, мог быть проводником бакунинского направления где угодно, особенно среди молодежи, но только не в кружке чайковцев, где моральный авторитет его был подорван *.

К сожалению, никто из писавших о кружке чайковцев, кроме П. А. Кропоткина, не обмолвился об этих собраниях 1873 г., не писал ничего о них и Л. Шишко, который это лето оставался в Петербурге и,

конечно, должен был бы быть на этих собраниях и в своих воспоминаниях так или иначе о них отозваться. Между тем этот момент в жизни кружка, несомненно, имел важное значение при определении физиономии кружка в ту пору, которая из беглого рассказа Кропоткина могла представляться, особенно для постороннего человека, не соответствующей действительности.

На самом же деле до лета 1873 г. вопрос о связи с лавровским «Вперед» для нашего кружка был делом решенным, несмотря на не совсем однородные отношения к этому ожидаемому журналу. О связи же с бакунинским органом и с бакунинцами вообще никто и не заикался, несмотря на наше в высокой степени почтительное отношение к величавой личности самого Бакунина, окруженного ореолом неустанного борца за великое дело освобождения народов. Когда же настало время окончательно установить ввиду близости выхода «Вперед» деловую связь с ним, то естественно, что Кропоткин, как сторонник анархического течения, должен был выступить с предложением установить связь не с лавристами, а с бакунинцами, а отсюда и те *«горячие споры»,* о которых говорит Кропоткин, в особенности если принять во внимание, что сам-то Кропоткин, живой и страстный, без сомнения, горячо отстаивал свое предложение, встречая и не менее горячие возражения. Весьма возможно, что возражения эти были по преимуществу со стороны того же Купреянова, любившего поспорить и поговорить по принципиальным вопросам с присущей ему спокойной рассудительностью и логикой, что, может быть, и дало повод Кропоткину охарактеризовать его как человека «определенно умеренного направления». Но эта умеренность Купреянова была едва ли большей, чем у остальных чайковцев, так же, как и он, не веривших в близость революции.

Недоумение же Кропоткина, почему за границу послан не выбранный Клеменц, а Купреянов, может быть, всего скорее можно объяснить тем, что нашему делегату кроме переговоров предстояла и другая серьезная задача — покупка типографии, которую лучше мог выполнить именно Купреянов, на обстоятельность которого можно было вполне положиться. Что же касается невыполненного Купреяновым задания,

возложенного на делегата, а именно ознакомление на месте с обоими течениями путем переговоров с представителями их, то Купреянов, зная хорошо настроение всего состава кружка, и не счел необходимым повидаться с бакунистами, с которыми все равно деловой связи состояться не могло. При этих обстоятельствах иных результатов не могло бы быть и при поездке Клеменца: *«бунтарство»* бакунистов, неприемлемое для нас, не позволило бы и ему связаться с ними.

VIII

Моя поездка в Крым. Первые впечатления от Крыма. Братья Зотовы. Моя жизнь в Ортолане, а затем в Судаке. Отъезд из Крыма в Одессу. Мои встречи в Одессе с С. Л. Чудновским и А. И. Желябовым. Несколько замечаний к воспоминаниям Чудновского о моем пребывании в Одессе. Возвращение в Петербург с короткими остановками в Киеве и Москве



Перед своей поездкой в Крым я передал все ведение дела по Выборгскому району Шишко и Перовской, переселившимся для удобства сношения с рабочими на Выборгскую сторону. Помогал им и Купреянов, когда был в Петербурге. Помощь последнего была тем более необходима, что этим летом не могла принимать участия в занятиях с рабочими и Кувшинская, также работавшая до сего времени в этом районе.

Маршрут, данный мне для поездки в крымское имение Зотовых, куда я направлялся, был: Одесса, Евпатория, Симферополь, Карасу-Базар и затем Ортолан, конечный пункт моего путешествия. Опять, следовательно, предстоял переезд морем, на этот раз уже более значительный, чем февральский или мартовский в Херсон и обратно в Одессу, но я выдержал его неожиданно для себя с честью, хотя море было далеко не спокойное и многие из пассажиров страдали морской болезнью. В Евпатории мы были лишь на другой день и перебирались в город уже на лодках, так как недостаточная глубина моря около города не позволяла пароходу подойти к берегу. Небольшой городок

этот, расположенный на плоском, низменном и песчаном берегу, лишенный растительности, производил унылое впечатление и совершенно не соответствовал моему представлению о Крыме. Дорога от Евпатории до Симферополя, которую надо было проделать на лошадях, пролегала по такой же песчаной низменности, пустынной и голой, что окончательно убивало мои прежние представления о Крыме. И лишь около самого Симферополя местность заметно меняется и оживляется зеленым покровом. Сам Симферополь, весь утонувший в фруктовых садах, но не бьющий в глаза эффектными постройками, производит впечатление тихого и симпатичного провинциального городка. В нем я и не задерживаюсь и опять же на лошадях еду дальше, в Карасу-Базар — исторический городок, прежнюю ханскую ставку, — населенный по преимуществу татарами, армянами, греками и евреями. Это заштатный город Симферопольского уезда, сохранивший свой облик чисто восточного города с кривыми и узкими улицами, обилием мечетей, постоялых дворов и кофеен. Возница подвез меня к одному из постоялых дворов, где я после нудной дороги в летнюю жаркую пору немного отдохнул и подкрепился из восточной кухни и затем, после беглого осмотра интересного города, поспешил дальше, чтобы прибыть в Ортолан — имение Зотовых — еще засветло. От Карасу-Базара начинается уже горная часть Крыма, пересекаемая долинами и уже богатая растительностью и заселенная. Забыв усталость, я любуюсь сменяющейся панорамой гор и долин и необычайной для северянина растительностью юга. Но вот и Ортолан — конец моего путешествия. Встречают меня приветливо и дружески, как бы давно знакомого человека. Хозяева — два брата Зотовы, Захар и Алексей, культурные люди, побывавшие в Петровской земледельческой академии, еще молодые, но мало похожие друг на друга. Захар — крепко сбитый блондин, небольшого роста, деятельный, живой и веселого нрава человек; Алексей, рослый брюнет, с копной густых волос на голове и окладистой бородой, был писаный красавец, чего совсем нельзя было сказать о Захаре. Чрезвычайно симпатичный и добродушный Алексей не отличался практичностью, был с ленцой и со склонностью к мечтательности. Нередко любуясь этим богатырем-красавцем, невольно располагавшим

к себе, я представлял его себе верхом на коне во главе восставшего народа, где одна его красочная и внушительная фигура могла бы воодушевить толпу. Тихая обеспеченная жизнь его не удовлетворяла, и позднее, когда началась сербская война, он добровольцем пошел туда, потерял там здоровье и скоро по возвращении на родину погиб.

У Зотовых были и молоденькие сестры, к которым часто наезжали в гости их приятельницы, благодаря чему в небольшом помещичьем доме, окруженном фруктовым садом, жизнь протекала шумно и весело. Часто устраивались прогулки и семейные пикники, в которых деятельное участие принимал и мой товарищ по институту Васюков, чувствовавший себя здесь, как дома. Мое же самочувствие в этом гостеприимном доме было не из важных. Прожив уже два года в Петербурге исключительно в среде людей, вся жизнь которых была посвящена интересам совсем другого порядка, я как-то плохо подходил к этим новым для меня людям и не мог без усилий для себя войти в их жизнь. Кроме того, я и ехал сюда, чтобы подзаняться, для чего приходилось с книгой в руках уединяться где-нибудь в укромном уголке сада. Получалась как будто преднамеренная с моей стороны отчужденность, которая была тягостна для меня, особенно ввиду того, что со стороны хозяев я встречал лишь одну предупредительность и радушие. Особенно это чувствовалось в первое время; потом эти острые углы несколько сгладились, и мы в большей или меньшей степени приспособились друг к другу.

Из ортоланской жизни я помню одно маленькое приключение, совсем сконфузившее меня. Как-то с Васюковым мы решили осмотреть красивые окрестности Ортолана и верхом отправились с этой целью в довольно длинное путешествие. День выдался чудный — солнечный и тихий. До сего времени я никогда не ездил верхом, и мне по этому случаю дали самую смирную лошадь. Получив надлежащие инструкции, как надо держать себя верхом на лошади, мы рысью двинулись в путь. Но скоро, чтобы дать отдых своим лошадям, поехали шагом. Я залюбовался открывшимся живописным видом местности и опустил повода. Кругом стояла полуденная тишина, все как будто замерло под действием жгучих солнечных лучей, влия-

ние которых, несомненно, сказалось и на наших лошадях. Вот в это-то время я совершенно неожиданно для самого себя громко чихнул, моя полусонная лошадь от испуга шарахнулась в сторону и пустилась опрометью бежать уже без седока на противоположную сторону долины, по которой мы ехали. Я же оказался распростертым на пыльной дороге, очки мои, которые я тогда носил, слетели и оказались далеко от меня. Подбежавший Васюков помог мне встать и оправиться. К счастью, мое падение оказалось удачным, и никаких повреждений, кроме конфуза, я не получил. Рассказав своему товарищу, как все это произошло, я вместе с ним тотчас же пустился за убежавшей лошадью; поймав ее, мы уже не решились продолжать наш путь, а пешечком, ведя своих лошадей в поводу, направились к дому. Так постыдно окончился мой первый дебют верховой езды, повторить который я уже не решался. И лишь в Сибири много лет спустя мне пришлось по необходимости снова сесть на верховую лошадь и, не сходя с нее, проделать 70 верст пути по глухой тайге. Крымский опыт пошел мне на пользу, путь этот я совершил вполне благополучно и с тех пор уже не боялся верховой езды, к которой нередко приходилось прибегать.

После довольно продолжительного пребывания в Ортолане нас повезли к морю, в Судак, где находилось небольшое имение матери Зотовых. Путь лежал по гористой и чрезвычайно живописной местности, представлявшей для меня — жителя равнин — особенный интерес. По пути мы заезжали в какой-то монастырь, название которого я уже не помню, расположенный почти на самой вершине высокой горы, и, чтобы добраться до него, пришлось одолеть длинный, довольно крутой и извилистый подъем. Но зато какая чудная и живописная картина открывалась зрителю, достигшему монастырской высоты!

К вечеру того же дня мы были уже в Судаке, расположенном в устье довольно большой долины, упирающейся в море и окруженной с трех сторон цепью гор. Нижняя часть долины, более широкая, была занята виноградниками, разбитыми на небольшие участки, а среди них размещались жилые и нежилые постройки владельцев их. Вся эта часть долины тонула в зелени садов и ласкала глаз. У самого моря,

с правой стороны долины, высилась совершенно отдельным шпицем крутая гора, на самой вершине которой находились остатки генуэзской крепости, испещренной надписями туристов. С задней же стороны этой горы расположился поселок немецких выходцев. Верхняя часть долины, примыкающая к цепи гор, была совершенно пустынна и служила лишь пристанищем для разной пернатой дичи, за которой мы потом нередко охотились.

Несомненно, самое лучшее в этом благословенном уголке было море, которое прямо тянуло к себе. Часами я просиживал на его песчаном берегу, любуясь его беспредельностью и зеркальной поверхностью в тихую погоду, а в бурю — его сердитыми и гневными волнами, неустанно рокочущими и забегавшими далеко на поверхность земли. Купание в этом море, а еще больше — одинокое катание на небольшой парусной лодке доставляли истинное наслаждение. Море здесь пустынно, и лишь изредка увидишь где-нибудь на горизонте парусное судно, а еще реже — какой-нибудь пароход, никогда не заглядывающий в самый Судак.

Жизнь в Судаке протекала тихо и была свободна от того веселья и шума, которыми изобиловал Ортолан. Хозяева были так же гостеприимны и радушны, как и там, но вполне предоставляли устраивать свою жизнь по собственному усмотрению, благодаря чему самочувствие мое было здесь много лучше. Весь день в твоем распоряжении, делай, что хочешь, претензий же к тебе никто и никаких не предъявлял. Так прожил я в Судаке около месяца, отдавая свое время на чтение, охоту на перепелов в верхней части долины, на купание и прочее, а когда уже в августе поспел виноград, я отдал должную дань и ему, обычно располагаясь для этого прямо под виноградным кустом. Отношения мои с хозяевами дома установились добрые, а Алексей Зотов, который тоже жил с нами в имении матери, мне все больше и больше нравился своею простотой, непритязательностью и деликатностью. Для своих охотничьих прогулок я обыкновенно пользовался его ружьем, но стрелок я был неважный, а потому редко возвращался с добычею, что давало повод подтрунивать надо мною *.

В одно из таких блужданий моих с ружьем я был немало напуган необычным для меня зрелищем: прямо

на меня, извиваясь, неслась большая змея; я уже схватился за ружье, готовясь спустить курок, как она почти у самых моих ног так же быстро, как и двигалась перед этим, исчезла в находящейся в двух шагах от меня норе. Немало времени я простоял перед этой норой со взведенными курками, ожидая нападения, но такового не последовало.

Прожив в Крыму уже около двух месяцев в прекрасных условиях, я заметно поправился и окреп. Пора было уже двигаться до дому, т. е. в Петербург, откуда письма напоминали мне об иной жизни и иных интересах, с которыми я так сжился и так разобщился за эти два месяца. Сердечно простившись с нашими радушными и гостеприимными хозяевами, мы (я и Васюков) не без сожаления покидали этот благодатный уголок, чтобы двинуться в Феодосию, а уже оттуда морем снова в Одессу.

Феодосия, расположенная в юго-восточной части Крыма, была маленьким портовым городом, с естественно защищенной гаванью и прекрасным местом для купаний. В ожидании парохода мы осматривали город, на что потребовалось немного времени, и многократно и уже в последние разы наслаждались купанием в южном море. Но вот, наконец, и пароход; билеты третьего класса взяты, и мы при тихой погоде пускаемся на этот раз в самое длинное и самое интересное морское плавание: пароход держится вблизи берега Южного Крыма, который мы имеем возможность осматривать, и мы любуемся его прославленными красотами. Маленькая остановка в Ялте, а затем более продолжительная в Севастополе, позволившая нам бегло осмотреть город, откуда мы уже прямым путем направляемся в Одессу открытым морем.

Погода в этой последней части нашего пути неожиданно нам изменяет. К вечеру поднимается ветер, а вслед за тем постепенно разыгрывается буря, и наш небольшой пароходик с трудом борется с ней, то вскакивая на гребни волн, то опускаясь между ними. Большинство пассажиров уже изнемогают от морской болезни, я еще держусь сравнительно бодро и не покидаю, пока есть возможность, палубы, любуясь бушующим грозным морем, пытающимся поглотить наше утлое суденышко. К ночи буря свирепеет еще больше, оставаться на палубе становится уже не безопасно,

так как волны начинают заливать ее. Волей-неволей приходится спуститься в трюм, где пассажирам третьего класса отведены отдельные клетки, расположенные амфитеатром в два или три яруса. Но, боже, что за картина, достойная дантовского ада, представилась моим глазам, когда я очутился в трюме! Из всех пассажирских клеток, битком набитых, высовывались измученные лица, непрерывно отдающие дань морской болезни, всюду стоны и плач! Воздух отвратительный, дышать почти нечем. Помощи же ниоткуда никакой, да и чем тут поможешь? При таких обстоятельствах я уже не решаюсь залезать в свою клетку, боясь, что немедленно же буду испачкан верхними пассажирами. Пришлось остаток ночи провести без сна, держась по возможности подальше от злополучных пассажирских конур. К моему немалому удивлению, я и на этот раз не подвергся общей участи: меня время от времени лишь немного подташнивало, но и только.

К утру, по мере приближения к Одессе, ветер заметно стал ослабевать, и море понемногу успокаивалось. Трюм открыли, и мы, кто мог это сделать, стали вылезать из нашей зловонной тюрьмы, чтобы отдышаться на чистом воздухе. Вдали показались уже и смутные очертания Одессы, а немного спустя она уже вырисовывалась во всей своей красе. Но вот, наконец, и пристань, к которой мы медленно пробираемся среди множества судов. С чувством несказанной радости после проведенной тяжелой ночи мы ступаем на твердую землю, чтобы с пристани разъехаться в разные стороны.

Остановившись в номерах, я спешу к Волховскому, который на этот раз бодр, весел и мило остроумен; от него я узнаю, что из-за границы недавно вернулся его старый приятель и ближайший его сотрудник по организации одесского кружка Соломон Лазаревич Чудновский, слушавший курс медицины в Венском университете, от которого я могу узнать много интересных новостей. Вызванный в Одессу своими друзьями, чтобы принять участие в развертывающейся деятельности кружка, он бросил университет и возвратился в Одессу, предварительно при помощи своих львовских друзей наладив транспортировку нелегальной литературы на южной границе и оказав содействие Купреянову по отправке купленной последним

типографской машины в Россию. Чудновский входил в состав одесского кружка Волховского и был его правой рукой. Уравновешенный и рассудительный, много читавший, умевший пользоваться своими знаниями, в то же время чуткий и сердечный, — он не мог не играть видной роли в одесской организации, новому направлению которой он вполне сочувствовал. Я быстро сошелся с ним и проводил немало времени в его обществе, слушая его рассказы о заграничной жизни и тамошнем рабочем движении. Много он говорил мне о своей встрече за границей с Купреяновым, который произвел на него обаятельное впечатление и своим внешним видом, и своим глубоким аналитическим умом, легко и свободно разбиравшимся, несмотря на свою молодость, в самых сложных философских и экономических вопросах. Довольно длительное мое пребывание в Одессе все уходило на взаимный обмен мнениями с членами кружка и взаимное ознакомление с положением дел как в самой Одессе, так и в других пунктах, о которых я имел возможность сообщить. Благодаря более обстоятельному знакомству с одесской организацией я имел возможность составить себе довольно полное и весьма выгодное представление об этой организации — одной из самых многолюдных, хорошо организованных и составленных из идейных и преданных народному делу людей. В значительной степени всему этому организация была обязана выдающимся организаторским способностям Волховского и его обаятельной и незаурядной личности. У кружка благодаря Волховскому были обширные связи в обществе, которыми он умело пользовался, были не менее обширные связи с учащейся молодежью, из которой умело же и непрерывно пополнялась организация, и, наконец, установлены были и значительные связи с рабочим людом, как фабрично-заводским, так и состоящим в разных производственных артелях, где велась систематическая работа. Это последнее дело — сравнительно еще новое, но оно с каждым днем развивалось и притягивало к себе новые силы.

Что же касается до взаимоотношений между одесской группой и петербургскими чайковцами, то здесь ничего лучшего нельзя было и ждать: была полная согласованность в заданиях, в идеологии и в отно-

шении моральных требований к личному составу организации.

В этот же свой приезд я впервые познакомился с А. И. Желябовым, только что вернувшимся в Одессу, где популярность его среди молодежи, приобретенная еще за время его студенчества, была велика. Встретился я с ним случайно, на приморском бульваре, где он, очевидно, прогуливался с одним из братьев Зотовых, с которым я не был знаком. Меня познакомили, и мы разговорились. Высокий, стройный блондин, с небольшой окладистой бородкой, с выразительным и симпатичным лицом великорусского типа, Желябов при первом же знакомстве невольно располагал к себе. В то время он еще не состоял в кружке Волховского, от вступления в который его удерживали соображения о судьбе семьи старика отца (крестьянина), которую он искренне любил и которую материально поддерживал, и затем сомнения в сравнительной полезности нелегальной работы, которая служила всегда поводом для усиления реакции, а вместе с тем и создавала новые препятствия для легальной деятельности на пользу народа.

Зная хорошо Желябова еще по прежней его деятельности в Одессе среди молодежи и высоко ценя его за личные качества и его агитаторские способности, члены кружка усиленно старались завербовать его и помочь ему изжить его колебания. Через какой-нибудь месяц по моем отъезде, после тяжелой внутренней борьбы, Желябов, наконец, окончательно разрешает все свои сомнения и отдает себя в полное распоряжение кружка, направление деятельности которого им вполне и безоговорочно принимается. И с тех пор вся последующая, сравнительно недолгая, но красочная жизнь его посвящается всецело делу народа.

Говоря о своем последнем посещении Одессы, когда я впервые познакомился с Чудновским, я считаю вполне уместным сделать небольшие поправки и пояснения к воспоминаниям последнего, относящимся к этому посещению [19].

В этих своих воспоминаниях Чудновский, между прочим, говорит: «Связи между чайковцами и нашим

---

[19] См. *С. А. Чудновский*. Отрывки из воспоминаний 1872—1873 гг. — «Наша страна». Исторический сборник, 1907, стр. 354, 355.

кружком поддерживались и укреплялись не одной лишь перепиской, но и личными поездками чайковцев». «За короткое время (4—5 мес.), которое мне суждено было пробыть на работе кружка до моего изъятия из его среды, в Одессе, например, побывали как сам основатель кружка, Николай Васильевич Чайковский, так и специальный, так сказать, «ревизор» — Николай Аполлонович Чарушин».

Давая далее чрезвычайно лестную характеристику нам обоим, Чудновский продолжает:

Н. В. Чайковский «оставался у нас самое короткое время, имея целью лишь личное ознакомление с членами кружка. Совещание его длилось с нами много часов подряд, в течение которых Н. В. развивал profession de foi чайковцев, знакомил нас с их ближайшими задачами и целями и характером их работы, интересуясь взаимно и нашим взглядом на положение вещей, и нашей работой с нашими чаяниями и надеждами».

«Более продолжительно было пребывание в Одессе Н. А. Чарушина, выработавшего, так сказать, договорные пункты наших союзнических отношений, способы наших взаимных сношений, районы деятельности, способы доставки литературы и т. д.»

«Чарушин, — пишет он далее, — как помнится, приехал к нам из Крыма уже после продолжительного странствования по России, так что его рассказы и сообщения, основанные на личных наблюдениях и личных знакомствах, имели для нас большое и поучительное значение. Результаты и выводы его поездки подействовали на нас ободряющим образом, так как они наглядно убеждали нас в том, что мы далеко не так одиноки, как мы раньше думали, как и в том, что оппозиционно-революционная деятельность в России делает быстрые успехи, проникая в самые отдаленные и глухие ее углы».

Прежде всего, по поводу приведенных выше выписок я должен заметить, что это мое посещение Одессы, о котором говорит Чудновский, было уже по счету четвертое (в 1873 г.), первым же оно могло быть лишь для самого Чудновского, которого в предыдущие мои посещения в Одессе еще не было. Уже в первый мой приезд туда в конце февраля или начале марта, как я уже писал выше, все основные вопросы, согласно

данному мне поручению, были выяснены и обсуждены, и мы пришли к полному и единодушному соглашению. Последующие же мои посещения имели целью лишь ближе ознакомиться с лицами, входящими в состав организации, прочнее закрепить нашу связь и обсудить и договориться по некоторым частным вопросам, что по тем или иным причинам не могло быть сделано ранее. Приезжал же я в Одессу, конечно, не как *«специальный ревизор»*, каковой миссии я на себя не брал и никто таковой на меня не возлагал и не мог возлагать уже по той простой причине, что отношения провинциальных отделений к петербургскому кружку были не подчиненные, а равноправные и автономные, основанные лишь на совершенно добровольной духовной связи, порвать которую каждое отделение имело полную возможность и право, если бы почему-либо наши дороги стали расходиться.

Переходя далее к характеристике моих политических воззрений, Чудновский на следующей странице (355-й) тех же воспоминаний, к моему немалому удивлению, пишет:

«При первом знакомстве Чарушин поражен был резким различием в его и моих политических воззрениях. В то время как его симпатии тогда были, кажется, целиком на стороне анархизма и анархистов, я категорически заявил себя «государственником» — человеком, не признающим возможности дальнейшего прогресса человечества, как такового, иначе как в форме того или иного государственного строя. Склоняясь всеми своими душевными и сердечными симпатиями к социализму, резко враждебно относясь к существующему у нас в России политическому и социально-экономическому строю, я тем не менее не находил возможным отрешиться от государственности вообще и всяких государственных форм ... Н. А. Чарушин, как и многие другие, как и некоторые члены нашего одесского кружка (хотя отнюдь не большинство его), признавали такой взгляд ересью и просто поражались им. Но, к счастью для общего дела, это нисколько, однако, не мешало нашему взаимному уважению и сближению. Я, как и все члены нашего кружка, расстался с Чарушиным в самых дружеских отношениях, и дружба эта впоследствии, как во время «процесса 193-х», так и в Сибири, когда взгляды наши значи-

тельно сблизились, еще более окрепла, оставаясь таковой и поныне».

И не один Чудновский, но и некоторые другие в своих воспоминаниях, как, например, Старик [Ковалик], тоже указывают на меня как на одного из наиболее ярко выраженных анархистов в кружке чайковцев. На самом же деле анархистом я никогда не был. Меня уже давно занимает вопрос: чем я подал повод для таких неправильных заключений? И единственное объяснение я нахожу лишь в моем отношении к самому Бакунину, личность которого с его огромным революционным прошлым импонировала мне, как она импонировала и многим другим, не разделявшим его взглядов. Мне нравились и его сильные речи, которые доводилось читать, сказанные простым и доступным для масс языком. Все это возбуждало во мне искренние симпатии и уважение к Бакунину, чего я ни от кого не скрывал.

Сравнивая Бакунина и Лаврова, я, несмотря на все мое уважение к последнему как мыслителю, ученому и человеку, отдавал предпочтение первому, полагая, что роль политического вождя для Лаврова, человека кабинетного и не знающего жизни, будет не совсем по плечу, в особенности в такой трудный момент жизни России, какой начинался для нее.

Возможно, что именно это мое отношение послужило поводом к невольной ошибке в определении моих политических взглядов и симпатий.

Ошибаясь, как я полагаю, в определении моей политической физиономии того далекого времени, Чудновский совершенно прав, когда говорит, что я расстался с ним, как с другими одесситами, при наличии самых дружеских отношений, решительно ничем не омрачаемых. Он также справедливо замечает далее, что дружба эта с годами только укреплялась, но забыл отметить, что он, живя после суда в Западной Сибири среди многочисленной политической ссылки, был самым деятельным нашим корреспондентом, когда мы, отрезанные от мира, жили на Каре. Его письма, всегда интересные и обстоятельные, знакомившие нас с судьбой наших товарищей, поселенных на далеком западе Сибири, читались всегда с живым интересом и связывали нас с миром живых людей, за что мы были несказанно ему признательны.

...Распростившись со своими одесскими друзьями, я наконец покинул Одессу, а с ней вместе и море, и юг, и двинулся на север. В Киеве лишь небольшая остановка, чтобы повидаться с членами местного кружка и обменяться с ними впечатлениями и сведениями, которыми мы могли поделиться друг с другом*. То же было и в Москве, где, между прочим, я снова виделся с Тихомировым и продолжал настаивать на его переезде в Петербург, куда он в скором времени, действительно, и перебрался.

IX

Снова в Петербурге. Чайковцы все в сборе. Решение составить мотивированную записку (программу) о тех выводах, к каким кружок пришел в результате своей деятельности. Мой переход на нелегальное положение. Усиленная деятельность чайковцев в рабочей среде. Брожение среди молодежи. Подготовка похода в народ. Лавровский журнал «Вперед». Отношение к нему чайковцев. Бакунисты и «вспышкопускатели». Их влияние на молодежь

Целых два месяца я был далеко от Петербурга и от близких мне людей, поэтому понятна та радость, какую я испытывал по возвращении. Петербург же, несмотря на многие отрицательные его стороны, я искренне полюбил. Как-никак, здесь был центр умственной жизни страны, отсюда исходили все идейные течения, распространявшиеся затем по всей стране, здесь же прежде всего ковались и все смелые замыслы освободительной борьбы, которая так сильно захватила и нас.

Наша публика была уже вся в сборе, все вернулись — кто из-за границы, кто из недр России, — следовательно, рассказать и обменяться сведениями и мнениями было о чем.

Отыскав квартиру Кувшинской, проживавшей попрежнему на Выборгской стороне, и получив от нее необходимые предварительные сведения о всех и обо всем, что меня интересовало, мы направились в нашу

штаб-квартиру, которая на этот раз уже была на Петербургской стороне, на берегу Невки, и помещалась в отдельном деревянном и довольно поместительном флигеле. Не помню, в тот же ли день или в один из ближайших, здесь собрались и все члены нашего кружка, возбужденные и радостные, освеженные разнообразными впечатлениями за летние месяцы. У каждого не только из уезжавших, но и у остававшихся, было что порассказать. Но не один обмен мнениями происходил на этом собрании, а строились также и планы на ближайший сезон, который по всем признакам ожидался очень оживленным. Подогреваемые личными впечатлениями, вынесенными из поездок, а также и успехом в работе оставшихся в Петербурге, мы бодро и полные веры смотрели на ближайшее будущее. Оппозиционное настроение русского общества заметно росло, учащаяся молодежь бурлила, и лозунг «на работу в народ» во имя его освобождения становился господствующим. А дальше, и уже скоро, должны были выступить новые возбудители и толкачи в виде лавровского журнала «Вперед» и другой заграничной литературы бакунинского и других направлений.

Но прежде чем продолжить свой рассказ, позволю себе несколько остановиться на работе Синегуба и других за Невской заставой.

Первоначально Синегуб с женой обосновался в Клочках, за Невой, где уже жили Кравчинский и Клеменц, поселившиеся здесь, как уже сказано было выше, для пропаганды среди заводских рабочих. Тот и другой, впрочем, вскоре отсюда выехали. В августе Синегубы перебираются на Шлиссельбургский тракт — и работа закипела, по преимуществу среди фабричных рабочих. Желающих «учиться» было настолько много, что справиться двоим было уже не под силу. Поэтому в сентябре на помощь к ним перебирается только что приехавший из Москвы в Петербург Тихомиров, а с ним и Стаховский, закадычный друг Синегуба, который затем устраивается на отдельной квартире и ведет пропаганду и занятия самостоятельно, совместно со своим приятелем Борисевичем. Здесь так же, как и в Выборгском районе, пропаганда и учеба тесно переплетаются. Рабочие собираются на квартирах Синегуба и Стаховского, но не исключается, в

особенности в первое время, и посещение артелей. Ежедневная посещаемость рабочими Синегуба, пользовавшегося большими симпатиями у них, доходила человек до 20, иногда, может быть, и несколько больше. У Стаховского она была много меньше. Квартирные условия, которые здесь были далеко не те, что были в поместительном доме Байкова на Выборгской стороне, не позволяли слишком расширяться. Однако размах и здесь был очень большой, а сил было мало. Поэтому незадолго до разгрома этого района пропаганды на помощь Синегубу с товарищами перебрались, правда на короткое время, Перовская и Рогачев, которым была передана часть рабочих, и в числе их прославившийся впоследствии своей речью Петр Алексеев, с которой он выступил на «процессе 50-ти».

И в этом районе под конец его существования был выделен Синегубом небольшой кружок из наиболее сознательных рабочих, в который вошли Филипп Заозерский, Ефим Севостьянов, Иван Гришин, Артамон Моисеев, Зарубаев и два брата Панкратовых.

В связи с этим делом, естественно, возникал вопрос о народной литературе, как легальной, так и нелегальной. Из первой уже кое-что было подобрано, а отчасти и переиздано, а второй почти совсем еще не было. К этому времени имелись уже в напечатанном виде лишь сборник революционных стихотворений и «Чтой-то, братцы» Л. Шишко, да написанная Тихомировым «Сказка о 4-х братьях». Печаталась или была уже напечатана также переделка «Истории одного французского крестьянина» Эркмана-Шатриана, не помню, кем сделанная. Вот, кажется, и все, чем мы располагали из нелегальной литературы для народа. Багаж, можно сказать, микроскопический, но уже важно было то, что начало положено. Необходимо было этот литературный багаж во что бы то ни стало пополнить, к чему и побуждались члены нашего кружка, обладающие литературными дарованиями. На Тихомирова было возложено написать о Пугачевском бунте, на Кравчинского — по экономическим вопросам. Первый свою работу еще до своего ареста в ноябре сделал, Кропоткин потом снабдил ее анархическим концом. Кравчинский же уже позднее написал ряд брошюрок, из которых некоторые имели широкое распространение *.

Не помню, тогда же или несколько позднее был поднят вопрос о необходимости в письменном виде зафиксировать нечто вроде программы нашего кружка, физиономия которого в его практической деятельности уже в достаточной степени определилась. Это важно было и для нас самих, и для наших отделений, а еще больше для широких кругов молодежи, воодушевляемой теми же освободительными идеями, что и мы, но еще не обладавшей тем опытом, какой имелся уже у нас благодаря двухлетней работе в рабочей среде и отчасти в крестьянской. Программа эта или, скорее, объяснительная записка о тех выводах, к каким мы пришли в своей практической деятельности, должна была быть обстоятельно мотивирована. Здесь надлежало выяснить этические и идейные основы нашей организации, тип ее, наше отношение к различным слоям населения и, в частности, к западноевропейскому рабочему движению и к нашим русским зарубежным партиям. До сих пор у кружка не было не только какой-нибудь писаной программы, но не было даже и намека на нее.

Все это и должно было найти отражение в предполагаемой записке. Работу по написанию последней взял на себя П. А. Кропоткин.

По приезде моем в Петербург я уже не искал себе квартиры, так как доходившие до меня слухи указывали, что III отделение интересуется мною. Не имея никакого желания попадать в его руки в столь интересное время, я решил перейти на нелегальное положение. В первое время я обычно ночевал в нашей штаб-квартире, а потом кочевал по квартирам своих приятелей и знакомых. Скитаясь по целым дням в различных частях города по разным делам, я на ночевку обыкновенно приходил к тому или иному товарищу, квартира которого была всего ближе от места, где застигала меня ночь.

Однажды, ночуя в нашей штаб-квартире, я был встревожен необычайным шумом, производимым множеством экипажей, въезжавших во двор нашего дома, обычно всегда тихий и спокойный. Уверенный в том, что это нагрянули жандармы, я, лежа в постели, стал ждать властного стука в двери нашего флигеля, но такового все не было. Удивленный и заинтересованный этим таинственным шумом на дворе, я встал и

увидел, подойдя к окну, десятка два экипажей и столько же кучеров, но ни одного жандарма. Не находя другого объяснения, я решил, что пока обыск происходил в главном доме, за которым, возможно, последует и во флигеле. Всю ночь я провел в ожидании жандармов, и только уже утром выяснилось, что не жандармы, а свадебный пир был причиной напрасной тревоги.

Осмотревшись немного, я снова стал держаться около Выборгской стороны и возобновил свои сношения с рабочими, связь с которыми в мое отсутствие поддерживалась Шишко, Перовской, Купреяновым и Кувшинской. Перовская в скором времени перебралась за Невскую заставу и помогала в работе Синегубу, связи которого с рабочими сильно расширялись. Туда же несколько позднее перебрался и Л. Тихомиров, поселившись вместе с Синегубами.

Среди выборгских рабочих, как я уже говорил раньше, была выделена группа лиц, наиболее подготовленных и искренне проникнутых нашими идеями. С ними и занятия и беседы происходили отдельно, большею частью в квартире Кувшинской, которая сама, а также и Шишко — наш общий друг и приятель — принимали в них участие. Этой группе я и отдавал большую часть вечерних часов, когда рабочие освобождались от своих дневных занятий.

Но рядом с таким индивидуальным воздействием на избранных не прекращалась работа и массового характера в общежитиях рабочих, где занятия и беседы, само собой, носили уже несколько другой характер. Но и здесь, несмотря на нашу сдержанность, ввиду слишком разнокалиберного состава артельщиков нередко возникали оживленные беседы, и публика путем перекрестных вопросов докапывалась до корня вещей. Особенно эти наши посещения артелей часто вызывали в нас горькое чувство. Приходилось зорко следить за собой и опасаться нескромного полицейского ока или даже кого-нибудь из состава самой рабочей артели, кому речи наши могли почему-либо не понравиться. Донос в участок — и делу конец! Этот воровской способ сношений, эти постоянные опасения, как бы не провалить и все дело и людей, причастных к нему, невольно взоры наши направляли на Запад, заставляя ценить блага политической свободы.

Там люди могли свободно собираться, открыто и безбоязненно проводить свои взгляды и создавать мощные рабочие и иные общественные организации, не опасаясь, что за это последует суровая и беспощадная кара. Я помню, как часто, возвращаясь после какой-нибудь удачной беседы в артели, мы невольно сравнивали наш маленький успех с тем, какой мог бы получиться в иных политических условиях, когда на сцену могли бы выступить заслуженные народные вожди, талантливые и сильные! Но увы! Для нас пока это были лишь «бессмысленные мечтания», и мы силою обстоятельств могли лишь, как кроты, ощупью подрывать тот фундамент, на котором покоился ненавистный нам государственный строй, твердо веря, однако, что и эта кротовая работа в конце концов все же, хотя и не скоро, приведет к желанному концу!

В других районах так же шла работа индивидуального и массового характера, как и на Выборгской стороне, в которую все больше и больше вовлекались как отдельные лица, так и целые кружки молодежи. К зиме 1873/74 г. я не знаю, был ли в Петербурге какой-нибудь район, где бы не велась аналогичная работа при непосредственном участии кого-либо из чайковцев или без них. Так, помимо Выборгской стороны, Невской заставы, Васильевского острова, где совместно с Жуковым успешно вел пропаганду до своего ареста в декабре 1873 г. Леонид Попов, на Лиговке и в Измайловском районе в это же время работали чайковцы Драго, Эндауров, Перовский, Клеменц и Александра Корнилова.

По-прежнему несколько обособленный характер носила работа на Васильевском острове, где приходилось иметь дело с заводскими рабочими. Там продолжались оживленные занятия по разным отраслям знания и читались лекции на общественные и иные темы. Здесь, как я уже отмечал выше, сосредоточивалась рабочая аристократия, состоящая из квалифицированных рабочих, нередко свысока относившихся к фабричной «шпане». Многие из нас именно за это последнее и недолюбливали василеостровских «аристократов», которые, казалось нам, несмотря на всю их сравнительно высокую культуру и степень развития, не отдадутся беззаветно народному делу. Но опасения эти,

по крайней мере в отношении многих из них, не оправдались.

Так медленно, но последовательно развивалось и росло рабочее дело не только в Петербурге, но и во многих промышленных провинциальных городах. В осень же и зиму 1873 г. оно заметно усиливается. Почти все чайковцы заняты им по преимуществу, отодвинув на второй план все другие дела. Молодежь тоже устремляется туда же и усиливает интенсивность работы среди заводских рабочих, группировавшихся теперь уже около своих трех центров — Выборгского, Василеостровского и за Невской заставой, но сохранивших по-прежнему свое единство, поддерживаемое общими собраниями вплоть до самого разгрома в марте 1874 г.

По мере же развития нашей работы осторожность стала ослабевать, да и трудно было ее соблюдать по характеру самого дела. Волей-неволей конспирацию приходилось пускать побоку и полагаться больше на счастье, удачу и «божью волю». Все равно, думали мы, шила в мешке не утаишь, и рано или поздно какая-нибудь нелепая случайность, предвидеть которую и невозможно, откроет глаза удивленному и перепуганному начальству на эту новую и наиболее опасную для него крамолу, так постыдно проморганную им. Поэтому каждый из нас старался возможно полнее использовать то время, какое ему еще осталось, не думая о завтрашнем дне, когда, может быть, потянут его к ответу. По всем этим соображениям публика систематически наглела, забывая о необходимых предосторожностях. Едва ли не больше всего это забвение имело место за Невской заставой, в районе Синегуба и К°. Район этот первый и подвергся разгрому уже в ноябре 1873 г., тогда как в других работа беспрепятственно продолжалась еще целых четыре-пять месяцев.

В этот последний и наиболее оживленный период организованной деятельности чайковцев в рабочей среде само собой должны были выступить на очередь различные организационные планы.

Прежде всего, отдельные группы рабочих, имевшиеся уже в каждом рабочем районе и составленные из достаточно подготовленных и преданных делу лю-

дей, надлежало объединить в единое целое на федеративных началах с общей союзной кассой и библиотекой. На обязанности такого объединения должны были лежать общая планировка текущей работы, выделение из своей среды пропагандистов на местные фабрики и заводы, еще не затронутые пропагандой, и посылка таковых же в провинцию, как в городские поселения, так и в деревни*.

Вместе с тем так же естественно, по мере развития дела, возникал и вопрос о конкретизации рабочего движения на ближайшее время. Общая пропаганда освободительных идей некоторым из нас уже до очевидности казалась недостаточною. Распропагандированная рабочая публика, не имея под рукою на ближайшее время никакой конкретной задачи, посильной для данного момента, горя нетерпением, устремлялась к совершению тех или иных эксцессов бунтарского характера или к попыткам осуществления конечной цели движения, что неизбежно привело бы лишь к ненужным жертвам, разочарованию и даже к дискредитации самого движения. С каждым днем это бунтарское устремление рабочих заметно вырастало и захватывало даже наиболее сознательных рабочих. Одна словесность уже не удовлетворяла, им нужно было и действие, а его-то и не было. И для удовлетворения этой назревающей потребности в рабочих массах сама собой напрашивалась мысль о борьбе за улучшение своего правового и материального положения. Мысль о стачках, таким образом, становилась все более и более не только популярной, но и повелительной, встречая сочувствие и среди самих рабочих, хотя в нашей среде были и принципиальные противники стачечного движения, как якобы отвлекающего от основных задач и разменивающего их на мелочи.

Рядом с этими организационными планами, естественно, должна была возникнуть мысль о съезде представителей наших отделений и тех рабочих ячеек, какие в том или другом месте уже имелись. Но к сожалению, начавшийся в скором времени разгром чайковцев помешал осуществлению всех этих возникающих заданий и планов, еще окончательно не успевших оформиться.

Если не ошибаюсь, в октябре 1873 г. появился наконец в Петербурге давно ожидаемый журнал Лаврова

«Вперед», первая книжка которого, кстати сказать весьма почтенных размеров, наподобие заправских русских журналов, изобиловала статьями общего характера и обзорами текущих событий, и в частности обзором рабочего движения на Западе, написанным Смирновым*. Книжки журнала брались с бою и прочитывались поодиночке и целыми группами. Понятно, что журнал, получивший широкое распространение, не мог не вызвать огромной сенсации в обществе, и особенно среди учащейся молодежи, для которой главным образом он и предназначался. Здесь совершенно свободным и откровенным языком, не прибегая к помощи эзоповского, трактовались именно те вопросы, которые наиболее волновали эту последнюю. Журнал давал много и фактического материала, особенно по заграничному рабочему движению, писать о котором у нас в России не дозволялось. Весьма естественно, что содержание журнала давало богатый материал для оживленных бесед и жарких споров по тем или иным вопросам, толкая мысль молодежи в известном направлении.

Само собой, что и в среде чайковцев журнал вызвал много толков и разговоров. Ценя его будирующее значение самого по себе и как осведомителя о запретных для нас западноевропейских течениях, я, полагаю, не ошибусь, если скажу, что он далеко не дал нам того удовлетворения, на какое, может быть, некоторые рассчитывали. Статьи общего и руководящего характера в значительной своей части страдали излишней теоретичностью и недостатком практической деловитости, лишающей возможности людям лучше разобраться в сложных условиях русской революционной деятельности, что для руководящего органа было крупным недостатком. Очевидно, для кабинетного ученого, далеко стоящего от жизни, каким на самом деле и был уважаемый Петр Лаврович, дело, за которое он взялся, было не совсем для него. Его же пропаганда и опять пропаганда, к которой должна была сводиться вся революционная деятельность в подготовительный период, якобы в геометрической прогрессии увеличивающая число прозелитов-революционеров, вызывала невольную улыбку на устах лиц, хотя немного знакомых с жизнью. Кому же было неизве-

стно, что, в особенности в русских условиях, сегодняшний яркий революционер завтра становится заурядным обывателем, что это — самое обычное явление, аннулирующее все арифметические выкладки!

Но едва ли не больше всего вызывала нарекание проповедь Лаврова о необходимости «всестороннего развития личности» и основательной научной подготовки, прежде чем выступить на общественно-революционную арену. Проповедь эта, если ее признать правильной и следовать ей, неизбежно должна была привести почти каждого, уже вступившего на ту или иную общественную или революционную работу, к отказу от нее из-за недостаточной теоретической подготовки. Многие ли из общественных деятелей, а тем более из деятелей революционного лагеря, с полной искренностью могли бы сказать себе, что они требуемой Лавровым степени развития достигли и что у них нет пробелов в познании тех или иных научных дисциплин, а потому они с полным правом могут приступить и к ответственной революционной работе? В особенности из этого последнего лагеря немного нашлось бы вполне готовых по рецепту Лаврова, а потому, следуя тому же рецепту, надлежало бы бросить свою работу и на многие годы засесть за книжку. К чему же тогда и самый революционный журнал, на кого он рассчитан, если вся молодая и наиболее чуткая и отзывчивая Россия должна прочно и основательно углубиться в науку?

Такой односторонний взгляд журнала в корне подрывал все начавшее развиваться революционное настроение, и с ним чайковцы не могли примириться. Ценя науку и знание и пополняя пробелы в них, когда для этого представлялась какая-нибудь возможность, они в то же время не в меньшей степени ценили и развитие в личности общественных инстинктов, воспитываемых и укрепляемых только практикой и именно в молодых годах, когда чувства еще свежи, когда всякая несправедливость остро чувствуется и когда человек легче всего отдается во власть охватившей его идеи, не заботясь о личном своем благополучии. Понятно поэтому, что этот вопрос не мог остаться без возражений, каковые и были сделаны в открытом письме Чайковского в редакцию «Вперед» *.

Но, несмотря на все эти несогласия и недоразумения, вызываемые содержанием журнала, разрыва между ним и чайковцами не последовало, и журнал продолжал перевозиться из-за границы и распространяться в России. Чайковцы вполне справедливо полагали, что польза его как революционного толкача несомненна и что ошибки его, каковы бы они ни были, будут корректированы самой жизнью. К тому же чайковцы нетерпимостью в вопросах теоретического порядка никогда не отличались, для них в этот начальный и подготовительный период важнее всего было создание известного уклона настроения и воли к действию, чему в общем журнал, несомненно, содействовал.

Осень и зима 1873 г., как я уже говорил выше, отличались совершенно необычным оживлением молодежи повсеместно в России, но особенно это оживление было велико в самом Петербурге. Почти ежедневно в том или другом конце города происходили многолюдные собрания, на которых в переполненных помещениях шли дебаты на злободневные темы. Темы же эти были в общем одного и того же характера. Всюду говорилось о народе, его страданиях, его прогрессирующей нищете и систематическом угнетении, о том, что такое положение не может более длиться, что пора наконец открыть народу глаза на причины этого зла и тем заставить его выйти из бездейственного состояния. Говорилось далее, что обязанности в этом великом и неотложном деле прежде всего лежат на интеллигенции, познавшей эти причины благодаря лишь тому, что этот народ веками за счет своего благополучия воспитывал ее и давал ей возможность приобщиться к знанию и культуре, что этот неоплатный долг народу пора наконец оплачивать, отдав свои силы на его освобождение; для выполнения этой основной задачи углубляться в науку совсем незачем, что знаний для предстоящего дела у интеллигентской молодежи вполне достаточно, поэтому пусть она бросает университеты и идет в народ для выплаты ему накопившегося веками своего долга.

Одновременно с такими речами нередко раздавались и другие, более решительные и воинственные. Говорилось, что не длительная словесная пропаганда

нужна народу, а призыв к действию, хотя бы к частичным выступлениям и бунтам, которые лучше всякой пропаганды революционизируют народные массы и подготовят их к общему выступлению.

Наконец, были и такие, которые горячо утверждали, что народ наш нечему учить, что скорее у него следует учиться, что он совсем готов для выступления и поэтому стоит только «зажечь спичку», как всенародный пожар будет готов! «Вспышкопускатели», как иронически окрестил их Клеменц, имели также немало последователей, особенно среди зеленой и нетерпеливой молодежи, горящей искренним желанием поскорее перейти из царства зла и всяческой несправедливости в царство правды и добра.

Были, впрочем, среди собирающихся в народ и такие, которые никакими особенными целями не задавались, а хотели лишь непосредственно ознакомиться с ним, с его настроением и бытом и испробовать свои силы и свою пригодность для службы этому народу в новых, упрощенных и непривычных для них условиях жизни.

В это оживленное и бурное время Петербург был покрыт многочисленными кружками молодежи, объединяемыми одним общим лозунгом «В народ!», но вкладывавшими в этот лозунг разное содержание. Наиболее же влиятельными из этих кружков были кружки бакунинского направления — Лермонтова, Ковалика, Каблица и др. Умные и энергичные люди эти, особенно же бывший земец и мировой судья Ковалик, вели деятельную агитацию среди молодежи и имели немалый успех у ней. За ними был и авторитет Бакунина, пользовавшегося широкой популярностью среди молодежи, подкупавшего ее своим богатым революционным прошлым, а может быть, еще больше своей верой в назревшую русскую революцию, которой он заражал и других, в особенности тех, кто был совсем не знаком с действительным настроением народных масс. Не удивительно, что они верили на слово и горели нетерпением пойти к этому народу, чтобы зажечь ту спичку, которой только недоставало для начала общего возмущения.

Готовясь к крестовому походу с разными целями и заданиями, молодежь почти единодушно сходилась

в одном: в народ надо идти не в образе интеллигента, которого, как барина, народ слушать не будет и отнесется к нему недоверчиво или даже враждебно; необходимо, поэтому, всякому, направляющемуся туда, отрешиться от культурных привычек и культурного облика и предстать перед народом в образе простого человека, всего лучше знающего какое-нибудь ремесло, полезное и нужное для народа. В этих видах, как я говорил выше, в разных пунктах города устраивались различные мастерские, где молодежь усердно изучала то или другое ремесло, смотря по личной склонности или степени целесообразности для намеченной цели того или другого из них.

В эту зиму молодой Петербург кипел в буквальном смысле слова и жил интенсивною жизнью, подогреваемый великими ожиданиями. Всех охватила нетерпеливая жажда отрешиться от старого мира и раствориться в народной стихии, во имя ее освобождения. Люди безгранично верили в свою великую миссию, и оспаривать эту веру было бесполезно. Это был в своем роде чисто религиозный экстаз, где рассудку и трезвой мысли уже не было места. И это общее возбуждение непрерывно нарастало вплоть до весны 1874 г., когда почти из всех городов и весей начался настоящий, поистине крестовый поход в российскую деревню, где вскоре же суровая русская действительность предстала перед нашими крестоносцами во всей своей беспощадности и быстро понизила высокую температуру, приводя многих и многих из них в тюремные застенки и к разочарованию даже в самом народе! И это был совершенно естественный финал, как результат непомерно иллюзорных представлений о народных массах, совершенно не подготовленных к восприятию тех идей, с которыми шли к ним, а также и неопытности самих пропагандистов, в большинстве не знавших этого народа и не умевших подойти к нему.

Как же относились чайковцы к этому идейному увлечению, охватившему молодежь в зиму 1873 г.?

Они, конечно, знали о нем, ощущали его, может быть, даже некоторые из них, наиболее впечатлительные и романтически настроенные, до известной степени и заражались им, но в общем, обладая уже не-

которым опытом, они не могли разделять тех преувеличенных представлений о народных массах и их настроении, какие внушались молодежи и так легко и доверчиво воспринимались ею. Чайковцы по-прежнему продолжали свою налаженную работу, мало отклоняясь в сторону. Их, конечно, не мог не радовать этот массовый и деятельный уклон в известном направлении, свидетельствовавший о быстром росте революционного настроения, становившегося чисто стихийным явлением. Но с другой стороны, эта же стихийность и полное несоответствие между заданиями, чаяниями и надеждами и русской действительностью внушали невольные опасения за результаты этого движения. Стихия в общем шла мимо чайковцев, овладеть ею и направить в надлежащее русло они были уже не в состоянии... [20]

---

[20] Такую точку зрения на отношение к бунтарско-бакунистскому течению петербургского кружка чайковцев, каковой я в данном случае только и имел в виду, видимо, не разделяет Левин. В своей рецензии он говорит: «Вызывает также возражение постановка Чарушиным вопроса об отношении чайковцев к бакунизму. Сила сопротивления многих из чайковцев, к овладевшим все более умами революционной молодежи бунтарским идеям, далеко не была велика. Об этом говорят хотя бы воспоминания чайковцев Аксельрода, Фроленко, Ланганса».

Совершенно верно, что сила сопротивления бунтарским идеям Бакунина революционной молодежи, в особенности не успевшей еще столкнуться с народными массами и слепо поверившей Бакунину и представителям его в России о готовности этих масс к выступлению, была не велика. И действительно, и в Петербурге, и в провинции не мало было увлеченных бунтарскими идеями Бакунина, уверовавших и в готовность народных масс к выступлению. Частично не остались в стороне от этого увлечения и провинциальные кружки чайковцев. Но ничего подобного нельзя было сказать о петербургском кружке чайковцев. Здесь даже анархист Кропоткин не ушел в бакунистские кружки, каковых в Петербурге было не мало, а продолжал усердно работать с чайковцами вплоть до своего ареста в марте 1874 г. Ссылка же на чайковцев Аксельрода, Фроленко и Ланганса ничего не говорит. Все эти лица были из отделений московского, киевского, одесского, и в своих воспоминаниях отражали они, главным образом, настроения провинции, где в революционных организациях меньше было опыта и деловой спаянности, почему там и легче поддавались воздействию стихии. По словам Чудновского, даже в наиболее организованном и сплоченном одесском кружке «немало было бакунинцев, хотя таковых было меньшинство».

X

Записка Кропоткина (проект программы) и обсуждение ее. Разгром организации чайковцев за Невской заставой. Арест Синегуба, Тихомирова, Стаховского и Борисевича, а с ними и многих рабочих. Пополнение кружка новыми членами. Мой случайный арест. Последующие аресты сестер Корниловых, а затем Сердюкова, Купреянова, Кувшинской, Гауэнштейна, Кропоткина и многих других, а с ними и разгром Выборгского и Василеостровского рабочих районов. Состав петербургского кружка чайковцев за время его существования. Несколько заключительных слов



Приблизительно к началу ноября 1873 г. составление порученной Кропоткину записки о ближайших задачах революционной деятельности и тех практических выводах, к каким кружок пришел после двухлетней работы в рабочей среде, было закончено, и члены кружка были созваны заслушать и обсудить ее. Чтение этой обширной записки, имеющей, несомненно, историческое значение и прекрасно освещающей общее настроение целой эпохи начинающегося в России революционного движения, длилось несколько вечеров, прерываясь оживленными и жаркими прениями. Записка написана с обычным для П. А. [Кропоткина] талантом и с подробной и исчерпывающей мотивировкой каждого положения, которое автор пожелал отметить, что в значительной степени облегчало и самое обсуждение ее.

Записка Кропоткина подразделялась на две неравные части. Первая, вступительная и много меньшая по своим размерам, говорит об идеале будущего строя; здесь автор в общих чертах обосновывает не как платформу для ближайшего времени, а как отдаленный идеал, справедливое устройство общества на началах безгосударственного общежития (анархия), каковой идеал, по мнению автора, и следует иметь в виду как путеводную нить в практической деятельности всякому революционеру. Сам Кропоткин отчетливо отмечает, что его анархический строй есть лишь отдаленный идеал, когда в самом же начале своей записки говорит, что *«в идеале мы можем выразить наши на-*

дежды, стремления, цели, независимо от практических ограничений, независимо от степени осуществления, которой мы достигнем, а эта степень осуществления определится чисто внешними причинами».

Еще определеннее эта мысль выражена им, когда он переходит к изложению программы практической деятельности и когда говорит: «Мы сказали уже, что, по нашему убеждению, осуществление этого идеала должно свершиться путем социальной революции. При этом мы вовсе не ласкаем себя надеждами, что с первою же революциею идеал осуществится во всей полноте: мы убеждены даже, что для осуществления равенства, какое мы себе рисуем, потребуется еще много лет, много частных, может быть, даже общих взрывов»[21].

Автор записки, как убежденный анархист, приступая к изложению программы практической революционной деятельности, как вывода из проделанной уже в русских условиях работы, не мог, конечно, не коснуться анархического идеала, в основе своей, как говорит Кропоткин, тождественного для социалистов «самых разнообразных оттенков», «если взять их [идеалы] в самой общей форме», так как «различия между их идеалами скорее происходят не от коренных различий в идеале, а оттого, что одни сосредоточивают все свое внимание на таком идеале, который может, по их мнению, осуществиться в ближайшем будущем, другие — на идеале более отдаленном».

Эта вводная часть записки, трактующая о золотых снах человечества, воплощение которых в жизнь относится в бесконечно далекое будущее, мало занимала нас, и я не помню, чтобы она вызвала какие-нибудь споры или подвергалась какому-нибудь обсуждению. При желании, конечно, эта часть записки могла дать материал для бесконечных, но бесплодных споров, не имеющих никакого практического значения, чем заниматься ни у кого не было никакого желания.

Главное же и самое ценное содержание записки сосредоточивалось, конечно, во второй и наиболее значительной по объему части — практической. Здесь

---

[21] Настоящие выписки, как и последующие, делаются мемуаристом из записки П. А. Кропоткина «Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя?», опубликованной в «Былом» (1921, № 17).

автор шаг за шагом со всей обстоятельностью и подробной мотивировкой по целому ряду самых жизненных вопросов излагает уже не собственные или книжные измышления, а те выводы по этим вопросам, к которым пришел кружок чайковцев за время своего существования в процессе своей организационной работы в интеллигентской, рабочей и отчасти крестьянской среде. И нужно отдать справедливость автору, что эта часть выполнена им со знанием дела, с возможной объективностью и, может быть, лишь в редких случаях с некоторым уклоном в сторону своих личных настроений.

Начинаясь с отрицания введения в революционную организацию «подчинения личности, порабощения многих одному или нескольким лицам, неравенства во взаимных отношениях членов одной и той же организации, взаимного обмана и насилия для достижения своих целей», что и было положено в основу организации чайковцев, записка устанавливает далее как нечто непреложное, что «никакая революция невозможна, если потребность в ней не чувствуется в самом народе», а потому и вызвать ее усилиями горсти людей, «как бы энергичны и талантливы они ни были», — дело совершенно безнадежное.

Переходя далее к выяснению настроения народных масс — крестьян и рабочих, — автор записки приходит к выводу, что «глухое недовольство существует», что вместе с систематическим разорением этих масс «недовольство растет», «что надежды на то, что тем или иным способом помещиков уравняют в земле, податях и натуральных повинностях с крестьянами, продолжают жить среди народа, что надежда на то, что это уравнение произойдет сверху, мало-помалу утрачивается, что боготворение царя в некоторых местах заметно подрывается» и т. д. Словом, недовольство как в области экономической, так и государственной всюду, не говоря уже об интеллигентских кругах, систематически прогрессирует, что «приводит к несомненному убеждению, что приступить к организации революционной партии вполне своевременно и что задачи этой партии облегчаются всюду встречаемым ею содействием».

Установив, таким образом, законность и своевременность возникновения революционной партии

в России, в записке далее подробно и последовательно, предусматривая могущие быть возражения, развивается в целом ряде мотивированных положений план деятельности такой организации в подготовительный период в области пропаганды устной, фактической, литературной и организационной, направленной по преимуществу на рабочие и крестьянские массы как основные факторы будущей русской революции.

Я не последую за автором и не буду излагать хотя бы в самых кратких чертах эту самую интересную и содержательную часть записки, что завело бы меня слишком далеко, а отсылаю к самой записке каждого, кто заинтересовался бы господствующим настроением того далекого времени, на самой заре революционного движения, и, в частности, настроением и планами самого кружка чайковцев, выразителем мнений которого эта записка по преимуществу служит. Я скажу только, что, перечитывая внимательно эту часть записки и восстанавливая в своей памяти это далекое прошлое, я не нашел ничего, против чего можно было бы возразить, кроме разве некоторых небольших уклонений в ней, что изображение нашего настроения, наших мыслей, планов, чаяний и надежд сделано в общем, и даже в частностях, вполне правильно и с исчерпывающей полнотой. И будущий историк знаменательной эпохи начала 70-х годов и кружка чайковцев не может, конечно, пройти мимо записки Кропоткина.

Но, не считая возможным следовать за автором записки в его дальнейшем изложении, я все же позволю себе остановиться на ее заключительной части, где он говорит о нашем отношении к Интернационалу, к русским заграничным партиям и их органам печати, и сделать из нее некоторые выписки.

«Вести речь о том, — говорит Кропоткин, — примкнуть к Интернационалу или нет, не в принципах, а на деле, мы считаем теперь невозможным. Пока у нас нет сколько-нибудь сильной организации среди крестьянства и рабочих, всякие наши отношения были бы не деловые, а только личные, но о таких отношениях едва ли стоит рассуждать». «Мы можем сказать только, что вследствие громадной разницы строя мышления нашего народа, его склада представлений, его стремлений с этими свойствами западноевропейских рабочих, вследствие розни языка, наконец, вследствие

нашей экономической изолированности, мы не думаем, чтобы в сколько-нибудь близком будущем наши отношения могли бы быть сколько-нибудь тесные и живые иначе, как между отдельными личностями...»

«Поэтому мы только ограничимся заявлением, что в принципах... мы вполне сходимся с отраслью федералистов Интернационала и отрицаем государственные принципы другой». «Что касается до наших русских заграничных партий, то, сходясь в принципах с русскими представителями федералистического отделения Интернационала, мы совершенно отстраняемся от всякого вмешательства в раздоры наших партий, так как они приняли, наконец, личный характер и так как, живя здесь, не можем иметь никакого точного понятия о характере этих раздоров. Относительно их повременных изданий мы должны сказать, что ни одно из них не можем признать органом нашей партии».

И далее: «Мы *намерены здесь развиваться самобытно,* вне всяких руководств заграничных партий, так как полагаем, что никогда эмиграция не может быть точным выразителем потребностей своего народа иначе, как в самых общих чертах, ибо необходимое для сего условие есть пребывание среди русского крестьянства и городских рабочих...» [22]

Эта заключительная часть записки Кропоткина, из которой мы привели довольно пространные выписки, в общем так же совершенно правильно излагает наше отношение к заграничным партиям. Но несомненный субъективизм он вносит, когда пишет, «что в принципах мы вполне сходимся с отраслью федералистов Интернационала и отрицаем государственные принципы другой». Такое безоговорочное заявление дает известное право на заключение, что мы не только разделяем федералистический принцип в международной организации, дающей нам право на самобытное развитие, о котором говорится в той же заключительной части записки, но разделяем и по существу взгляды федералистических отраслей Интернационала. Мы, действительно, были сторонниками федералистического принципа в будущем, доступном нашему представлению строе, а пока проводили его в собственной

[22] «Былое», 1921, № 17, стр. 38.

организации, но это совсем не значит еще, что мы были в то же время и приверженцами свойственного федералистической отрасли Интернационала анархического течения, с которым в то время были очень мало знакомы и уже по одному этому не могли состоять в качестве его адептов. Отчасти, хотя и косвенно, подтверждается это и в самой записке заявлением, что ни одно из повременных заграничных изданий, а стало быть и анархического направления, «не можем признать органом нашей партии» *.

Как я уже говорил выше, чтение и обсуждение записки заняло несколько вечеров, причем почти каждый пункт ее подвергался всестороннему рассмотрению. Теперь, более чем через 50 лет, конечно, трудно восстановить то, что говорилось на этих собраниях, какие поправки вносились, какие упущения указывались. Как и всегда, так и на этих собраниях ни протоколов, ни каких-либо записей из соображений чисто конспиративных не велось, а потому не осталось и никаких вещественных следов от этих собраний. Но почти с уверенностью можно сказать, что найденная при обыске у Кропоткина, написанная уже позднее, но, к сожалению, незаконченная «программа революционной пропаганды», служащая дополнением и развитием положений его записки, до некоторой степени восполняет лишь те упущения, которые обнаружились при ее обсуждении [23].

Немногие положения этой «программы», за исключением разве 1-го пункта, опять-таки не есть измышление самого П. А., а лишь воспроизведение тех мнений и выводов, к каким пришел кружок чайковцев. В ней всего четыре положения: о предварительной теоретической подготовке революционера, прежде чем приступить к практической деятельности пропагандиста, и полного отрешения его от старого мира; о характере самой пропаганды среди неразвитой части крестьянства и рабочих, которую, как значится в программе, надо начинать не с «общественных идей о социализме», недоступных их пониманию и не трогающих их, а с вопросов чисто местного значения,

---

[23] Последние работы советских исследователей показали; что «Программа революционной пропаганды» была написана старшим братом П. Кропоткина — Александром. — *Б. И.*

близких и понятных каждому, и, наконец, о непрактичности и вредоносности задевания религиозных верований и личности царя, причем советуется обрушиваться «всею тяжестью на правительство и господ, — слова, которые на всей Руси каждому известны» и к которым уже издавна установилось вполне определенное отрицательное отношение. «Вредного в таком неупоминании о царе, — пишет Кропоткин, — нет ровно ничего. Слети только правительство и господа, и царь сам...»

Все эти вопросы были обойдены в записке, а последние два, может быть, и преднамеренно, хотя в кружке к этим выводам опытным путем приходили почти все, кому доводилось иметь дело с малосознательной рабочей и крестьянской массой. Кропоткин же, когда писал свою записку, этого опыта еще не имел, ему не приходилось сталкиваться с массовым фабричным людом, а потому возможно, что он вполне сознательно обходил эти вопросы, не желая трактовать их в таком компромиссном виде, с явным отступлением от теоретической прямолинейности. Но в самое последнее время, месяца за четыре, за пять до своего ареста, ему пришлось столкнуться с фабричными рабочими Выборгской стороны, где он вместе с другими посещал их общежития, населенные малосознательными людьми и где мог самолично убедиться в правильности тех выводов, к каким уже пришли ранее другие. И в своей программе он уже с искренним убеждением трактует эти вопросы в компромиссном духе, ссылаясь на свой собственный опыт, а в вопросе о приступе к пропаганде — с вопросов местного значения, а не общих — и на заграничный опыт.

Говоря о записке Кропоткина и его программе революционной пропаганды, имеющих целью отобразить с возможной полнотой взгляды и настроения кружка, к которому он сам принадлежал, нельзя не остановиться еще на одном вопросе, который трактуется Кропоткиным несколько односторонне, что при обсуждении записки не могло не быть отмеченным.

Исходя из того основного положения, что главная работа всякой революционной организации должна сосредоточиваться в крестьянских и рабочих массах, а отнюдь не в интеллигентских кругах, как представляющих сравнительно малоценный материал, Кро-

поткин несколько перегибает палку и, как мне кажется, не совсем верно воспроизводит на этот вопрос точку зрения кружка. По Кропоткину, выходит, что всякий убежденный революционер, если его убеждение покоится на прочных, а не на легковесных основаниях, должен, когда он почувствует себя достаточно теоретически подготовленным, «разорвать свой дворянский паспорт, окончательно, навсегда, сделаться крестьянином, мастеровым, фабричным и — пропагандировать». В такой категорической форме вопрос этот никогда не трактовался в кружке. Здесь все отлично понимали, что, несмотря на искреннюю убежденность, не всякий по многоразличным причинам на такую работу и отрешение от всех культурных привычек может быть способен, а потому и толкать такого человека в несвойственную ему область было бы бесплодной затратой сил и в своем роде насилием. Кроме того, так же отчетливо сознавалось, что для той же основной работы требуется еще целый ряд настоятельно нужных вспомогательных работ, которые тесно связаны с городом и с сохранением облика интеллигентного человека, на что также необходимо выделение соответствующих сил из всякой революционной организации. Дела организационного характера, литературные, по пополнению кадра интеллигентных работников и, наконец, денежные и некоторые другие, — все это дела чрезвычайно важные и нужные, без которых ни одна мало-мальски серьезная организация не может обойтись, а стало быть, не может и не выделять для выполнения их необходимых и, может быть, и весьма ценных сил.

Вот те разъяснения и небольшие поправки к записке Кропоткина, которые, мне кажется, необходимо было сделать, чтобы лик кружка, отображаемый этим историческим документом, получил более правильное и соответствующее действительности освещение.

Но если в деловой части записки Кропоткин добросовестно старался изобразить взгляды кружка и его настроение, далеко еще не воинственное, то в прениях иногда все же прорывалось его анархически-боевое настроение.

Я помню, как во время обсуждения его записки П. А. [Кропоткин] предлагал и горячо защищал идею организации боевых крестьянских дружин для

открытых вооруженных выступлений, чтобы они своей кровью лучше запечатлели в уме и сердце народа эти проявления народного протеста и таким путем постепенно революционизировали массы. Но предложение это как несвоевременное не встретило ни поддержки, ни сочувствия*. Позднее, в начале 1874 г., когда уже начался разгром чайковцев и их рабочих организаций, Кропоткин, остававшийся еще на свободе, снова возвращался к этому вопросу и сетовал на то, что в свое время его не послушали, а теперь лучшие силы кружка погибают бесплодно, когда они могли бы погибнуть более ярко, оставив после себя несомненный след в истории революционного движения.

Была ли эта записка-программа революционной деятельности по обсуждении ее принята кружком?

В своих воспоминаниях Шишко говорит, что она была принята и переписывалась для рассылки ее по отделениям. Но я не могу согласиться с этим и думаю, что Шишко, утверждая это, ошибается уже по одному тому, что одним петербургским кружком, без участия филиальных отделений, она и не могла быть принята. Запрошенная мною по этому поводу Александра Ивановна Мороз держится того же мнения. В ответ на запрос она писала: «Я не считала ее [записку] принятой. По воспоминанию В. Н. [Фигнер], я говорила ей, до опубликования программы в настоящее время, что она была только прочитана, но не голосована. Это обстоятельство подтверждается тем, что проект программы найден в единственном экземпляре и не носит следов никаких дополнений и поправок».

Но эти дополнения и поправки, если не считать «программы революционной пропаганды», так и не удалось сделать П. А. [Кропоткину]. Начавшиеся вскоре после обсуждения ее аресты, усилившаяся личная загруженность самого Кропоткина по текущей работе и общее, все возрастающее возбуждение в революционных кругах, несомненно, помешали этому, благодаря чему записка, предназначавшаяся для опубликования, осталась недоделанной и окончательно не принятой кружком[24].

---

[24] По поводу принятия или непринятия программы Кропоткина, заслушанной кружком, Левин в своей рецензии пишет:

«Мы не убеждены даже, несмотря на противоположное мнение Чарушина и Корниловой-Мороз, что уцелевшими петербургскими

Конец 1873 г. был началом разгрома чайковцев и их рабочих организаций. В ночь с 10 на 11 ноября целый отряд жандармских и полицейских чинов нагрянул на квартиру Синегуба за Невской заставой и после произведенного обыска арестовал Стаховского, Борисевича, сотрудников Синегуба по работе за Невской заставой*, а также Тихомирова, работавшего с ним же, но в самое последнее время вынужденного скрываться из-за оговоров по прежней его жизни в Москве и случайно ночевавшего в эту ночь у Синегуба.

чайковцами, под конец организованного существования кружка, не была принята умеренно-бакунистская программа, предложенная Кропоткиным, в пользу чего свидетельствует не только Шишко, как, по-видимому, думает Чарушин, но и Чайковский (см. его рецензию на книгу В. Я. Богучарского «Активное народничество 70-х годов» в «Голосе минувшего», 1913, № 6)».

И действительно, в этой рецензии, с которой я имел возможность познакомиться уже после выхода моих воспоминаний, Чайковский между прочим говорит: «...Можно только пожалеть, что до сих пор не видит света программа кружка чайковцев, написанная в свое время Кропоткиным и принятая кружком, *хотя и не без изменений»* (курсив мой. — *Н. Ч.*).

В своем же беглом анализе деловой части этой программы, о которой только и следует говорить, мною самым определенным образом сказано, что в ней автор «шаг за шагом, со всею обстоятельностью и подробной мотивировкой по целому ряду самых жизненных вопросов, излагает уже не собственные или книжные измышления, а те выводы по этим вопросам, к которым пришел кружок чайковцев за все время своего существования в процессе своей организационной работы в интеллигентской, рабочей и отчасти в крестьянской среде. И нужно отдать справедливость автору, что эта часть выполнена им с знанием дела, с возможной объективностью и, может быть, лишь в редких случаях с некоторым уклоном в сторону своих личных настроений».

Из вышеприведенной выдержки явствует, что зачитанная программа в общем и существенном, за небольшими исключениями, была вполне приемлема для кружка и одобрялась им, и не прегрешая особенно против истины, и мы (я и Корнилова-Мороз) с такой же оговоркой, какую делает Чайковский, могли бы сказать, что она принята кружком. Но это было бы сделано все же с некоторой натяжкой, так как нельзя принимать в окончательном виде то, что требует еще некоторых изменений, редакция которых еще не известна. По существу же дела я не вижу основания в данном вопросе противопоставлять мнение Чайковского нашему, так как та и другая сторона в сущности говорит одно и то же. Весьма возможно, что и Шишко, присутствовавший при обсуждении программы и слышавший возражения по некоторым пунктам ее, говорит так же, как и Чайковский, о принятии программы в целом и существенном, не считая даже нужным сделать такую оговорку, какую делает Чайковский **.

Сам же Синегуб почему-то пока арестован не был, а лишь обязан подпиской на следующий же день явиться в III отделение, хотя в корзине для бросовых бумаг и были найдены кое-какие компрометирующие его документы. Синегуб уже ждал этого обыска, будучи дней за 10 предупрежден о нем жандармским наездом на квартиру его брата, жившего в Петербурге и ошибочно принятого за Сергея Синегуба. Благодаря этой случайности Синегуб тщательно очистил свою квартиру от всего нелегального, но корзина, как он думал, с оберточной бумагой, которую он не осмотрел, его подвела. Явившегося на другой день в III отделение Синегуба, конечно, арестовали тоже. В ту ночь были произведены обыски и у многих синегубовских рабочих, а также и их аресты. Несколько позднее была арестована и жена Синегуба Лариса Васильевна, скоро затем освобожденная.

Таким образом, один из самых деятельных и живых рабочих районов Петербурга погиб вместе с его работниками, а организация чайковцев понесла значительный и весьма чувствительный урон, лишившись нескольких деятельных и ценных своих членов. Правда, некоторое время спустя многие из арестованных, не оговоренные или слабо оговоренные рабочими, были освобождены из заключения; предназначался к освобождению и Тихомиров, о чем уже состоялось постановление прокурора судебной палаты, но незакончившееся еще следствие по московским оговорам воспрепятствовало этому. В конечном итоге по делу о пропаганде за Невской заставой остались в заключении лишь Синегуб, Стаховский и Тихомиров, дело которых было выделено в особую группу и назначалось к разбору в мае или июне 1874 г. Но последующие многочисленные аресты, быстро следовавшие одни за другими и устанавливавшие некоторую взаимную связь, если не фактическую, то идейную, помешали этому скорому процессу, и дело Синегуба и К⁰ само собой влилось в общее дело о революционной пропаганде в 37 губерниях («процесс 193-х»), рассмотрения которого пришлось ожидать в одиночном заключении целых четыре года!

Этот погром за Невской заставой, как бы он ни был чувствителен, не ослабил энергии оставшихся на

свободе[25]. Дело с рабочими продолжалось во всех других районах, но, кажется, особенно интенсивно оно в это время велось на Выборгской стороне. Здесь кроме меня, Шишко и Кувшинской, постоянных работников этого района, находом стали принимать участие Кропоткин, Клеменц, Купреянов, Гауэнштейн, Левашев и некоторые другие, почти ежедневно вечерами посещавшие то или другое рабочее общежитие или особо содержимую квартиру. Обычно, идя на занятия, они предварительно по пути заходили в квартиру Кувшинской, жившей на Выборгской стороне, и здесь оставляли свою верхнюю городскую одежду и одевались в полушубки, хранившиеся у нее, а затем уже в преображенном виде шли дальше. Перед лицом обитателей рабочего общежития Кропоткин фигурировал в качестве Бородина, А. Д. Кувшинская — под именем Марьи Андреевны. В этих рабочих артелях велась по преимуществу массовая пропаганда и, конечно, без всякого отбора слушателей, что и побуждало к соблюдению некоторых конспиративных приемов в роде перемены фамилий и переодевания. Дело здесь приходилось иметь с малокультурными фабричными рабочими, с которыми Кропоткин вплотную столкнулся впервые, и здесь же он опытным путем, несомненно, и пришел к убеждению, что при массовой пропаганде в малосознательной среде не следует распоясываться, задевать царя и религию, а саму пропаганду следует конкретизировать на близких и доступных пониманию слушателей житейских вопросах.

Рядом с этой массовой пропагандой продолжалась параллельно работа и с выделенными рабочими, составлявшими особый кружок. При этом кружке для надобностей его было положено начало особой кассе,

---

[25] Но и за Невской заставой с арестом Синегуба и его товарищей начатое ими дело не совсем заглохло. По этому поводу Левин в своей статье пишет: «...его продолжил, хотя и в более скромных размерах, кружок Вас. Сем. Ивановского, Аверкия Прок. Ветютнева и их товарищей, связавшийся к концу 1873 г. с П. Алексеевым, Смирновым и другими торнтоновскими рабочими. Об этом мы знаем и из показаний Низовкина, и из недавних воспоминаний близкого к деятелям кружка лица, причем, согласно сообщению последнего, к начинанию этому будто бы был причастен чайковец А. И. Сердюков. Работа шла, видимо, до января — февраля 1874 г.» («Каторга и ссылка», 1929, кн. 12 (61), стр. 23).

в фонд которой на первое время было отпущено кружком чайковцев 500 руб. *

Что касается до планов создания объединенной организации с представителями от всех выделенных рабочих кружков, вопрос о чем уже стоял на очереди, то с этим делом ввиду арестов за Невской заставой пришлось приостановиться и выждать, чем в конце концов они завершатся. При наличии некоторой связи рабочих из-за Невской заставы с рабочими других районов можно было ожидать, что разгром, начатый в одном пункте, распространится и на другие, а потому и момент для объединения был признан неподходящим и несвоевременным. И действительно, опасения эти, правда не скоро, а месяца через четыре, оправдались, когда в марте 1874 г. начался разгром Выборгского района, Василеостровского и некоторых других, когда были арестованы Кропоткин, Купреянов, Сердюков, Кувшинская, Гауэнштейн и многие другие, в том числе и рабочие разных районов. Еще ранее, а именно в декабре 1873 г., был арестован в Торжке Леонид Попов, а 5 января 1874 г. — Александра Ивановна Корнилова и Перовская, пришедшая помочь Корниловой в составлении шифрованного письма Купреянову, выехавшему за границу.

Однако большинство этих арестов было еще впереди, и чайковцы не слагали оружия и жили пока вовсю, заботясь и о будущем, и о пополнении своего несколько ущемленного состава. В этот последний период жизни кружка, в целях его пополнения, были введены в него несколько новых лиц, уже давно близко стоявших к кружку, а именно: Н. И. Драго, Зубок-Мокиевский, В. Л. Перовский, брат Софьи Львовны Перовской, и Эндауров, а мне было поручено по этому же поводу вести переговоры с нечаевцем Владимиром Ивановичем Ковалевским (впоследствии товарищ министра финансов).

Несколько позднее, во второй половине 1874 г., был введен в состав кружка еще мой старый знакомый по Туле, Николай Федорович Цвиленев, уже успевший этим летом принять участие в «походе в народ». Но он вскоре же после разгрома в Москве кружка кавказцев (Фричи) командируется туда в помощь ей «живой силой». Здесь Цвиленев тесно связывается с остатками этого кружка и по своем аресте,

вместе со своей женой, В. Н. Батюшковой, тоже членом нашего кружка, привлекается к «процессу 50-ти» и приговаривается к ссылке на поселение в Иркутскую губернию.

Ковалевский жил в Петербурге, был дружен со многими близкими к чайковцам лицами и пользовался прекрасной репутацией. Лично Ковалевского я не знал, а потому было условлено, что вечером 4 января 1874 г. я встречусь в квартире Кувшинской с Л. Шапиро, приятелем Ковалевского и в то же время близким к кружку чайковцев, чуть ли не на другой же день уезжающим куда-то на Волгу в качестве врача (он только что окончил курс Медицинской академии). Шапиро должен был дать мне все необходимые сведения о Ковалевском для предстоящих переговоров и снабдить рекомендательной запиской.

В назначенное время свидание состоялось, и мы пробеседовали до поздней ночи. Перед уходом он написал коротенькую рекомендательную записку за полной своею подписью, где значилось: «Податель сего, Чарушин, общий друг мой, Иоганна (Гауэнштейна. — *Н. Ч.*) и Чайковского».

Время было позднее, около часа ночи, пора было и мне отправляться на ночлег. Ближайшей квартирой, где я мог переночевать, была квартира студента-медика Богомолова, симпатичного и серьезного юноши. Квартира эта находилась на Петербургской стороне, на берегу Большой Невки, где, между прочим, помещалась слесарная мастерская для лиц, собирающихся в народ. Но прежде чем распрощаться с Кувшинской и двинуться в место моего ночлега, я из предосторожности вырезал фамилию Шапиро из его записки, оставив лишь его инициалы. То же сделал и с бывшими при мне, только что полученными письмами рабочих из Тверской губернии, куда они отправились с целями пропаганды. В одном из этих писем, кажется Абакумова, сообщалось, что *«нас восемь человек нераздельных, которые имеют понятие»*, причем неосторожно указывались и фамилии. Фамилии эти были мною вырезаны.

Кроме этих документов при мне имелись кое-какие брошюры заграничного издания и «Государственность и анархия» Бакунина, которую я незадолго перед этим достал и не успел еще прочесть.

Ночь была ясная и морозная, а улицы совершенно безлюдные. Подходя к квартире Богомолова, я увидел в ней полное освещение и обрадовался: значит, еще не спят! Калитка была приотворена, ни на дворе, ни на улице ни души, кроме дворника, огребавшего снег с уличных тротуаров и мельком посмотревшего на меня. Ничего не подозревая, я прошел через пустынный двор, поднялся во второй этаж и, отворив незапертую дверь, тотчас очутился в объятиях жандарма, караулившего входную дверь, и понял, но уже слишком поздно, что я так глупо попался в западню. Само собой, что и остальные жандармы, которых было немало, набросились на меня, раздели и извлекли все содержимое из моих карманов, в том числе и паспорт купеческого сына П. А. Шуравина, студента Медицинской академии, именем которого я и назвался[26].

Оставленный на некоторое время в покое, я стал соображать, не причинят ли найденные у меня веще-

---

[26] Л. Э. Шишко в своей статье «Сергей Михайлович Кравчинский и кружок чайковцев» (т. IV, стр. 158) говорит, что мой арест, а затем и арест Купреянова и Кропоткина был устроен «при помощи двух рабочих-шпионов, уже действовавших в этом смысле в Москве при выслеживании долгушинского кружка». «Они, — пишет Шишко, — очень ловко устроили арест Чарушина, нисколько не скомпрометировав этим себя, так что после Чарушина с ними без малейшего колебания стал продолжать те же сношения Купреянов», а после его ареста и Кропоткин, «причем один из шпионов участвовал вместе с сыщиком в задержании его (Кропоткина. — *Н. Ч.*) на Невском проспекте». Несомненно, Шишко ошибается, объясняя мой арест участием в нем рабочих-шпионов. Свой арест я устроил себе сам без участия каких-либо третьих лиц. Кроме Кувшинской и Шапиро, с которыми я расстался уже ночью, никто не мог знать, где я буду ночевать эту ночь, не знал этого и я сам, пока не пришла пора уходить. Поэтому невозможно допускать и мысли, что кто-то устроил мне западню, тем более что жандармы уже были в квартире Богомолова, когда я пришел туда, а не приехали после моего прихода.

Эта очевидная ошибочность рассказа Шишко об обстоятельствах моего ареста дала мне повод думать, что и в остальном он также ошибается, что в аресте Купреянова и других скорее всего сыграла роль простая невыдержанность наших же арестованных рабочих, капитулировавших пред угрозами жандармов. Теперь, после обстоятельного разъяснения по этому вопросу Ш. М. Левина, основанного на ряде документов, составляющих приложение к V тому дознания по «делу 193-х», не остается уже никакого сомнения, что в своих предположениях я был не прав и что в аресте Купреянова, Кропоткина, Кувшинской и других, а также и в аресте лучших рабочих были действительно повинны шпионы из рабочих.

ственные улики кому-нибудь серьезной неприятности? За письма рабочих я был совершенно спокоен, так как ни авторов их, ни фамилий лиц, упоминаемых в письмах, в них уже не было. Беспокоила меня несколько записка Шапиро. Я опасался, что по инициалам подписи доберутся и до ее автора. Хотя содержание записки и было невинное, но жандармы, несомненно, усмотрят в ней некий таинственный смысл и будут добираться до автора. Но когда один из жандармских чинов, добравшись наконец до этой записки, неожиданно для меня уверенным тоном воскликнул: «А, Леонид Шишко! Значит, он здесь!», я успокоился и не стал разуверять его, что это совсем не он, так как повредить Шишко, находящемуся уже на нелегальном положении и пребывающему в данное время в Москве, записка эта никоим образом не могла. К тому же ему легко доказать, что автор записки не он, для чего стоило только сравнить характерный крупный почерк записки с ничего общего не имеющим почерком самого Шишко. Нелегальные же книги и брошюры, и притом все в одном экземпляре, мало беспокоили меня. Тут была лишь моя личная ответственность, да и ответственность небольшая.

Но паспорт Шуравина? Это было уже много хуже. Конечно, я укажу, что захватил его совершенно случайно, без согласия Шуравина, и не укажу его адреса. Но все равно они найдут его и без меня, справившись лишь в адресном столе, и сделают обыск. А что он даст? Может быть, найдут нелегальщину, за которой неизбежно последует и арест? Мысль эта беспокоила меня, и я уже ругал себя, что не назвался своей собственной фамилией, но в то же время и не решался этого сделать, надеясь, что мне удастся как-нибудь проманежить жандармов, и обыска в эту ночь они у Шуравина не успеют сделать. На другой же день, узнав о моем аресте, приберутся, и тогда обыск будет не страшен.

По составлении протокола нас за неимением извозчиков повели, а не повезли, в разные стороны: Богомолова — прямо в III отделение, а меня — на квартиру Шуравина, указанную мною в первой же пришедшей мне на ум улице, а затем по другому адресу. По третьему адресу меня уже не повели, очевидно поняв, что я их преднамеренно обманываю. Отсюда

меня повели уже прямо к Цепному мосту, где на углу и находилось знаменитое III отделение, по приводе куда, не делая мне допроса, меня заперли в отдельную камеру.

Итак, я был арестован. Досада разбирала меня, что я попался так глупо и не обратил внимания на некоторые мелочи, которые должны бы были породить сомнения в благополучии квартиры Богомолова. Но сделанного уже не воротишь. Мне оставалось только утешить себя тем, что арест будет кратковременный, что самое большее я буду выслан куда-нибудь на север, откуда я сбегу. Тогда я еще не думал, что это уже начало конца, что я буду запечатан основательно и что вчерашний день был моим последним днем свободы и реальной связи с живым делом, которое меня захватило, и с товарищами по работе, к которым я искренне привязался и полюбил.

Заканчивая свое отрывочное повествование о кружке чайковцев и людях, входивших в него, я позволю себе для полноты картины сказать о движении в составе кружка и несколько заключительных слов.

Первоначальный состав петербургского кружка чайковцев, как он определился во второй половине 1871 г., состоял, о чем я уже говорил выше, из 17 человек. В 1872 г. в его состав вошли вновь: Сергей Михайлович Кравчинский, Петр Алексеевич Кропоткин, Сергей Силыч Синегуб, Анна Дмитриевна Кувшинская, Варвара Николаевна Батюшкова. В 1873 г. — Леонид Эммануилович Шишко, Лев Александрович Тихомиров (переехал из Москвы), Лариса Васильевна Синегуб (бывш. Чемоданова, жена Синегуба), Иван Гауэнштейн, Н. И. Драго, Зубок-Мокиевский и, наконец, в самом начале 1874 г. — Василий Львович Перовский (брат Софьи Львовны), Эндауров, и затем Цвиленев [27].

---

[27] В своей рецензии Ш. М. Левин, между прочим, указывает, что «при перечислении вступивших в кружок чайковцев в период 1873—1874 гг. опущен А. О. Лукашевич». Сделал это я вполне сознательно, так как уже раньше говорил о Лукашевиче как о члене одесско-херсонского отделения кружка чайковцев и тем самым он по прибытии в Петербург уже считался и членом петербургского. Согласен, что не о вступлении, а о кратковременной работе Лукашевича в петербургском кружке следовало бы сказать, как в аналогичном случае мною сказано было о Тихомирове.

Таким образом, за трехлетнее существование петербургского кружка чайковцев число членов его определилось в общей сложности в 30 человек, но на этом уровне оно никогда не держалось. Так, уже в конце 1871 г. из 17 человек состава кружка Натансона арестовывают, а затем высылают в Архангельскую губернию, Н. К. Лопатин перебирается в Киев. В начале 1872 г. Волховский перебирается в Одессу, а О. А. Шлейснер следует за мужем (Натансоном) в ссылку. Приблизительно во второй половине этого же года из кружка выходит Лермонтов. В конце 1873 г. и начале 1874 г. начинается разгром петербургского кружка чайковцев, а затем и его отделений, закончившийся летом этого последнего года. Из петербургского кружка остаются неарестованными лишь Клеменц, Кравчинский, Сердюков и Чайковский, а затем освобожденные из заключения Перовская и Л. И. Корнилова (Сердюкова), да вновь введенные Драго, Зубок-Мокиевский, Перовский и Эндауров *.

Около небольшого по составу кружка всегда был целый ряд лиц и отдельных кружков молодежи, не входивших по тем или иным причинам в его состав, но тесно связанных с ним и помогавших ему.

Кружок чайковцев никогда не стремился без особой нужды численно увеличивать свой состав, на что имелась полная возможность. Не количество, а качество ему было нужно и полная уверенность в том, что каждый вновь входящий в его состав не внесет никакого диссонанса в его тесно сплоченную семью с высокими требованиями к духовно-моральной стороне каждого из его членов. Великое дело освобождения, в особенности же когда приходилось закладывать лишь первые камни в его фундамент, должно делаться, по твердо установившемуся мнению кружка, лишь безусловно чистыми руками, свободными от каких-либо признаков грязи. Веря во всепобеждающую идею, в то же время требовали, чтобы и люди, исповедующие ее, не давали никакого повода врагам этой идеи бросать в них грязью и тем порочить не только лиц, но и саму идею, представителями которой они являются. Это обеспечивало сочувствие широких кругов не только к людям, но и к самому делу, которое они вели, а сочувствие в свою очередь порождало

уверенность, что начатое дело не останется без продолжателей, когда их деятельности будет положен конец. И можно сказать с уверенностью, что члены кружка никогда не позволили бы себе ввести в его состав или вступить в тесный контакт с людьми хотя бы и с большой революционной дееспособностью, но по своим личным качествам не удовлетворяющими моральным требованиям, что, к сожалению, уже нередко имело место при расширяющемся движении.

Вызванный к жизни идеями 60-х годов в связи с бедственным и бесправным положением масс и безнадежно реакционной политикой правительства, убившей в русском обществе всякую веру в разрешение легальным путем основных вопросов русской жизни, кружок чайковцев первоначально базируется в своей полулегальной деятельности на интеллигентских кругах, и в частности на лучшей части учащейся молодежи.

Путем широкого распространения известного содержания книг, деятельное участие в издательстве которых принимает и сам, и путем образования кружков саморазвития кружок идейно подготовляет молодежь и организует ее для той же цели, чтобы в более или менее ближайшем будущем направить подготовленные кадры революционных деятелей на работу в народные массы.

Мечтая о широком вовлечении интеллигентских кругов в свои планы, кружок с самого же возникновения своего принимает меры к созданию заграничного руководящего органа печати, могущего беспрепятственно освещать вопросы русской жизни и быть объединяющим центром в вопросах теории и практики русского революционного дела. Но мысль о таком органе печати, никогда не сходившая с очереди, могла осуществиться лишь во второй половине 1873 г., но и то не совсем в желательном для кружка виде.

Будучи по основным своим воззрениям социалистами-народниками, члены кружка далеко не были равнодушны и к вопросам политики. С одной стороны, лассалевская проповедь, которая многих из нас очаровала, а с другой — тягостный полицейский режим, не позволявший русскому человеку не только свободно двигаться, но и дышать, невольно заставляли ценить благо политической свободы. И некоторые

члены кружка в поисках базы для конституционных замыслов знакомятся с земской литературой и заводят связи с представителями земского элемента, но скоро разочаровываются в нем. Еще весной 1872 г. Клеменц рекомендует Кропоткину членов своего кружка как конституционалистов, а сам Кропоткин, уже анархически настроенный, предлагает использовать его связи в придворных кругах для конституционного переворота.

Но все эти конституционные искания, свидетельствующие лишь о жажде улучшения политических условий страны, важных для развития жизни, как построенные на песке, ни к чему не приводят и скоро оставляются совсем. Уже с конца 1871 г. отдельные члены кружка, а вскоре затем и большинство их переносят свою деятельность главным образом в рабочую среду, чтобы затем перенести ее и в крестьянскую, где и надеются найти более прочную базу, но уже и для более полного освобождения, а именно социально-политического. К такому же выводу пришло и собрание у профессора Таганцева еще в декабре 1871 г., где было отчетливо установлено при непосредственном содействии чайковцев, что в русских условиях некому бороться за конституционные свободы, кроме интеллигенции, но последняя сама по себе бессильна и лишь в тесном союзе с народными массами и при расширенной программе, близкой и понятной этим массам, может рассчитывать на победоносный исход борьбы за освобождение.

Встав на эту точку зрения, кружок чайковцев уже не сходит с нее до конца своих дней, усердно развивая и углубляя свою деятельность в рабоче-крестьянской среде, склоняя к тому же не только свои отделения, но влияя в этом же направлении и на широкие круги молодежи, которую он заражает своим увлечением.

Не без промахов и ошибок выполняется эта новая, завлекающая, но и особенно трудная в наших русских условиях, чисто кротовая работа. Невелики были и ее результаты, если смерить их на современный аршин. Но работой этой пробивалась брешь в неведомую до сих пор область, вырабатывались необходимые навыки, выяснялись способы лучшего доступа к уму и сердцу народа, создавалось необходимое настроение и формировались первые кадры, правда

немногочисленные, революционных деятелей из среды самого народа, что само по себе было уже большим плюсом.

Двухлетний опыт в рабоче-крестьянской среде и те выводы, к каким в результате ее пришел кружок чайковцев, с достаточною полнотою зафиксированы в практической части записки Кропоткина. Но к сожалению, короткий век кружка не дал ему возможности продолжить этот свой опыт и завершить выработку с большею полнотою и законченностью плана работы и задач на ближайшее будущее.

Кружок чайковцев, как я его понимал и о чем уже писал в своей автобиографии для энциклопедического словаря Гранат, несмотря на видимые успехи своей деятельности в рабочей среде, никогда не предавался иллюзиям о близкой революции. Тот же опыт, который уже имелся у него, предостерегал его от увлечений и убеждал в том, что начатое им дело потребует длительной подготовительной работы многих поколений революционных деятелей.

Мы не были ни лавристами, ни бакунистами в буквальном смысле этого слова и не считали возможным европейский революционный опыт целиком переносить на русскую почву, полагая, что совершенно своеобразные условия русской действительности обязывают и к изысканию в соответствии с этими последними самостоятельных путей для разрешения русской проблемы.

Занятые главным образом разрешением этой основной задачи, мы мало придавали значения программным вопросам, что помогало дружно идти вместе и людям, расходящимся в теоретических вопросах.

Мы отнюдь не были настроены против науки, но предупреждали лишь против увлечения ею в ущерб развитию общественных инстинктов.

«Тот же опыт наглядно научил нас ценить и политическую свободу, отсутствие которой ежедневно ставило нам непреоборимые препоны в нашей практической деятельности».

Но разработкой этих политических вопросов, добавлю я, не занимались, как не имеющих для данного времени практического значения, за неимением надлежащей базы для их решения, на подготовке которой сосредоточивалось все наше внимание. Поэтому нас

мало занимал и вопрос о будущем строе, установление которого, когда наступит для этого время, предоставлялось будущему всенародному земскому собору или учредительному собранию, долженствовавшим выразить народную волю по этому основному вопросу.

По всем этим соображениям дальше я писал, что «начавшееся со второй половины 1873 г. и продолжавшееся уже на деле в 1874 г. массовое стремление, а затем и движение нашей молодежи в народ, окрыляемое под влиянием проповеди Бакунина верой в немедленную общенародную революцию, не могло встретить положительного отношения в среде чайковцев, уже обладавших некоторым знакомством с народной средой и ее настроением».

Это стихийное движение, имеющее все признаки религиозного, недоступное ни критике, ни доводам разума, захватило всех, захватило оно и некоторых из чайковцев, по преимуществу провинциальных, оставшихся еще в живых. Тут уже трудно было разобрать, с какими лозунгами и заданиями и под каким знаменем каждый из них шел в эту «землю обетованную»; внешне, казалось, все были объединены в единое и однородное целое, но фактически оказывались разношерстными как по целям, так и по приемам воздействия на народные массы.

Кружок чайковцев с его отделениями к осени 1874 г. фактически перестал существовать. Разгром его, начатый еще немного раньше, закончился вместе с разгромом похода в народ, в котором и многие из уцелевших чайковцев также приняли участие. Те же единицы, что остались и после этого погрома, потрясенные предыдущими тяжелыми переживаниями, обессиленные и обескураженные, уже не представляли собою на первых порах какого-либо организованного целого и в силу необходимости должны были прежде всего заняться переоценкой ценностей. Почти целых пять лет длилась эта переоценка, за это время изжито было землевольчество, пока наконец политический вопрос 1879 г. не вырос в первоочередную задачу, а вместе с тем и не началась героическая борьба народовольцев с самодержавием. И бывшим чайковцам, как уцелевшим, так и освобожденным после «процесса 193-х», в лице Желябова, Перовской, Тихомирова, Н. Морозова, Фроленко, Франжоли и некоторых

других принадлежит одна из видных ролей в постановке этого вопроса во всем его объеме и проведении его в жизнь. Возможно, что в этом новом и решительном уклоне в сторону политики снова палка была перегнута слишком сильно в обратную сторону, что в свою очередь не могло не сказаться и на исходе борьбы. Видная же роль бывших чайковцев в постановке политического вопроса не свидетельствует ли также, что эти вопросы не чужды были им и раньше, но лишь заслонялись обширностью задачи по подготовке народных масс к участию в освободительной борьбе?

О кружке чайковцев уже многие писали и давали нередко яркие характеристики его облика. Это освобождает меня от необходимости повторяться, почему я и ограничусь лишь выпиской двух таких отзывов — В. Богучарского и П. А. Кропоткина.

«Не в силу только резкого перехода от «нечаевщины» к «чайковцам», — пишет первый в своей книге «Активное народничество 70-х годов», — испытываешь ощущение, будто из душного подземелья попадаешь сразу на залитый солнцем, благоухающий луг, а по той причине, что «кружок чайковцев» и сам по себе представляет, несомненно, одно из самых светлых явлений даже и среди других кружков того русского юношества семидесятых годов, которое дало так много примеров настоящего морального подвижничества» [28].

«Никогда впоследствии, — пишет второй, — не встречал я такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первых заседаниях кружка чайковцев. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью» [29].

Этими краткими отзывами о кружке чайковцев я и заключу свое повествование о нем, к сожалению, далеко не полное и не исчерпывающее всего содержания его жизни, все же довольно продолжительной по сравнению с другими аналогичными организациями.

С ним и с лицами, входившими в его состав, и у меня связаны самые лучшие и светлые воспоминания

---

[28] *В. Богучарский*. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912, стр. 152.

[29] *П. А. Кропоткин*. Записки революционера, стр. 290.

моей жизни, никогда не умиравшие во мне, где бы и в каких бы условиях я ни находился, и помогавшие мне бодро переносить испытания, посылаемые судьбой. Как и Кропоткин, как, несомненно, и все, входившие в состав кружка, считаю и для себя большою честью, «что был принят в такую семью».

XI
По тюрьмам

Кратковременное пребывание в III отделении и полицейской части. В Литовском замке без книг и передач с воли. Новый допрос в связи с разгромом Выборгского района и измена части рабочих. Отказ от показаний. Каторга обеспечена. Тяжелые переживания. Перевод на второй год заключения в крепость. Условия жизни в ней. Моя болезнь и настроение. Временный перевод в Дом предварительного заключения. Условия жизни в нем. Неудачная попытка к побегу совместно с Коваликом и Войнаральским. Обратный перевод в крепость. Обвинительный акт. Первое свидание с братом. Боголюбовско-треповская история

Камера III отделения, куда я был заперт, была большая, высокая, светлая и чистая, где не без удовольствия можно было бы жить, если бы она была вольной квартирой, а не камерой для заключенного. Не менее чистые постельные принадлежности, отличный стол и даже пачка папирос при вежливом обращении прислуживающих надзирающих жандармов дополняли ту внешнюю обстановку начала моей подневольной жизни. Все, казалось, располагало к покою и благодушному настроению, в особенности после тревожной кочевой жизни на воле, которую мне приходилось вести последние месяцы. Но сознание, что ты арестант, отрезанный от живого мира и своих друзей, что это внешнее благополучие может быть даже преднамеренное, портило впечатление от этой внешней обстановки и лишало ее всякой цены.

За поздним временем по приводе меня в III отделение допроса мне сделано не было, и состоялся он лишь

на следующий день. Мне было совершенно неизвестно, какие данные имелись у III отделения о моей *преступной* деятельности, почему за неимением материала я за ночь мог обдумать ответы лишь на те вопросы, которые естественно вытекали из обстоятельств моего ареста.

В большой комнате, куда меня привели, за большим столом сидело уже несколько человек во главе с Кононовым. После того, как по предложению я уселся за тем же столом, за которым сидели и жандармы, но у противоположного конца его, начался допрос, веденный все время в крайне вежливой форме. Допрос все вертелся на паспорте Шуравина и на тех книгах и письмах, которые были отобраны у меня. О паспорте я сказал, что захватил его случайно и воспользовался им при аресте, а удовлетворить любопытство жандармов относительно того, от кого получены мною книги и письма, отказался. На этом допрос и окончился. Для меня было очевидно, что других данных против меня в III отделении пока не было, а потому я укрепился в мысли, что дело окончится пустяками, самое большое — высылкой.

Больше меня уже не беспокоили и предоставили самому судить, с точки зрения моих интересов, о правильности моего поведения на допросе. Изменить же свои показания я, разумеется, не думал, но меня все время беспокоила судьба Шуравина, которого я, не желая того, впутал в дело. Что с ним? Был ли у него обыск и не нашли ли у него на квартире чего-нибудь компрометирующего? Допрос на этот счет не дал мне никаких указаний, и я только много позднее узнал, что в ту же ночь у него на квартире, в которой жили и другие вятичи, студенты Медицинской академии, был произведен обыск, но безрезультатный, и никто из живущих в ней не пострадал. Узнал я также, что благополучие это получилось лишь благодаря чистой случайности: в квартире, как вполне благонадежной, находился значительный склад нелегальщины, размещенной во внутренней части турецкого дивана, вскрыть который жандармы не догадались.

Мое пребывание в III отделении было кратковременно — всего три-четыре дня, но и за этот короткий период времени уже можно было установить, что жизнь там шла усиленным темпом. Постоянно, осо-

бенно по ночам, кого-то приводили, раздавалось звяканье шпор многих людей и щелканье дверных замков. Я знал, что среди жандармов имеется свой человек, через посредство которого можно было бы узнать о вновь приводимых арестованных и снестись с волей, но я не знал его фамилии и не пытался выяснить это, ибо не было в этом необходимости. Сношения с волей все равно при настоящих обстоятельствах помочь делу не могли бы, а сноситься без крайней необходимости, лишь ради удовлетворения, хотя бы и вполне законного, любопытства, я считал непозволительным для себя.

Не успел я еще как следует осмотреться и сориентироваться в моей новой обстановке, как меня уже перевели в какую-то полицейскую часть, должно быть в Спасскую, где и поместили в большую одиночную камеру. Перевод в часть, а не в крепость или в Дом предварительного заключения я объяснял себе назначением меня к скорой высылке. Здесь я все ждал, что кто-нибудь явится ко мне на свидание или даст о себе знать доставкой провизии, книг или денег. Но, к моему удивлению, ни того, ни другого не было, что меня немало начинало беспокоить. Уж все ли благополучно на воле, не арестованы ли и все мои друзья? Обреченный на безделье и лишенный всякой возможности занять себя чтением за неимением книг, я носился по своей камере, предаваясь мрачным предположениям.

Но и пребывание мое в части было так же непродолжительно, как и в III отделении. Дней через девять после моего водворения сюда снова появились жандармы, снова карета, и меня везут куда-то по улицам Петербурга, а куда — не говорят. Проделав довольно длинный путь, карета останавливается у какого-то огромного белого здания, и мне предлагают выходить. После кратких переговоров двойные железные ворота гостеприимно растворяются и меня сдают под расписку новому начальству. На этот раз я уже оказываюсь в знаменитом Литовском замке — огромной пересыльной тюрьме, переполненной уголовными арестантами, смотрителем которой состоял некто Марков, очевидно, из полицейских чиновников. Это был дюжий детина высокого роста, с налитыми кровью глазами и лицом, с зычным голосом, грубый, привыкший повелевать и

расправляться и не допускавший никаких возражений. К счастью, этот зверь в человеческом образе редко посещал тюрьму, а то бы жизнь в Литовском замке была невыносима. За мое длительное пребывание в замке он, кажется, раз или два посетил мою камеру, но и тут дело не обошлось без скандала. Учуяв запах табака в моей камере, он пришел в ярость, закричал и затопал ногами, не давая мне вымолвить слова. Оторопев от неожиданного и совершенно бессмысленного нападения, я с недоумением смотрел на этого разъяренного зверя, который так же быстро исчез, как и появился, сопровождая свой уход угрозами по моему адресу.

Поместили меня в замке в одной из 12 секретных камер мужского отделения, смежных с общими камерами уголовников. Камера довольно значительных размеров, опрятная, с окнами, выходящими на обширный тюремный двор, и с видом на входные ворота, благодаря чему я имел возможность наблюдать довольно бойкую жизнь тюремного двора. В соседних же уголовных камерах шуму было также немало, а по утрам, перед обедом и вечерами перед сном там раздавалось и общее пение молитв.

Не то было в секретном отделении, где в это время я был едва ли не единственным обитателем, обреченным на полное одиночество и не знающим, как скоротать время. Книг мне упорно не давали, не хотели дать даже евангелия, причем кормили отвратительно. Пища была обычная, тюремная — баланда да какая-нибудь каша. Я постоянно голодал, а пополнить недостатки питания покупкой какой-нибудь провизии я не мог, так как весь наличный капитал мой состоял всего лишь из 5 коп., которые я берег на черный день. Воля по-прежнему безмолвствовала. Такое забвение попавших в беду было совсем необычно. Значит, думал я, и там творится что-то совсем неладное.

Так шли дни за днями в полной неизвестности как о судьбе оставшихся товарищей, так и о своей собственной. Меня как будто совсем забыли, никто меня не допрашивал и никто не сообщал мне, что намерены делать со мною дальше.

Не помню хорошо, но приблизительно недели через две-три я наконец решился истратить свой капитал, на который и была куплена французская булка.

Но не столько этой булке обрадовался я, как той, исписанной старинным почерком бумаге, в которую эта булка была завернута. Я с жадностью набросился на нее и перечитывал ее несколько раз, хотя по своему содержанию она и не заслуживала этого. Но за эти три-четыре недели я так изголодался по печатному слову, что был рад и этому исписанному лоскутку бумаги.

Настроение мое от безделья и полной неизвестности о моей дальнейшей судьбе было отвратительно; занять себя чем-либо не было никакой возможности, и мне оставалось лишь или лежать на постели, или бегать из угла в угол по камере с головой, постоянно занятой то обозрением и критикой прошлого, то постройкой фантастических замков, что в результате приводило к крайнему нервному возбуждению и полному одурению. Совершенно обессиленный таким нездоровым времяпрепровождением, я снова ложился, чтобы забыться и отдохнуть, а затем опять принимался за то же самое.

Так тянулось мучительно и бессмысленно время в течение почти трех долгих месяцев, когда наконец в камеру ко мне прилетела с воли ласточка в лице товарища прокурора Кобыльского, впоследствии сенатора и члена Государственного совета из правых. Маленький, черненький, живой, как угорь, с радостной улыбкой, казалось, он явился ко мне с необыкновенно приятными для меня вестями. Когда же я стал сетовать ему на непозволительную затяжку моего несложного дела, на неизвестность моей дальнейшей судьбы, а также и на то, что держат меня без книг, на отвратительной пище и прочее, то, продолжая улыбаться, он успокаивал меня, заявив: «Подождите еще несколько дней, вот мы вызовем вас, и все разъяснится!» Так, не сказав ничего определенного, он такой же сияющий и улыбающийся вылетел из моей камеры.

И действительно, через несколько дней в конце марта или в начале апреля 1874 г. я был снова привезен в III отделение, где мне тот же улыбающийся Кобыльский, не говоря ни слова, подсунул толстое дело, сказав: «Вот, прочтите!» — и ткнул пальцем на страницу дела.

Здесь мне прежде всего бросилось в глаза лаконичное показание Кропоткина, которым он в катего-

рической форме отказывался от дачи каких-либо объяснений, а затем уже внимание мое остановилось на показании совсем иного характера трех рабочих, входивших в состав выборгского рабочего ядра, в котором они кратко, но с подчеркнутой выразительностью и явным извращением фактов излагали сущность моих бесед с рабочими.

Я был ошеломлен изменой этих людей, в которых верил, которые, казалось, вполне искренне отдавались идее и делу и не должны бы так быстро капитулировать перед угрозами жандармов. Показания были немногословны и, видимо, написаны под диктовку жандармов или того же Кобыльского. Оставлять без протеста и надлежащего разъяснения эти показания, извращающие характер моей пропаганды, казалось, было невозможно, но протест голословный, без ссылки на свидетелей, не имел никакого смысла. Ссылаться же на кого-либо из тех же рабочих значило еще больше запутывать дело и давать новый материал в руки жандармов. Выхода из создавшегося положения не было, кроме отказа по примеру Кропоткина совсем от дачи каких-либо показаний, что я и сделал.

Участники допроса, видимо, внимательно следили за игрой моей физиономии в течение нескольких секунд моего мучительного раздумья и не говорили ни слова. И только когда я дал свой ответ, Кобыльский с кривой улыбкой, которая, кажется, не сходила с его лица, не мог удержаться, чтобы не сказать: «Каторги теперь вам не миновать!», с чем внутренне я не мог не согласиться. На этом допрос и закончился. Никаких попыток убедить меня изменить мои показания сделано не было, как не пытались допрашивающие задавать мне и другие вопросы о лицах, причастных к делу, считая это, очевидно, напрасной тратой времени.

Целых трое суток по возвращении моем снова в камеру Литовского замка я провел в каком-то невероятно кошмарном состоянии. Все, чем я жил и во что верил, было разрушено. Друзья и товарищи по делу погибли, и я не знал, сохранился ли кто-нибудь из них; погибло и самое дело, а рабочие, хотя бы только в числе трех, в дело которых я вкладывал свою душу, оказались предателями! В довершение же всего и лично на себе приходилось ставить крест, так как, еще

будучи на воле, я твердо был уверен, что выдержать тюремное заключение, в особенности же такое, какое мне преподнесли, я смогу лишь год, много полтора. Всем этим я был выбит из колеи, на душе был полный мрак и абсолютная пустота.

Но мало-помалу острота переживания стала ослабевать, а вместе с тем возвращалось и более спокойное состояние, позволяющее лучше осмыслить создавшееся положение. Разум начал входить в свои права и окончательно рассеял мрак, окутывавший меня. Ну, что ж, думалось мне, погибли мы, а с нами и дело, которое мы вели. Конечно, страшно жаль и обидно, но разве мы не предусматривали этого раньше и не были готовы к такому финалу? Но с другой стороны, разве вместе с нами погибла и та идея, которая воодушевляла не только нас, но воодушевляла и будет воодушевлять целые полки других людей, которые заступят наше место и продолжат начатое дело и, без сомнения, еще с большей энергией и увлечением, чем делали это мы? Идея наша жизненна и умереть не может, а гибель наша, если она только не будет сопровождаться малодушием и изменой своим убеждениям, подольет лишь только масла в огонь и сама по себе пойдет на пользу тому же делу.

Встав на такую точку зрения, я совершенно успокоился. Кроме того, явилась и цель дальнейшего существования в тюремном застенке: ни в каком случае не падать духом, бодро переносить свое заточение, какие бы испытания тебе ни предстояли, и тем непрестанно свидетельствовать о верности тому делу, за которое очутился в заточении.

После последнего допроса, когда в руках следователей оказался уже достаточный материал, чтобы основательно упечатать меня, им уже не было нужды добиваться моей капитуляции при посредстве экстраординарных мер, принимаемых в отношении меня. И действительно, вскоре же мне были доставлены с воли книги, деньги и регулярно стала доставляться и пища. Не были разрешены только свидания, каковые допускались только с родственниками, а таковых тогда в Петербурге никого у меня не было.

С этого времени у меня всегда были книги, которые я мог читать, сколько мог и хотел, и я уже не испытывал того голода, который в последние три месяца

постоянно ощущал благодаря отвратительной тюремной пище. В то же время эти таинственные и регулярные приношения с воли свидетельствовали, что там не все еще погибло, что есть и люди, которые имеют возможность заботиться о тех, кто попал уже в беду, что для сидящих было далеко не безразлично и поднимало их настроение. И я каждый раз с нетерпением и тревогой ждал наступления очередного дня, когда производился прием передач. Не столько содержимое этих передач интересовало меня, как самый приход с ними неведомых мне людей, свидетельствовавших, что «курилка еще жив».

Однообразна и тягуча была моя жизнь в Литовском замке. Отрезанный от всего живого мира, я был предоставлен исключительно лишь самому себе. Даже стражи мои были молчаливы и избегали разговоров с секретным арестантом. Связаться с волей я не пытался, так как не хотел подвергать адресатов возможным неприятным случайностям.

Не пробовал я прибегать и к легальной переписке, не писал даже матери, которая меня всего больше беспокоила. Я знал, что своим арестом я нанес ей жестокий удар, но что утешительного я мог сообщить ей? Миропонимание же наше было настолько различно, что она все равно не поняла бы мотивов моего поведения, приведшего меня к тюрьме. Мои письма, думалось мне, будут только растравлять ее раны и не облегчат ее тяжелых переживаний. Пусть же, думал я, она поскорее забудет меня и вычеркнет из списка живых. К этим мотивам для отказа от легальной переписки присоединялись еще и другие, не менее веские для меня. Я не мог заставить себя сесть за письмо, не сухое деловое письмо, а интимного характера, зная, что прежде всего его будут читать жандармы, может быть, смаковать его, оценивать по нему мое настроение, одна мысль о чем лишала меня мужества приняться за него. И за все 4 года моего предварительного заключения я не написал никому ни строчки, а равно и не получал ни от кого.

В Литовском замке пребывание мое длилось больше года, причем каждый новый день был точной копией предыдущего. Вставал с постели, приводил себя в порядок, принимал в обычное время пищу, читал, уделял на это то больше, то меньше времени,

в зависимости от настроения и состояния моих все больше и больше расшатывающихся нервов, наблюдал из окна камеры тюремную жизнь двора или прислушивался к шумам и гомону, а то и нескладному пению, доносившемуся до меня из уголовных камер. Иногда выводили меня на короткую прогулку в небольшую загородку во внутреннем дворе, примыкающую к зданию тюрьмы, но эти бессмысленные прогулки я не любил и неохотно выходил на них. Не получая никаких внешних впечатлений, голова моя была в постоянной работе, часто совсем фантастического характера, благодаря чему она быстро утомлялась, и я нередко доходил до полного изнеможения и одурения. Только сон, на который я еще не мог пожаловаться, снова приводил мою уставшую голову в порядок. Но и этот последний не всегда приносил мне успокоение. Одно время, не знаю почему, мне все снились гимназические экзамены, казалось бы, уже давно отошедшие в область преданий. Во сне я снова переживал их со всею реальностью, испытывая те же волнения, какие приходилось испытывать в действительности, в особенности при сдаче нелюбимых предметов, в которых я был далеко не достаточно силен. И как же я был рад и доволен, когда, просыпаясь, я устанавливал наконец, что я в тюрьме, что ни с какими экзаменами мне больше дела иметь уже не придется!

Тюремное время из-за своей нудной однообразности тянулось мучительно медленно, хотя, с другой стороны, и казалось, что оно летит необыкновенно быстро. Прожив в тюрьме уже многие месяцы, благодаря тому же однообразию казалось, что от вольной жизни ты отдален еще небольшим протяжением времени, хотя эта вольная жизнь уже покрывалась какой-то дымкой, краски бледнели, и лишь временами она вставала перед глазами во всей своей чарующей прелести. И тогда ярче и мучительнее чувствовалось, что то далекое и дорогое уже не для тебя.

Все время моего пребывания в Литовском замке после решающего допроса я прожил никем не тревожимый. И лишь наскок смотрителя Маркова, о котором я уже говорил, да посещение моей камеры дамой-патронессой, г-жой Гернгросс, нарушали это однообразие. Лично этой последней я не знал, но мне было известно,

что она находилась в добрых отношениях с сестрами Корниловыми, не раз пользовавшимися ею при сношениях с заключенными, доступ к которым она имела по своему положению. Я был рад видеть это первое за время моей тюремной жизни благорасположенное человеческое лицо, тем более, что я был уверен, что ее визит — неспроста, что она пришла с каким-либо поручением от близких мне людей с воли. Но к сожалению, пришла она ко мне не одна, а под надзором и в сопровождении тюремного начальства, почему беседа наша ограничилась общим, ничего не значащим разговором. Так она и ушла, не сказав мне того, что, может быть, ей было поручено сказать.

Как всегда, всему бывает конец: наступил таковой и моему пребыванию в опостылевшем мне Литовском замке. Как-то под вечер мне принесли мою одежду из цейхгауза, попросили собрать мои вещи и следовать за надзирателем. В конторе меня встретили опять жандармы, которые посадили меня в карету и повезли неведомо куда. Долго мы ехали через весь город, на движущийся поток которого я засматривался из окна кареты, ища среди него знакомых и дорогих лиц, но, разумеется, тщетно. Но вот мы уже перебрались через Неву и очутились перед воротами Петропавловской крепости, через которые едем прямо к Трубецкому бастиону. В кордегардии, куда меня привели, меня раздевают, тщательно обыскивают, и затем я одеваюсь уже во все казенное, т. е. нижнее белье, халат и туфли. По выполнении этой предварительной процедуры смотритель Богородский, маленький усатый человек с круглыми глазами, предлагает мне следовать за ним. Под эскортом уже крепостной стражи мы поднимаемся в верхний этаж, где меня и запирают в одной из свободных камер.

Камера большая и высокая, длиною 9—10 шагов, шириною 5—6, с асфальтовым полом, с небольшим с железной решеткой полукруглым окном почти под самым потолком, через которое виднелись лишь верхняя часть крепостной стены и кусочек неба; затем кровать, маленький столик и табуретка да в одном углу умывальник, а в другом — неизменная параша — такова обстановка моего нового жилья. Стены камеры, смежные с соседними, были обиты войлоком и оклеены обоями, что делало их незвукопроводными,

а в толстой входной двери была проделана форточка, открывавшаяся лишь тогда, когда подавали пищу. Над этой форточкой имелась еще небольшая щель со вставленным в нее стеклом, именуемая глазком и предназначенная для наблюдения за арестантом. Закрывалась она деревянной пластинкой со стороны коридора, которая по желанию надзирателя поднималась и опускалась, когда наблюдение оканчивалось.

Сделав мне кое-какие наставления о том, как я должен себя вести, смотритель и стража удалились. Щелкнул замок толстой дубовой двери, и я остался снова в полном одиночестве. Кругом царила убийственная мертвая тишина, нарушаемая лишь через каждые 10—15 минут крадущимися шагами дежурного часового, который, подойдя к двери камеры, неизбежно и осторожно поднимал защелку глазка, в который устремлялись на тебя два глаза. В первое время это занимало меня, потом раздражало, а позднее приводило в раж. Из внешнего же мира в камеру доносился лишь какой-то заглушенный шум, идущий из заречной части большого города, да отчетливо слышимый каждую четверть часа меланхолический перезвон петропавловских часов. В полдень же раздавался оглушительный выстрел петропавловской пушки, который от неожиданности нередко пугал меня.

Эта тишина после непрестанного шума, производимого уголовными арестантами Литовского замка, в первые дни мне даже нравилась. Приятно был я поражен чистым постельным и носильным бельем, еженедельно сменяемым, отличным столом, состоящим из двух хорошо приготовленных блюд, а в праздничные дни — и из трех, вежливым обращением и возможностью беспрепятственно пользоваться книгами из довольно богатой тюремной библиотеки. Через день, а то и через два приносилось мне верхнее платье, и меня вели на получасовую прогулку во внутренний дворик, посредине которого была расположена баня, а кругом него возвышалась стена нашего каземата.

Крепость, по всем видимостям, была населена, но кем — узнать не было никакой возможности, так как надзор был строгий, а стража была неприступна и безмолвствовала, ограничиваясь за весь день лишь вопросом: «Что вам купить сегодня?»

Отрезанный от мира, не имея ни переписки, ни свиданий и окруженный лишь молчаливыми стражами, я решительно не имел никакого представления о том, что делается на воле, кто там еще жив и кто арестован. Газет нам читать не полагалось, журналы же хотя и выдавались, но лишь за прежние годы. Начальство меня тоже забыло, ни на какие допросы не вызывало, не показывалось и само. Между тем заключение мое уже перевалило за вторую половину второго года, а каких-либо признаков в движении моего дела не было.

Довольный в первое время своим перемещением из Литовского замка в крепость, я усиленно принялся за чтение, в книгах же недостатка не было. Но могильная тишина и полное отсутствие внешних впечатлений, даже таких, какие я получал в Литовском замке благодаря соседству с уголовными, скоро стали угнетать меня. Страстно хотелось видеть людей и слышать живое слово, обменяться впечатлениями о всем пережитом и передуманном за эти долгие месяцы одиночного заключения, но, кроме голых стен, беседовать было не с кем. От одиночества и постоянного и почти абсолютного молчания я понемногу даже стал утрачивать способность речи и забывать самые обычные слова. Только одно чтение, которому я отдавал большую часть своего времени, еще спасало меня от полного одурения. Но и чтение нередко только волновало меня, в особенности когда оно приковывало мое внимание к убогой русской действительности. Я уже не мог читать ни Щедрина, ни Глеба Успенского, которых я особенно любил, а когда решался на это, то всякий раз, не окончив даже той или другой статьи, бросал книгу.

Отрешиться от русской действительности, даже сидя в четырех стенах, я не мог, она всегда была перед моими глазами и всегда волновала меня. Эти тюремные стены, эти стражи и мое подневольное положение — все говорило о ней же. Естественно, что мысль моя постоянно была сосредоточена на этом больном вопросе и не давала мне в моем уединении ни отдыха, ни покоя. Размышляя на эти темы, я неизбежно приходил к выводу, как делал уже это и раньше, что основное зло нашей жизни — в полицейской государственности, которая парализует всякую

жизнь страны, как духовную, так и материальную. Нищета, невежество и полное бесправие народных масс — неизбежный и логический продукт этого режима, с которым он добровольно никогда не расстанется, так как на этих трех китах покоится собственное его благополучие и безнаказанность. Поэтому борьба с этим режимом должна вестись прежде всего. Оценивая с этой точки зрения путь, избранный нами, — пробуждение сознания в народных массах и организация таковых для активной борьбы за освобождение, — нельзя было не признать его правильным, ибо только он в конечном итоге обеспечивал победоносную борьбу. Но, признавая это, я в то же время приходил к выводу, что здесь мы слишком перегибали палку, отмахиваясь от всех тех, кто был не вполне с нами. Силы наши были невелики, рассчитывать же на быстрый рост их при исключительной трудности самого пути и наличии могущественного, бдительного и хорошо организованного противника было нельзя, а потому нельзя было и надеяться на сравнительную успешность самой борьбы только с этими силами.

К политической борьбе, в особенности же в первоначальной ее стадии, думалось мне, должны быть привлечены все живые силы страны, кто бы они ни были, и всякий шаг их, клонящийся к расшатыванию полицейской государственности, и всякие завоевания в этой области могли быть только приветствуемы. Эта борьба по всем фронтам, может быть, нередко и мелочная и по существу малозаметная и неяркая, содействуя расширению области общественной самодеятельности, в то же время создает и соответствующее настроение, что не могло не сказаться и на основной работе в народных массах как в смысле ее расширения, так и в смысле ее углубления. У сильного и организованного противника, думалось мне, только соединенными силами и шаг за шагом возможно отбивать позиции, чтобы затем, когда силы накопятся, а противник от натиска со всех сторон придет в расстройство, одним ударом покончить с ним. И бояться нам этого разношерстного участия в борьбе нечего, так как все дороги, в особенности в условиях русской действительности, ведут только в Рим!..

К таким выводам я приходил, размышляя в своем одиночестве о ближайших судьбах России и способах

выхода ее из теперешнего безнадежного состояния. Но эти размышления, всегда волнующие, не могли, разумеется, заполнить жизнь узника и внести в нее мир и успокоение. Напротив, и они, как и все в этой могиле, обрекавшей на бездействие, только трепали нервы, и хотя дух мой оставался бодрым, но я уже временами начинал побаиваться самого худшего — сумасшествия. Смерть, к которой я был давно приготовлен, все не приходила, а возможное безумие страшило меня.

К моему несчастью, соседей по камере, по-видимому, у меня не было, так как там все было тихо и спокойно и двери смежных камер никогда не отворялись, а стало быть, и пытаться войти в сношение с кем-нибудь при помощи стука было нечего.

К тому же азбуки я не знал и научиться ей было негде: в Литовском замке я сидел один в секретных камерах, в крепости тоже соседние камеры были пусты. Но вот как-то однажды, уже через много времени после перевода меня в эту последнюю, раздался тихий, но отчетливый стук, который настойчиво повторялся. Живая душа! — как молния, мелькнуло у меня в голове, и я кинулся к правой стенке своей камеры, откуда, казалось, исходил звук, чтобы ответить на призыв. Но, увы! стена молчала и никакого звука не дала. Вспомнив, что это так и должно быть, я бросился к наружной стене, которая не была обтянута кошмой, и простучал, на что тотчас же получил ответ, но, что он значил, я, не зная азбуки, понять не мог. Так мы бесплодно перестукивались еще некоторое время, пока дверь моей камеры внезапно не отворилась и в камеру не влетел смотритель с грозным окриком, что стучать нельзя. Смотритель ушел, но глазок в дверях после этого непрерывно открывался, и два глаза, показывавшиеся в нем, внимательно следили за каждым моим движением. То же было и в следующие дни, что мешало нам продолжать начатый разговор. Так на этот раз я и не узнал, кто была эта живая душа, которая добивалась общения со мною; не успел я освоиться и с азбукой и разобраться в ней. Но уже одно сознание того, что тут, рядом с тобой, есть живой человек, может быть, даже друг, действовало благодетельно и как бы смягчало одиночество.

Не знаю, по каким причинам, то ли вследствие некоторой сырости помещения, или недостаточности одежды, но месяца через два-три после перевода в крепость у меня начались мучительные зубные боли, которые не давали мне покоя. К зубной боли вскоре присоединился еще хронический катар желудка, также не поддававшийся лечению. Тюремный доктор Вильямс, лечивший меня, перепробовал на мне многое из латинской кухни, но все было тщетно. Особенно мучительны были зубные боли, действовавшие на нервы и на голову, нередко доводившие меня до исступления. В моменты особенной остроты этих болей, чтобы хотя несколько облегчить их, я хватался руками за спинку железной кровати, упирался в нее ногами и изо всех сил тянул ее к себе. Это чисто физическое усилие временно облегчало боль и давало некоторую передышку; к нему я и прибегал всегда, когда терпеть становилось невыносимо.

В начале 1876 г., с передачей нашего дела в руки прокуратуры, я, как и многие другие, был временно переведен в Дом предварительного заключения. В своем роде это был для меня праздник. Самый переезд, затем новая обстановка на новом месте — все занимало меня и вносило в мою унылую жизнь некоторое разнообразие. Правда, первые впечатления от Дома предварительного заключения были не в пользу его. Маленькая, почти микроскопическая камера с низким потолком после большой и высокой камеры в крепости угнетала меня. Кормили тоже много хуже, чем в крепости. На обед подавались щи и каша, а утром и вечером — кипяток с двумя-тремя фунтами хлеба, по качеству значительно хуже крепостного.

Миниатюрная камера эта загромождалась еще кроватью, табуреткой и столиком, прикрепленными к стене, и стульчаком и раковиной для умывания, помещавшимися в углу под окном. Само же окно небольшого размера, с двумя железными рамами и матовыми стеклами, выходящее во внутренний двор, куда водили на прогулку заключенных, расположено было под самым потолком, и добраться до него можно было, только встав на стульчак. Этим же путем можно было и приоткрыть его, но лишь на длину короткой цепи, которой были связаны верхние части рамы с карнизом окна.

В общем итоге новое мое жилище было попросту каменным гробом с маленьким отверстием под потолком, и бегать в нем из угла в угол, иногда целыми часами, как это нередко бывало в крепости, уже не было никакой возможности.

Но странное дело! С переездом в Дом предварительного заключения и с переходом на упрощенную пищу моего не поддающегося лечению катара как не бывало! И произошло это как-то само собой, без всякого медицинского содействия. Почти одновременно с этим прекратились и мои зубные боли. Вероятно, сухой воздух моей камеры и более упрощенная, а может быть, даже и недостаточная пища, с преобладанием в ней гречневой каши, которой я отдавал предпочтение перед всем остальным, были непосредственной причиной моего столь неожиданного избавления от мучивших меня недугов. Обстоятельство это не могло, конечно, не сказаться и на изменении моих первых неблагоприятных впечатлений от Дома предварительного заключения.

Постепенно стали выплывать и некоторые другие положительные стороны его, заставившие забыть крайнюю тесноту помещения. Надзор здесь был менее строг, чем в крепости, ненавистный глазок не беспокоил и не волновал меня более, стража в лице надзирателей не была так вымуштрована и молчалива, как там, и с ней можно было перекинуться парой слов. Нас не одевали более в больничный халат и туфли, и мы носили свою одежду, а главное, здесь не чувствовалось той могильной тишины, какая была в крепости. Помещенный в одну из камер 3-й галереи шестиэтажного здания тюрьмы, я благодаря удивительному резонансу ее мог если не видеть, то ощущать при помощи звуковых впечатлений жизнь тюрьмы и не чувствовать уже убийственного одиночества. Я знал, что тюрьма населена, что в недрах ее находятся и мои близкие друзья и товарищи, собранные со всех концов страны, с некоторыми из них приходилось даже мимолетно встречаться на узкой галерее, когда меня выводили из камеры на прогулку или по другим каким надобностям.

Сидя в своей камере, я не мог, конечно, тотчас же не обратить внимание на раздающиеся в разных концах тюрьмы стуки, отчетливо воспринимаемые, осо-

бенно вечером, когда жизнь огромной тюрьмы затихала, а вместе с этим начиналась другая таинственная жизнь, сопровождаемая этими характерными звуками. Я знал, что звуки эти исходят от заключенных, что при помощи их последние вступают в общение между собою, и стал прислушиваться к ним, чтобы понять технику этих переговоров. Скоро она стала мне понятна, и я не преминул, разумеется, воспользоваться этой несложной азбукой, чтобы и в свою очередь принять участие в общей жизни тюрьмы. Не имея практики, я первоначально перестукивался очень медленно и неумело, но скоро это прошло, и я вполне овладел техникой переговоров и не уступал в этом отношении другим. Тут все было звукопроводно: и стены, и особенно металлические трубы, проходящие через камеру с самого верхнего этажа до нижнего, звукопроводен был даже и пол, густые звуки которого от удара ногою свободно доносились в вечернюю пору из одного конца здания до другого. Ко времени, когда меня перевели в Дом предварительного заключения, борьба с перестукиванием уже давно была прекращена, и оно продолжалось беспрепятственно, не обращая на себя никакого внимания со стороны надзора. Спервоначалу и само начальство было немало удивлено такой звукопроводностью своей новой и усовершенствованной тюрьмы, предназначенной для строгой изоляции, оно усиленно боролось со злом перестукивания, но скоро, сознав свое полное бессилие в борьбе с ним, махнуло на него рукой.

Точно так же вынуждено было оно махнуть рукой и на так называемые клубы, устраиваемые заключенными уже для словесных бесед между собою при помощи очищенных стульчаков, трубы которых проходили с верхнего этажа до нижнего. Усаживаясь около своего стульчака, заключенный вызывал своих товарищей, сидящих выше или ниже его, а вслед за тем начиналась беседа, длившаяся иногда целыми часами. Я не любил этот способ сношений и редко прибегал к нему, к тому же он и сильно утомлял меня.

Кроме указанных выше способов сношений с заключенными существовал еще и третий вид их — переписка. Уголовные арестанты, прислуживающие при раздаче пищи, а затем и некоторые надзиратели за

небольшую мзду, а то и просто из одного расположения к арестованным охотно передавали записки от одного к другому.

Благодаря всем этим не совсем обычным условиям тюремной жизни пребывание в Доме предварительного заключения было сносно и некоторым образом могло почитаться даже за отдых после заключения в Литовском замке или крепости. Но все же это была хотя и милостивая, но тюрьма, которая не могла не угнетать, особенно при сознании безнадежности своей дальнейшей судьбы. В перспективе же, кроме тюрьмы, может быть еще горшей, и медленного умирания, ничего не было видно, так как на сколько-нибудь благоприятный исход дела я совсем уже не рассчитывал.

И вот в это-то время, приблизительно в марте 1876 г., я получаю предложение, кажется от Ковалика, принять участие в побеге из тюрьмы, который он и Войнаральский подготовляли. Предложение было заманчиво и сильно взволновало меня. Воля, которую я считал окончательно потерянной для себя, встала перед моими глазами со всею своею яркостью и соблазнительностью, благодаря чему я, не раздумывая, дал свое согласие. Те несколько дней, которые отделяли момент, когда было сделано предложение, от дня, назначенного для побега, протекали в нетерпеливом ожидании. Охваченный жаждой вольной жизни, я как-то забыл, что я, освобождаясь сам, постыдно оставляю своих товарищей продолжать медленно гнить в тюрьме, что при более нормальном состоянии я едва ли бы позволил себе сделать.

Но вот наконец и день, назначенный для побега, и я с нетерпением жду часа, когда можно будет приступить к его выполнению. Поздно ночью щелкнул замок моей камеры, дверь отворяется, и я тихо выхожу на галерею, чтобы по лестнице спуститься в самый нижний этаж здания, а там добраться до камеры Войнаральского — места встречи беглецов. Тюрьма мертва, ниоткуда не слышится ни одного звука. Большинство заключенных спит, а те, кто знал о предстоящем побеге, с понятным волнением и бесшумно ждут его исхода. Сладко спят и наши надзиратели, предварительно усыпленные снотворным напитком, которые не должны были знать о нашем пред-

приятии. Бодрствует только старший надзиратель Ефимов (кажется, так его фамилия), сидящий на своем наблюдательном посту, откуда ему видны две стороны всех четырех этажей.

Нас, бегущих, всего трое: Ковалик, Войнаральский и я. Собравшись вместе у нижней камеры Войнаральского, мы обмениваемся несколькими словами о дальнейших наших шагах и направляемся к окну, которое должно нас выпустить на волю. Окно это огромных размеров и без решеток, выходящее на Шпалерную улицу, как и мы сами, находилось в поле зрения старшего надзирателя, которому отлично было видно все, что творится у нас в углу. Для предосторожности мы потушили свет в этой части тюрьмы, а затем, чтобы открыть окно, подсадили на подоконник Ковалика, как самого сильного. Но, к несчастью, рамы окна сильно набухли и не поддавались усилиям Ковалика. Всякий раз, как он пытался открыть его, раздавался сильный гул, разносившийся по всей тюрьме. После многих усилий наконец сопротивление было побеждено, и окно приоткрылось, но это сопровождалось таким оглушительным треском и шумом, что усыпленные надзиратели проснулись и, не зная, в чем дело, но чувствуя, что стряслась какая-то большая беда, кинулись каждый по своей галерее осматривать целость своих камер. Столь неожиданный эффект смутил и нас. Бежать всем уже не было возможности, но, пока надзиратели бегали по галереям и осматривали камеры, была еще возможность улизнуть одному, а то и двум. Больше же всего смущало нас то, что этим побегом на глазах надзирателей мы подвергали большой ответственности и наших союзников-надзирателей. Перекинувшись несколькими словами между собою, мы решили на этот раз отказаться от побега, ждать в камере Войнаральского перепуганных надзирателей и попытаться войти с ними в сделку, чтобы потушить это неудавшееся дело и не доводить о нем до сведения высшего начальства тюрьмы. Скоро надзиратели добежали и до камеры Войнаральского. И как же они были обрадованы, когда, открыв ее, они увидели нас всех недостающих налицо! На радостях они быстро пошли на соглашение с нами, и обещанная, а затем и выплаченная им сумма, кажется в 500 руб., вполне их удовлетворила. Обещание свое молчать они сдер-

жали, и начальство тюрьмы так и осталось в полном неведении об этой попытке к побегу, что было важно, так как мысль о повторении ее не была оставлена.

Итак, вместо воли, которая была, казалось, уже так близка, мы снова очутились в тех же камерах, где сидели и раньше, как бы ничего и не было! Обидно и горько было за постигшую неудачу, но делать было нечего, приходилось примириться с ней [30].

---

[30] Синегуб в своих «Воспоминаниях чайковца» («Былое», 1906, октябрь, стр. 45—47), подробно рассказывая, неизвестно с чьих слов, об этой попытке к побегу, допускает, не по своей вине, конечно, ряд ошибок и отступлений от истины. Он говорит, что в побеге, кроме нас троих — Ковалика, Войнаральского и меня — приняли участие еще Волховский, Тихомиров, Кропоткин, Шишко и, весьма возможно, Муравский, чего на самом деле не было. Было ли всем этим лицам делано предложение, я не знаю, но факт тот, что никто из них участия не принимал и из камеры не выводился. Ошибается Синегуб также и тогда, когда говорит, что побег предполагался с третьей галереи, где последняя подходила к самому окну, что «его уже открыли и стали укреплять веревки из полос простыни за перила галереи». На самом же деле побег был организован из нижнего этажа, где окно было невысоко от земли, а потому никаких веревок, чтобы спуститься на землю, и не требовалось. Открытие же окна и погубило все дело. Неверно в рассказе Синегуба и то, что старший надзиратель «на своей площадке спал на стуле под газовым рожком», «усыпленный снотворным снадобьем». В действительности же, насколько я припоминаю, старший надзиратель все время бодрствовал, сидя на своем наблюдательном посту, и, конечно, не мог не видеть и не слышать, что у него творилось почти под самым носом. Об остальных же подробностях рассказа Синегуба, относящихся до описываемого им побега, я не буду говорить, так как эти подробности или были мне неизвестны, или же я их запамятовал. Возможно, что синегубовское описание первой попытки к побегу следует отнести ко второй, подробностей которой я не знал, так как в это время я едва ли уже не был снова в крепости.

Что Синегуб ошибался — это еще понятно. Но не понятно и вызывает немалое удивление, что и сам Ковалик, непосредственный участник этой попытки, говорит об участниках ее тождественно с Синегубом. Если бы это было так, то, собравшись в камере Войнаральского только в числе трех, вместо 7—8 человек, мы бы ждали и волновались — почему нет остальных? Но ничего подобного не было, никто из нас и не заикался об отсутствующих — вещь совершенно невероятная при правильности версии Синегуба и Ковалика. Обстоятельства этого неудавшегося побега я помню совершенно отчетливо и думаю, что Ковалик, голова которого была все время полна планами побегов, запутался в них и в данном случае, не подумав, повторил ошибку Синегуба, писавшего много ранее Ковалика.

Мысль о повторении попытки к побегу, как я уже говорил, не была оставлена Коваликом и Войнаральским, и некоторое время спустя после нашей неудачи я снова получил предложение принять участие в побеге. Но на этот раз, уже имея достаточно времени спокойно все обдумать, я отказался. Состояние моего здоровья было таково, что годным для работы я себя не чувствовал, а бежать, чтобы только спасти себя и обременять своей персоной уцелевших товарищей, я не хотел. Не хотел я и бежать за границу и окунуться там в эмигрантскую жизнь, которая мне казалась хуже всякой каторги. Да и было как-то зазорно оставлять своих товарищей в беде, а самому спасаться.

Новая же попытка Ковалика и Войнаральского, предпринятая приблизительно в апреле 1876 г.*, кончилась тоже неудачей. Войнаральский, спускавшийся последним, был замечен случайно проезжавшим офицером Чечулиным, который и поднял тревогу, полагая, что имеет дело с побегом уголовного арестанта. Началась погоня, и беглецы скоро были пойманы и водворены на свое прежнее местожительство, к великому огорчению и стыду самого инициатора этого ареста — Чечулина, узнавшего, что бежавшие не уголовные, а политические арестанты, а один из них — Войнаральский — еще и его хороший знакомый.

На этот раз побег имел и печальные последствия: двое из надзирателей, заподозренные в содействии этому побегу, были арестованы и просидели до полугода в той же тюрьме, где они сами надзирали за заключенными, после чего за неимением улик были освобождены.

Вскоре после этой второй попытки, а возможно и до нее, я, как и некоторые другие, снова был переведен в крепость, где и оставался в прежних условиях заключения почти до самого суда над нами в конце 1877 г., когда нас снова перевели в Дом предварительного заключения.

Потянулась опять нудная крепостная жизнь с ее могильной тишиной и неослабным надзором караульных солдат. Опять те же петропавловские часы, нагоняющие тоску своим меланхолическим перезвоном, тот же халат и туфли, те же, надоевшие уже, одинокие и молчаливые прогулки в крепостном дворе.

За эти два или три месяца пребывания моего в Доме предварительного заключения ничто не изменилось в условиях крепостной жизни, только чувствовалось, что тюрьма теперь населена плотнее, чем это было раньше. Но это мало доставляло утешения, так как соседи по заключению по-прежнему были недоступны. Правда, я вернулся из Дома предварительного заключения уже опытным в деле перестукивания человеком, но применять эти мои познания почти не приходилось, ибо самый осторожный стук тотчас же долетал до слуха конвоя и немедленно прекращался, нередко и с вызовом смотрителя. Чтение и опять чтение да бесконечное блуждание из угла в угол по камере — и ничего больше! Но нередко бывали дни, когда один вид книги вызывал раздражение, и я не прикасался к ней. Это были самые тягостные и мучительные дни, когда всякая мелочь раздражала, а нервы взвинчивались до белого каления. И так изо дня в день, еще пятнадцать—шестнадцать утомительно длинных месяцев, пока на время суда нас всех снова не перевели в Дом предварительного заключения.

За этот длинный промежуток времени лишь три события нарушили однообразие моей жизни: это — вручение мне обвинительного акта летом 1877 г., свидетельствовавшее, что дело наше, наконец, хотя и тихими стопами, но все же приближается к окончанию; свидание с братом Аркадием, только что приехавшим во второй половине того же 1877 г. для поступления в Петербургский университет, и Боголюбовская история.

Первое из этих событий — вручение обвинительного акта — ничего, кроме нового повода для раздражения и возмущения, не дало. Здесь возмущало меня все: и то, что в одну кучу свалена публика, совершенно неведомая друг другу и никаких общих дел не имевшая между собою, и то, что составлен он легкомысленно, с извращением фактов, а главное, с явным намерением опорочить как участников процесса, так и самое движение. Что же касается кружка чайковцев, то и здесь было то же неизбежное легкомыслие, так как все обвинение за неимением показаний самих чайковцев строилось почти исключительно на показаниях посторонних ему лиц, вроде Низовкина, Льва Городец-

кого, Рабиновича и других, не имевших возможности правдиво осветить как работу кружка, так и точный его состав. Благодаря этому к составу кружка были причислены Любавский, Румянцев, Лисовский и многие другие, никогда к нему не принадлежавшие. Я не раз принимался за чтение этого обвинительного акта, но всякий раз вскоре же бросал чтение. Так обвинительный акт и остался мною недочитанным.

Свидание с братом, первое за время почти четырехлетнего заключения, добытое им после невероятных усилий и хождений по мытарствам [31], сильно взволновало меня и воскресило в памяти образы всех моих домашних. Отрывочный, получасовой разговор с перескакиванием с одного предмета на другой и под недреманным оком наблюдающего чина не мог, конечно, исчерпать всего, что хотелось знать и что волновало меня. Не удовлетворенный и взволнованный приходом в мертвое царство одного из мира живых, я долго не мог успокоиться и привести себя в обычную норму после этого свидания.

Летом же этого года в крепость стали доходить до нас, сначала смутные, слухи о так называемой Боголюбовской истории. Возмутительная история эта, разыгравшаяся в Доме предварительного заключения, путем перестукивания постепенно выяснялась нам все больше и больше, но реагировать на нее в том или другом виде, за крайней трудностью наших сношений между собою, мы так и не могли. Со всеми же подробностями этой истории с наказанием Боголюбова розгами за неснятую им перед Треповым шапку, с бунтом заключенных и расправой с ними при помощи отряда городовых мы узнали, только когда перед началом суда нас снова собрали в Дом предварительного заключения. Но тогда это было уже делом прошлым, сидящая публика уже давно успокоилась и ждала заслуженного возмездия Трепову со стороны воли.

---

[31] Это хождение по мытарствам, чтобы добиться разрешения на свидание со мной, живо описано им самим в статье «Братья Уржумовы», помещенной в «Каторге и ссылке» (1926, № 1, стр. 81—88).

XII

Подготовка к процессу. Потеряв веру в суд, не защищаться думают многие, а лишь осветить надлежащим образом дело перед обществом, для чего требуется полная гласность суда. Сомнения, что таковая будет допущена. Начавшийся уклон, вследствие этих сомнений, в сторону полного отказа от участия в процессе. Жизнь в это время в Доме предварительного заключения. Свидания с Кувшинской и Перовской. Я делаюсь почтарем по передаче записок из мужского отделения тюрьмы в женское и обратно. Начало суда. Ожидаемой гласности нет. Разделение на группы. Безрезультатный протест подсудимых и защиты. Отказ большей части подсудимых от защиты и участия в суде. Неожиданный перевод многих протестантов в крепость. Захват у меня при этом переводе записок, предназначенных для женской тюрьмы. Освобожденная Кувшинская добивается разрешения на брак со мной, каковой и совершается в церкви Дома предварительного заключения. Приговор по процессу Особого присутствия Сената и ходатайство последнего о смягчении наказания. Жизнь в крепости после суда. Две голодовки. «Наше завещание». Заковка в кандалы и отправка на Кару



Как уже сказано было выше, незадолго до начала суда все подсудимые, раскиданные по разным тюрьмам, были сосредоточены в Доме предварительного заключения. Туда же были переведены и мы из крепости. В это время в нем уже все были заняты предстоящим процессом, усердно изучали обвинительный акт, отмечая в нем все извращения, и готовили речи, которые должны быть произнесены на суде. Не о защите думали многие, а лишь о том, чтобы надлежащим образом осветить дело, которое нас привело на скамью подсудимых, перед широкими кругами общества. Вера в суд, в его справедливость и беспристрастие была уже потеряна; почти все были уверены, что самый суд — лишь одна видимость, что приговор уже заранее составлен в III отделении и суд лишь приложит к нему свой штемпель. Но для освещения дела перед обществом прежде всего требовалась полная

гласность процесса и стенографические отчеты о заседаниях суда, что в свое время имело место на политических процессах: Нечаевском, «50-ти» и некоторых других. К сожалению, уже в это время смутные слухи, доходившие до нас, говорили нам, что желаемой гласности не будет и суд пройдет в совершенно необычных условиях. Это были пока лишь слухи и предположения, не имеющие под собою твердых оснований, но и они уже волновали нас и склоняли к мысли о полном отказе от участия в судебной процедуре. «Пусть решают дело, как хотят, — говорили мы, — но без нас и без наших защитников, — мы свой штемпель к беззаконному суду своим участием в нем не приложим!» Окончательных же решений по этому вопросу пока вынесено еще не было.

Жизнь в Доме предварительного заключения, когда нас туда снова перевели, в особенности после сурового крепостного режима, не могла не поразить меня всем тем, что я там нашел. Переполненный до краев в большинстве политиками, Дом предварительного заключения представлял какую-то автономную общину со своими порядками и правами, приобретенными предыдущей борьбой, на которые уже не дерзало покушаться высшее начальство. Откровенное перестукивание не прекращалось, клубы заседали почти непрерывно, не менее откровенно велась и переписка между заключенными при содействии уголовных или самих надзирателей. Но всем этим тюрьма уже не удовлетворялась. Во многих камерах рамы были сняты, благодаря чему заключенные, усаживаясь на подоконнике, могли не только свободно видеть, но и переговариваться с выводимыми на прогулку арестантами или с соседями и даже с заключенными, помещавшимися на противоположной стороне тюремного корпуса. Мало того, все наружные стены камер, выходящих во двор, были переплетены веревками, именуемыми конями, при посредстве которых происходила передача из одной камеры в другую книг, записок, съедобного, одежды и пр. Позднее из окна своей камеры Мышкин страстным и сильным голосом повторил товарищам по заключению свою речь, сказанную на суде.

Попав в такие совершенно необычные для меня условия жизни, я в первое время со всем пылом человека, изголодавшегося по обществу живых людей,

отдался этой жизни, но очень скоро обнаружилось, что такая нервная жизнь не для меня. Просидев почти четыре года в строгом одиночном заключении, я настолько отвык от людей, что общение с ними скоро утомляло меня, и я был рад, когда снова оставался только сам с собой. Поэтому без особой нужды я и избегал прибегать к тем или иным способам сношений с товарищами по заключению, имеющимся в таком обилии в моем распоряжении.

Здесь, в Доме предварительного заключения, неожиданным для меня сюрпризом было разрешение свиданий с А. Д. Кувшинской, которая сидела тут же, в женском отделении, и тоже заканчивала уже четвертый год своего заключения. В качестве моей невесты она добилась этого разрешения, и мы регулярно стали видеться в дни свиданий в церковной клетушке, где обычно помещались секретные арестанты во время церковных служб. Целые почти четыре года я не видел ее, не знал, что с ней, хотя и знал, что она арестована; поэтому понятны та радость и то волнение, которые я испытал, когда шел на первое свидание с ней! Что я найду, какие перемены увижу в ней и в ее душевном состоянии после столь длительного заключения, зная при этом, что она никогда не отличалась особенно крепким здоровьем? Но каково же было мое удивление, когда она предстала передо мной бодрой, веселой и жизнерадостной, как бы все это время она прожила в наилучших условиях и не переживала долгих и мучительных дней одиночного заключения! Уверенный, что мне пощады не будет, что фактически жизнь мою нужно уже считать конченной, я и этот наш личный вопрос тоже считал уже завершенным, а потому и никаких планов на совместное будущее не строил. А. Д. Кувшинская на этот счет была совершенно другого мнения, ее не покидала вера, что все это как-то устроится, и мы снова будем вместе, что бы ни готовило нам будущее. Не желая портить ее радостного настроения, я до поры до времени не хотел ее разочаровывать и не пытался заставить ее взглянуть на это наше личное дело более трезво, чем смотрела она. Мы жили во время наших коротких, но всегда радостных свиданий настоящим, не думая о будущем, обмениваясь впечатлениями о прожитых годах, сообщениями о близких нам людях и мнениями о пред-

стоящем процессе и о поведении нашем на суде. Она была так же решительно настроена относительно предстоящей судебной комедии, как и многие из нас.

Пользуясь моими регулярными свиданиями с Кувшинской, о которых, конечно, тотчас же стало известно всем, публика мужского отделения в дни наших свиданий всякий раз передавала мне кучу записок для сидящих в женском отделении; эти записки я передавал Кувшинской, а последняя рассылала по принадлежности. В свою очередь и она снабжала меня тем же для мужского отделения. Таким образом, установились сношения с женской тюрьмой регулярно два раза в неделю. Обычно записки эти я заталкивал за голенища своих высоких сапог, в которых я тогда ходил в Доме предварительного заключения. Все до поры до времени в этих почтовых сношениях было благополучно, и число записок с каждым разом все увеличивалось.

В этот же промежуток времени моего пребывания в Доме предварительного заключения, тянувшийся около месяца, раза два или три я вызывался на свидания с Перовской, которой удалось каким-то образом получить разрешение на таковые. Свидания эти происходили в коридоре пятого этажа мужского отделения тюрьмы, где за неимением мебели мы попросту усаживались на полу и беседовали. Перовская приходила с воли, всегда нагруженная передачей, и могла сообщить мне много нового из того, что творилось на воле. За эти четыре года внешне она мало изменилась и была по-прежнему мила и сердечна. Бодрость ее не покидала, хотя, несомненно, сердце ее болело за судьбу заключенных товарищей по делу, участь которых в то время была еще покрыта полной неизвестностью.

Наконец наше бесконечное ожидание суда закончилось. Наступило 18 октября 1877 г. — начало нашего процесса, когда всем нам пришлось предстать перед судом Особого присутствия Сената, долженствовавшего по высочайшему повелению заняться разбором нашего дела и вырешить нашу дальнейшую судьбу. Поэтому должно быть вполне понятно то волнение и то нетерпение, с каким мы ждали наступления этого дня, когда мы, разъединенные долгим предварительным заключением, снова будем вместе и когда все волнующие нас вопросы, связанные с судом, будут

наконец разрешены в том или ином направлении. Суд ведь — это заключительный аккорд всей нашей драмы, по которому широкие круги общества будут судить как о нашем деле, так и о нас самих, непосредственных участниках его. Мы прекрасно знали, уже судя по обвинительному акту, что противная нам сторона в лице прокуратуры приложит все старания не только к тому, чтобы добиться для нас сурового приговора, но, может быть, еще больше к тому, чтобы опорочить наше дело и нас самих и тем отвратить общественные симпатии, питающие начавшееся движение. И те из нас, которые отчетливо сознавали все общественно-политическое значение предстоящего процесса, столь исключительного и по числу подсудимых, и по долговременной его подготовке, сопряженной с гибелью уже многих десятков подсудимых в ожидании суда, мало или совсем не заботясь о своей личной участи, все свое внимание сосредоточивали лишь на том, чтобы взять правильную линию поведения на суде и тем достойным образом завершить свое дело. В зависимости от условий, в каких будет совершаться судебный процесс, должно было определиться и наше поведение на суде. Если он, этот суд, будет протекать в условиях полной гласности, определяемой нашими законами, в каких уже и протекали многие из наших предыдущих политических процессов, то мы выступим с откровенным исповедованием своей веры и с изложением всех мотивов, побудивших нас вступить на революционный путь, а вместе с тем и с изобличением всей лжи и наветов обвинительного акта, предназначавшихся для нашего вящего опорочения. В противном же случае нам нечего будет делать на суде, и пусть он совершается, как ему будет угодно, пусть шельмует нас и произносит какие ему вздумается приговоры, но без нашего участия в этом беззаконном суде, лишающем нас единственной и последней возможности засвидетельствовать перед обществом, чтó мы такое и чего добиваемся, идя нелегальными путями на неизбежное заклание. В этом последнем случае мы знали и были уверены, что общественные симпатии будут на нашей стороне. И наш протест против беззаконий суда, и наше вынужденное безмолвие, и, наконец, эта очевидная боязнь гласности процесса, сопряженная с явным нарушением закона, — все будет говорить не в

пользу правительства, руководившего действиями суда, а вызовет вполне законное возмущение против него самого. Такова была дилемма перед самым процессом, разрешить которую предстояло нам в ближайшие же дни.

Утром 18 октября защелкали замки в наших камерах, и нас стали выводить в нижний коридор Дома предварительного заключения, где всех нас, участников процесса, выстроили правильной и длинной колонной, по бокам которой в свою очередь выстроился едва ли не целый дивизион вооруженных жандармов с обнаженными саблями. Начальник конвоя прочел грозную инструкцию, по которой мы были обязаны беспрекословно подчиняться всем распоряжениям конвоя, имеющего право в случае нашего сопротивления или попытки к побегу прибегнуть к холодному или даже огнестрельному оружию.

По выполнении этой формальности все мы внушительной процессией двинулись, одни — бодрой поступью, другие — истомленные и больные, едва волоча свои ноги, в смежный с Домом предварительного заключения окружной суд, в помещении которого должно было рассматриваться наше дело и куда мы добрались через какой-то подземный ход, соединяющий оба эти учреждения.

Довольно обширный зал суда сразу же весь заполнился 193 подсудимыми* и 28 нашими защитниками, так что для публики уже не оставалось места. Последней фактически и не было, если не считать пять-шесть ближайших родственников некоторых из подсудимых. А между тем каждый из подсудимых по закону имел право дать доступ на заседание суда до трех человек, о чем при создавшихся условиях нечего было и думать. Не было места в зале суда и для конвоя, который остался за пределами его и лишь частью ютился во входных дверях. Сановная же публика разместилась за судейскими креслами.

Уже эти первые впечатления от обстановки суда не внушали нам доверия в соблюдении необходимых законных форм гласности судопроизводства, что при самом же открытии заседания дало повод присяжному поверенному Спасовичу от имени всей защиты заявить, что заседание происходит при закрытых дверях. Спасович ходатайствовал ввиду недостаточности поме-

щения для публики приискать другое, более вместительное, на что от первоприсутствующего Петерса получил в категорической форме ответ, что заседание публичное, что в зале присутствует и публика, а потому ходатайство защиты не подлежит удовлетворению.

Все это на первых порах нас не особенно трогало. Мы, разместившись по преимуществу в задних рядах, предназначенных для публики, заняты были радостной встречей с своими старыми друзьями, с которыми разъединенные тюрьмою не встречались по три и по четыре года. Шумные приветствия, объятия, вопросы о здоровье, о настроении и беглый отрывочный разговор наполняли зал суда непрерывным гомоном, как в пчелином улье. Приведенные на суд, мы не могли спокойно сидеть и перемещались с места на место, чтобы встретиться и приветствовать все новых и новых своих товарищей. И на торжественно заседающих за большим парадным столом судей-сенаторов в их парадных одеждах, украшенных лентами и орденами, мало кто обращал внимание, благодаря чему первоприсутствующему стоило большого труда, хотя на время, устанавливать относительное спокойствие.

По окончании опроса подсудимых о звании, вероисповедании, летах и местожительстве, не помню кем, было обращено внимание суда на то, что в заседании отсутствуют стенографисты, на что первоприсутствующий ответил, что таковые будут приглашены, а полные стенографические отчеты о ходе дела будут печататься в «Правительственном вестнике». Затем один из подсудимых, И. Н. Чернявский, указав на то, что заседания суда, вопреки разъяснению первоприсутствующего, будут по недостатку помещения фактически закрытыми, а не публичными, что для подсудимых существенно важно, то они и находят излишним присутствовать на суде и отказываются от дальнейшего участия в нем. Заявление это было поддержано и многими другими.

Возмущенный таким заявлением Чернявского, сделанным в резкой форме, первоприсутствующий распорядился удалить его из зала суда. Но когда приступлено было к исполнению этого распоряжения, то весь зал заволновался. «Пусть выводят всех, мы все разделяем это мнение!» — раздались громкие крики со всех сторон, хотя в то же время нашлись немногие из

числа подсудимых и такие, которые заявили, что мнение Чернявского не разделяют и будут участвовать в суде.

Положение первоприсутствующего при создавшейся обстановке оказалось чрезвычайно затруднительным: удалить огромное большинство подсудимых из зала суда было невозможно и вызвало бы большой скандал, но и отменить только что сделанное постановление об удалении Чернявского тоже было неудобно для престижа власти. Поэтому Петерс вышел из затруднения, распорядившись вызвать конвой, удалить всех подсудимых и закрыть заседание суда до следующего дня.

Этот первый день суда, бурно закончившийся, уже достаточно наглядно показал, что на гласность процесса рассчитывать трудно или даже невозможно. Показал он в то же время в инциденте с Чернявским, что настроение многих подсудимых, если не большинства, боевое, готовое на самый решительный протест против беззаконий суда.

На другой день заседание суда не могло состояться. Передавали, что весь этот день суд совещался с представителями правительства о дальнейшей тактике суда: пойти ли на уступки и восстановить законные формы судопроизводства и тем лишить подсудимых и защиту всяких поводов для дальнейших протестов, или же, не взирая ни на что, продолжать начатую уже тактику ограничений и беззакония и дальше? Последнее мнение, очевидно, одержало верх, так как все последующее поведение суда свидетельствовало об этом.

Когда 20 октября нас снова привели на второе заседание суда, то обстановка последнего была та же, что и на первом, с тою лишь разницей, что недалеко от судейского стола сидела пара стенографисток — одна от суда, другая от защиты. Публики не прибавилось.

В этот день суд приступил к чтению составленного товарищем прокурора Желеховским обвинительного акта; чтение его закончилось лишь на пятом заседании суда. Чтение обвинительного акта, длившееся так бесконечно долго, никто из подсудимых не слушал. Многим он был уже известен, да им было и не до него. Все эти дни, наголодавшиеся по обществу живых людей, подсудимые заняты были продолжением бесед

с своими друзьями, знакомством с новыми товарищами по делу, а главным образом обсуждением вопроса об отношении к суду и необходимости согласованного протеста. Уже за эти первые дни заседания суда все больше и больше выяснялось, что гласность процесса — лишь пустой звук, а заявлениям и обещаниям первоприсутствующего верить нельзя.

Отчет о первом заседании суда, появившийся в «Правительственном вестнике», был далеко не полон, односторонен и лжив. Когда же об этом в одно из последующих заседаний было указано суду, то получился ответ, что полный стенографический отчет будет дан уже после окончания процесса, т. е. тогда, когда будет некому сделать к нему необходимые поправки и восстановить истину. Благодаря всему этому оппозиционное настроение подсудимых нарастало. В зале заседания стоял неумолкаемый гул голосов и передвижение подсудимых. Попытки первоприсутствующего водворить тишину и порядок были тщетны, а голос секретаря, читавшего обвинительный акт, тонул в море других голосов. И вот в одно из таких заседаний с возвышенного места, прозванного нами Голгофой, где сидела небольшая группа наших товарищей, вдруг раздался резкий, повелительный и страстный голос, невольно приковавший к себе общее внимание. В зале водворяется мертвая тишина. Это Ипполит Мышкин делает свое заявление, бросая по адресу суда резкие обвинения. И суд, и защита успокаивают его, ссылаясь на то, что теперь не время для заявлений и что в свое время он будет иметь возможность сделать таковое. Общими усилиями Мышкина удается успокоить, и он садится, не окончив того, что хотел сказать *.

К концу пятого заседания чтение обвинительного акта наконец было закончено, и суд должен был уже перейти к судебному следствию. Но прежде чем сделать это, первоприсутствующий оглашает постановление, состоявшееся еще 11 октября в распорядительном заседании Сената, которое своим беззаконием вызывает единодушное возмущение подсудимых и защиты и не менее единодушный протест тех и других.

Обвиняя нас всех в составлении единого тайного общества в целях революционной пропаганды в империи и ниспровержения существующего порядка, Особое присутствие в своем распорядительном заседании,

лишь по мотивам тесноты помещения, делит нас на 17 самостоятельных групп, судебное следствие по которым должно вестись уже отдельно! То, о чем доходили до нас смутные слухи, волновавшие нас, чему, однако же, благодаря их маловероятности мы плохо верили, становилось совершившимся фактом. На запросы защиты, окончательное ли это постановление и подлежит ли оно обсуждению, получается категорический ответ, что постановление окончательное и обсуждению не подлежит. После этого заявления в зале суда творится нечто невообразимое. Подсудимые, взволнованные столь явным беззаконием и нарушением их существенных интересов, бурно выражают свое негодование и протесты, вскакивают на стулья, и по адресу суда со всех сторон сыплются нелестные и явно оскорбительные эпитеты. Защита также не остается пассивною и в свою очередь, не менее возмущенная действиями суда, усердно поддерживает протесты подсудимых. В зале водворяется полная анархия. Крики и угрозы первоприсутствующего тонут в общем шуме, не оказывая никакого воздействия на подсудимых.

Эта бурная сцена закончилась вводом в зал заседания по распоряжению суда отряда жандармов с обнаженными саблями, окруживших нас со всех сторон и приступивших к очистке зала от подсудимых. Но и удаляясь под эскортом жандармов, многие из нас еще продолжали посылать по адресу суда гневные протесты и оскорбительные слова. Истерики и даже обмороки были следствием этой дикой сцены среди немногочисленной публики, присутствовавшей при ней.

Ошеломленные всем происшедшим и совершенно растерявшиеся члены Особого присутствия вместе с прокурором Желеховским поспешно оставляют зал заседания, забыв даже закрыть его. В опустевшей зале демонстративно остались лишь наши защитники, не считавшие себя вправе удалиться без формального заявления первоприсутствующего о закрытии заседания.

Наши защитники позднее передавали нам, что после вышеописанного скандального инцидента члены Особого присутствия оставались некоторое время в своей судейской комнате, а защита — в зале заседаний, причем последняя через судебного пристава довела до сведения суда, что она без формального закрытия

заседания суда в присутствии сторон не считает себя вправе покинуть свой пост. Создалось, таким образом, еще новое и весьма конфузное для суда положение, и неизвестно, чем бы оно кончилось, если бы в конце концов защита не пошла на уступки. Приглашенная в судейскую комнату, она после новых бурных сцен и взаимных обвинений наконец сдалась, удовлетворившись за неимением другого выхода из создавшегося положения личным заявлением первоприсутствующего о закрытии заседания. По словам защитников, члены присутствия, и в особенности прокурор Желеховский, обвиняли их в подстрекательстве к революционным выходкам и к бунту подсудимых, а защита в свою очередь обвиняла суд в откровенном нарушении всех законных форм судопроизводства и в беззастенчивом нарушении интересов подсудимых.

Так закончился этот день, достопамятный в истории нашего политического суда. И вероятно, члены Особого присутствия не раз потом искренне жалели, что, исполняя волю пославших их, пошли по столь ложному и скользкому пути, приведшему их к позору и вполне заслуженному поруганию.

Эти же события, давшие твердое основание для протеста, послужили и на пользу подсудимым, окончательно укрепив большинство из них в решении бойкотировать суд. Всякие колебания, у кого они еще были, были отброшены. По нашем возвращении в камеры тотчас же начался оживленный обмен мнениями об окончательной формулировке протеста, для чего были пущены в ход все имевшиеся в нашем распоряжении способы сношений между нами: окна, клубы, наши «кони» и перестукивания. В существе дела эта формула протеста была уже заранее предрешена и выработана, и теперь лишь оставалось окончательно ее закрепить. Она была проста и приемлема для всех, кто примыкал к бойкоту, и заключалась в следующем: каждый из протестантов по приводе на суд должен был заявить, что он приведен на суд, лишь уступая силе, что он отказывается по таким-то и таким-то мотивам от всякого участия в суде как лично сам, так и через своих защитников и требует немедленного его увода обратно в тюрьму.

К бойкоту суда примыкает большинство подсудимых. В числе же непримкнувших к нему остаются

лишь предатели и люди слабые и случайные, которые боялись протестом отягчить свою участь, и затем те немногие, как Ипполит Мышкин, не имевшие силы воздержаться, чтобы еще раз публично не бросить своим палачам всю горькую правду о них самих и их позорных деяниях.

На другой день предстояло рассмотрение дела первой группы (27 человек), в состав которой были отнесены все, по преимуществу петербургские, чайковцы со включением сюда же и посторонних им лиц, но принимавших участие в их оговорах*. Чайковцы были единодушны в своем решении бойкотировать суд, за исключением лишь одной Ободовской, не пожелавшей, по неизвестным мне причинам, примкнуть к протесту.

Таким образом, нашей группе предстояло открыть кампанию и проложить путь для остальных. На суд нас на этот раз уж вызывают поодиночке. Когда очередь дошла и до меня, то на приглашение отправиться в суд я отвечаю отказом, после чего мне заявляют, что приказано привести силой. Силе я подчиняюсь, следую за конвоем тем же путем, каким и раньше водили нас в суд.

Зал суда на этот раз представляет совершенно другую картину, чем в предыдущие дни. Там было тихо и пустынно, но, несмотря на простор, посторонних лиц было не больше, чем раньше. Мое внимание невольно сосредоточивается на скамьях подсудимых, на которых, к моему немалому удивлению и смущению, среди других сидели Перовская, Кувшинская, Корнилова, Гауэнштейн, Тихомиров и Шишко, которые, как протестанты, после их категорического отказа от участия в суде, должны бы находиться уже в своих камерах, а не в зале заседания суда. Что же это значит и почему они остаются здесь? Но раздумывать некогда. Петерс уже обращается ко мне с вопросом. Я отвечаю ему в духе общепринятой нами формулы и требую удаления меня из суда, на что со стороны первоприсутствующего последовал лаконический ответ: «Садитесь!» Полный недоумения от такого финала моего протеста, я усаживаюсь и жду, что будет дальше, а вместе с тем и начинаю понимать, почему и другие мои товарищи-протестанты находятся еще тут же.

За мной следует Франжоли, которого после его протеста постигает та же участь, а за Франжоли —

Волховский с теми же результатами. Но этому последнему, прежде чем усесться на указанном ему месте, удается все же произнести перед самым носом Особого присутствия маленькую, но остроумную и ядовитую речь, сказанную в корректных выражениях, неоднократно прерываемую, однако же, Петерсом. Затем в последовательном порядке проходят перед судом подсудимые: Зубов, Стаховский, Купреянов, Зарубаев (рабочий), Ярцев, Гриценков и Лукашевич — все протестанты, которых так же, как и нас, усаживают по местам *.

Выясняется, что Синегуб, Рогачев и Рабинович уже приводились на суд и им одним лишь посчастливилось быть удаленными из него.

Формальный опрос подсудимых I группы окончен, и суд приступает к судебному следствию, для чего в зал суда вводятся уже и свидетели. Волнение наше растет. Мы могли еще оставаться в зале заседания, пока шли заявления протестов наших товарищей, но оставаться далее, когда начинается уже судебное следствие, было уже нельзя, не изменяя себе и нашим товарищам по протесту. Насильственное удержание подсудимых на суде заранее предусмотрено не было, и нам предстояло найти какой-то выход из создавшегося для нас крайне неприятного положения. Вот именно в этот-то критический для нас момент поднимается один из наших товарищей, не помню уже кто именно, и делает приблизительно следующее заявление: «Суд уже выслушал заявления большинства подсудимых о нашем нежелании принимать какое бы то ни было участие в судебном процессе, а между тем нас насильственно заставляют делать это. И нам, чтобы быть удаленными из суда, остается лишь единственный выход, прибегать к которому без крайней необходимости нам бы не хотелось, — это устроить какой-нибудь дебош или нанести новое оскорбление суду, тогда последний уже в силу необходимости должен будет удалить нас. Поэтому мы еще раз обращаемся к суду с нашим требованием о немедленном нашем удалении из суда».

Перед такой альтернативой Особому присутствию ничего более уже не остается, как спасовать. Но у первоприсутствующего, видимо, все еще тлеет надежда, что не все подсудимые присоединятся к только что сделанному заявлению, когда он предлагает всем же-

лающим удалиться выйти на средину зала, а нежелающим — оставаться на своих местах. Вслед за этим предложением в зале снова волнение, скамьи подсудимых быстро пустеют, и на них остаются лишь шесть-семь человек во главе с Низовкиным. Но делать нечего, приказ об удалении протестантов отдается, и нас наконец уводят *.

Что дальше делается на суде — мы уже не знаем, но каждое утро, перед началом заседания, пока тянулось дело I группы, отворялась дверная форточка и нас неизменно спрашивали: желаем ли мы идти в суд? На что получался столь же неизменный ответ: «Не желаем!» К силе уже не прибегали.

В этот же первый день разбора дела нашей группы, при открытии заседания, разыгралась бурная сцена между судом и защитой. Когда присяжный поверенный Александров огласил письменный протест от имени всей защиты по поводу беззаконного разделения подсудимых на группы, то вслед за этим товарищ прокурора Желеховский набросился на защиту, снова обвиняя ее в подстрекательстве подсудимых. Само собой, что защита в свою очередь не осталась в долгу. Следует вообще заметить, что поведение защиты в нашем процессе было вполне достойное, она шла с подсудимыми все время рука об руку и немало содействовала увеличению политического значения нашего процесса и влияния его на общественные круги.

Нужно ли говорить, что пережитые волнения первых шести дней нашего процесса сильно утомили меня и не менее сильно потрепали мои нервы. Поэтому я был бесконечно рад, что наконец нас оставили в покое и я могу снова оставаться один и привести себя в норму. Всякий раз, радостно идя на суд, где предстояла встреча с близкими людьми, с которыми было о чем поговорить, я, после четырехлетней одиночки и отвычки от людей, быстро утомлялся от общения с ними и уже ко второй половине дня только и думал о том, когда же наконец меня снова отведут в мою камеру и оставят одного с самим собою. Очевидно, порция общения с людьми, преподносимая мне, была слишком велика, переварить ее я уже не мог. Не легко было сознавать свою негодность для жизни, возврата к которой, впрочем, и не предвиделось, но, с другой

стороны, сознание честно исполненного гражданского долга давало душевное успокоение и позволяло совершенно спокойно смотреть в глаза нерадостному будущему.

После нашего устранения от участия в процессе жизнь в Доме предварительного заключения текла попрежнему, но, может быть, в несколько более повышенном темпе благодаря тому, что для большинства подсудимых главное, что занимало всех, было еще впереди. Кроме того, у нас была еще и новая забота. Так как отчеты о заседаниях суда были по-прежнему однобоки, кратки и неправдивы и так как в обещанный стенографический отчет никто у нас уже не верил, то нужно было озаботиться об информации общества более надежным способом, для чего и было приступлено к собиранию материала о ходе процесса и обработке его для нелегальной печати. Камера Тихомирова была той лабораторией, куда стекались все относящиеся к делу материалы. Связь же с волей поддерживалась при посредстве свиданий, каковые в это время разрешались много свободнее, чем раньше. При посредстве этих же свиданий, а также и через наших защитников, от которых еще не все успели отказаться, происходила информация нас о том, что делается на воле и какое создается там настроение.

Продолжались и мои свидания с Кувшинской, еще по-прежнему содержавшейся на женской половине Дома предварительного заключения. По-прежнему ко дню этих свиданий со всего мужского отделения тюрьмы ко мне стекается масса записок для передачи на женское отделение. Так было и 11 ноября — в очередной день наших свиданий. Обычно эти последние происходили довольно поздно, и я уже ожидал, когда щелкнет замок и отворится дверь, чтобы отвести меня в церковную клетушку, где происходили наши свидания. К выходу у меня все было готово, а тюремная корреспонденция, особенно обильная в этот день, уже была размещена за голенищами сапог. Но в этот день дверь почему-то долго не отворяется; я уже начинаю терять терпение и волноваться, не понимая, что все это значит. Но вот наконец она открыта, и я кидаюсь к выходу, но меня удерживают и предлагают собрать мои вещи. Это означало, что вместо свидания меня куда-то переводят или увозят. Но куда и зачем — мне

никто не может или не желает объяснить. Обескураженный и взволнованный столь неожиданным оборотом дела, я рассеянно собираю свои вещи, не переставая думать, что мне делать с моими записками, как их извлечь на глазах стражи и куда их девать. Я умышленно затягиваю свои сборы в надежде, не представится ли какая-нибудь возможность покончить с ними, но стражи не отходят и уже начинают меня торопить. Делать нечего — приходится кончать мои сборы. Меня уводят, и скоро я попадаю в какую-то довольно большую комнату, полную народа. Вглядываюсь и вижу Волховского, Рогачева, Синегуба и многих других — все протестанты нашей I группы, дело которой к этому времени уже было закончено судом. Как молния мелькает мысль: «Нас будут сечь!» Обозленные власти, думается мне, хотят отомстить нам за тот позор, который они переживают в связи с нашим процессом, и в лице нашем намерены дать урок остальным, чтобы не забывались. Оказывается, что и другим та же мысль приходила в голову. Возбужденные и встревоженные, мы ждем, что будет дальше, а у меня еще эти записки! Но ждать долго не пришлось. Вскоре поодиночке нас стали куда-то уводить. Дошла наконец очередь и до меня. Когда меня вывели во двор, то у выходных дверей стояла уже карета, куда меня посадили, а вместе со мной села и пара жандармов. Все мое внимание направляется на то, чтобы определить направление нашего пути, и когда по мере нашего продвижения стало выясняться, что мы двигаемся в сторону крепости, то тревога, вызванная перспективой порки, стала ослабевать. Я долго сидел в крепости и никогда не слыхал, чтобы там кого-либо подвергали этой позорной экзекуции, а потому, думалось мне, не может же быть, что теперь это могло совершиться. Но сравнительно успокоившись с этой стороны, я еще с большей остротой почувствовал всю безвыходность моего положения в деле с записками. Я знал, что в крепости меня разденут и тщательно обыщут, и все содержимое моих сапог будет обнаружено и захвачено. Будь у меня однадве записки, то, может быть, была бы еще возможность как-нибудь их уничтожить, но с двумя-тремя десятками их уже не было никакой возможности управиться. Предпринять же что-либо во время пути под

зорким оком жандармов, следящих за малейшим твоим движением, тоже не было никакой возможности.

Вот мы уже в крепости. Меня вводят в кордегардию, где обычно производится приемка новых арестантов и совершается полное переоблачение. Смотритель, его стражи и десятка полтора солдат встречают меня. Мне предлагают совершить переодевание. В надежде еще оттянуть роковой момент, я, ссылаясь на свою простуду и холод в кордегардии, прошу совершить этот обряд переодевания в моей камере, но в этом мне категорически отказывают. Меня усаживают и начинают разоблачать. Когда очередь дошла до моих сапог, то по мере снимания их из них, как горох, посыпались разного вида и формата злополучные записки, на которые тотчас же набросилась стража и тщательно подобрала их, не давая в то же время мне двинуться с места. После тщательнейшего затем обыска меня, совсем обескураженного и переодетого уже в казенное белье, халат и туфли, уводят и запирают в той же камере, в которой я уже сидел и раньше.

Никакой экзекуции над нами совершено, разумеется, не было, и власти ограничились лишь переводом нас в более худшие условия. Но отобранные у меня записки немало мучили меня и еще долго не давали мне покоя, пока я наконец не убедился, что содержание их в общем было невинно, и я своим провалом никому не причинил никакого ущерба. Все они, само собой, оказались в руках прокуратуры и, вероятно, приобщены к делу. Однажды даже в непосредственной связи с этими записками я был вызван товарищем прокурора Шубиным, предъявившим мне одну лишь из них, совершенно неполитического характера, но такого содержания, которое меня немало поразило... Зачем потребовалось предъявлять мне эту записку, я не знаю и по сей день.

Итак, я снова в крепости. Снова началась наша крепостная жизнь, совсем не похожая на ту, которая текла в Доме предварительного заключения. Там — непрерывное кипение и волнение, в особенности в связи с нашим процессом, который тянется без нас еще 2,5 месяца, а здесь — опять полная тишина и одиночество. Совершенно отрезанные от суда, где решается наша участь, мы уже ничего не знаем, что там творится, как будто дело шло совсем не о нас, а о чем-то

чужом и постороннем. Впрочем, это мало беспокоило нас, ведь мы сами отреклись от этого суда, а теперь и он в свою очередь отрекся от нас, и не только отрекся, но и поставил нас в такие условия, что мы не имели уже возможности знать что-либо о нем. И лишь те немногие, кто имел еще свидания, иногда получали кое-какие сведения о том, что творится вне наших стен, и в свою очередь, когда представлялась возможность, делились этими сведениями с другими. Мои же свидания с Кувшинской с переводом меня в крепость само собой прекратились.

Между тем крепость постепенно пополнялась участниками нашего процесса, которых по мере хода его в том или ином числе переводили к нам*. От этих-то вновь прибывающих мы кое-что и узнавали о дальнейших перипетиях процесса; между прочим, узнали мы и о знаменитой речи Мышкина, произнесенной им на суде и произведшей столь огромное впечатление и на судей, и на публику, и на общественные круги, имевшие возможность тем или иным путем ознакомиться с нею.

23 января 1878 г. процесс наш, тянувшийся 3 месяца и 5 дней, наконец закончился. Не славу и не аплодисменты за спасение отечества принес он правительственным кругам и Особому присутствию Сената, судившему нас, а совершенно наоборот. И теми и другими благодаря своей близорукости и бестактности, кажется, сделано было все, чтобы отвратить от себя симпатии даже лояльных людей и вызвать против себя почти общее негодование. Четырехлетние усилия почти всего правительственного аппарата по искоренению крамолы, которую хотели, было, демонстрировать перед обществом в устрашающем и непривлекательном виде, таким образом, не только пропали даром, но дали как раз обратные результаты. Демонстрация не удалась, и поругание крамолы и крамольников не состоялось. Фактически же все эти 3 месяца в этом устрашающем и непривлекательном виде демонстрировали себя не подсудимые, а правительственная власть и ее исполнительный орган — Особое присутствие Сената. В конце концов это делается понятным даже и этому последнему, и оно, чтобы хотя до некоторой степени смягчить невыгодное для себя впечатление от скандально веденного им процесса, вынуждено

было под давлением общественного мнения воздержаться от сурового возмездия и вынести относительно мягкий приговор. Часть подсудимых поэтому оправдывается, очень многим вменяется в наказание время предварительного заключения, и они освобождаются, а остальным, уже сравнительно немногим, Особое присутствие назначает довольно суровое наказание в виде каторги и ссылки на поселение и в то же время возбуждает перед царем ходатайство о весьма значительном смягчении наказания, что, по установившемуся обычаю, в некотором роде для него уже делается обязательным. Не ходатайствует Особое присутствие о смягчении наказания лишь одному Мышкину, отягчившему свое преступление покушением на убийство казака в Якутской области при его попытке освободить Чернышевского. Таким образом, из всех 193 ниспровергателей «существующего государственного и общественного порядка», по мнению Особого присутствия, каторжных работ заслуживал лишь один Мышкин! Для правительственной власти это — опять новый скандал, примириться с которым она не может. Как же это так? Столько было грому и шуму о наступающей опасности государственному и общественному строю, столько было длительных усилий, чтобы предотвратить эту опасность, и в результате лишь один каторжанин! Поистине гора родила мышь! Пока власти обдумывали, как им выйти из создавшегося затруднительного положения, все оправданные и те, кому было вменено в наказание время предварительного заключения, стали освобождаться из тюрьмы. В тюрьме остались лишь те, кто был присужден к более суровому наказанию.

В числе освобожденных, между прочим, была и Кувшинская, которая тотчас же после освобождения принялась хлопотать о разрешении брака со мною. Нелегкое это было дело для нее, но в конце концов она все же добилась своего, и брак был разрешен. Для совершения обряда венчания я снова был переведен временно в Дом предварительного заключения, в церкви которого, по предварительном выполнении некоторых обрядностей, он и состоялся 12 февраля в присутствии лишь наших шаферов — присяжных поверенных Герарда, Бардовского и Боровиковского и помощника смотрителя Дома предварительного заклю-

чения Константиновского. Непродолжительное свидание после этого с Кувшинской, теперь уже Чарушиной, затем я снова в крепости, а она возвращается на свою вольную квартиру. Свидания эти в установленные дни продолжаются в крепости.

Во второй половине марта нам наконец объявляют приговор Особого присутствия в окончательной форме, но вопрос о смягчении наказания по ходатайству последнего все еще остается открытым. Вместе с тем значительно смягчается и режим содержания нашего в крепости. Оставаясь запертыми в наших одиночных камерах, мы получаем право на совместные и много более продолжительные прогулки в нашем дворике. Перестукивания и даже разговоры с соседями через окна наших камер уже более не преследуются, допускается и свободный обмен книгами и пересылка доставляемого с воли провианта и лакомств из одной камеры в другую. В наших камерах появляется даже писчая бумага и письменные принадлежности, о чем раньше можно было лишь только мечтать. Все это делает нашу жизнь в крепости в эти последние месяцы пребывания в ней сносною, а в некотором отношении даже и приятною. Совместные прогулки наши всего больше доставляли нам это удовольствие. Здесь мы уже совершенно свободно, никем не стесняемые, могли ежедневно видеться не только с нашими старыми друзьями, но и с многими другими видными и интересными участниками нашего процесса, которых раньше знали лишь по имени или же мельком видели в первые дни судебных заседаний. Теперь мы уже имели полную возможность ближе сходиться, лучше узнавать друг друга, обмениваться взглядами, обсуждать большие и малые вопросы и даже принимать те или иные решения по разным житейским вопросам после совместного и предварительного их обсуждения. Но далеко не одни серьезные разговоры имели место на этих прогулках. Шутки и веселый смех нередко преобладали перед всем остальным, что свидетельствовало о бодром настроении заключенных. Нередко также в каком-нибудь укромном уголке нашего дворика можно было видеть довольно значительную группу лиц, собравшихся около неугомонных Ковалика и Войнаральского, развивавших перед слушателями свои фантастические планы побега из крепости. Но всегда

портило настроение и настраивало нас на печальный лад, когда на прогулку выводили безнадежно больного Лермонтова, для которого выносили и кровать, так как ходить и даже сидеть он уже не мог; около больного также обычно собиралась группа лиц и занимала его разговорами, чтобы хотя временно отвлечь от печальных мыслей. При виде обреченного Лермонтова, еще не так давно здорового и бодрого, у каждого из нас невольно возникала мысль, что такой же удел готовится и ему. И действительно, как бы в подтверждение этой мысли в первой половине 1878 г. в уединении своей камеры неожиданно для всех скончался будто бы от воспаления брюшины М. В. Купреянов *, так недавно еще участвовавший в наших прогулках. Об этой смерти мы узнали тогда, когда все уже было кончено. Печальный и грустный он был последнее время, как бы предчувствуя свой конец. Вероятно, недавняя смерть его любимой сестры Нади так повлияла на его настроение. Смерть М. В. [Купреянова], столь близкого нам и любимого, была большим ударом для всех его друзей, возлагавших на него как на несомненно незаурядного и даровитого человека большие надежды. А теперь лишь длинный список умерших во время производства следствия и суда по нашему делу увеличился еще одним человеком.

Кажется, в начале июня стал наконец известен и результат ходатайства Особого присутствия по нашему процессу. Власти, а больше всего шеф жандармов Мезенцов и министр юстиции граф Пален, шокированные относительной мягкостью приговора по делу, на котором они надеялись сыграть большую игру, и злобствующие на участников процесса за тот афронт, который они на этом деле потерпели, настояли перед царем не удовлетворять полностью ходатайство Особого присутствия и послать на каторгу не одного Мышкина, а 13 человек, по их мнению, наиболее вредных и опасных из состава подсудимых, вменив лишь им в наказание, согласно ходатайству суда, время предварительного заключения. В отношении же остальных приговоренных ходатайство суда было уважено.

В конечном результате каторжанский состав по нашему делу определился в следующем виде: Мышкин, Ковалик, Войнаральский, Рогачев, Добровольский и Муравский — приговоренные на 10 лет; Синегуб, Чару-

шин, Шишко, Союзов (рабочий) и Тимофей Квятковский — на 9 лет, Сажин и Брешковская — на 5 лет. Из этих тринадцати человек Добровольский, выпущенный на поруки под залог 5 тыс. рублей еще в период следственного производства, на суд не явился. Он бежал за границу в мае 1878 г., когда выяснился неблагоприятный для него результат возбужденного судом ходатайства о смягчении приговора.

Привлеченный же по делу чайковцев П. А. Кропоткин, просидевший в заключении уже два года, при содействии своих друзей и к великому огорчению правительства в 1876 г. бежал из Николаевского военного госпиталя, куда по состоянию своего здоровья он был переведен из Дома предварительного заключения.

Отказ царя в удовлетворении ходатайства Особого присутствия не мир и успокоение принес с собою, а послужил лишь новым поводом для раздражения общественных и особенно революционных кругов*. Начавшаяся с начала 70-х годов борьба с правительством и беспощадная расправа последнего с крамолою постепенно накаляли атмосферу и настраивали на более решительные выступления, чему помимо поисков новых и более действенных способов борьбы немало содействовало и естественно нараставшее чувство раздражения и желание мести за чинимые правительством насилия. Несомненно, что и новый акт царя, в связи с другими аналогичными фактами, сыграл в этом смысле немалую роль, а выстрел Веры Засулич в градоначальника Трепова и затем торжественное оправдание ее присяжными лишь укрепляли в мысли, что и для ответа правительству за его насилия террористическими актами общественная атмосфера уже достаточно назрела.

Приблизительно около этого времени в крепости было получено нами извещение Кравчинского о его намерении учинить казнь над одним из виднейших царских насильников, шефом жандармов Мезенцовым. Другой жертвой, как слышно было, намечался сподвижник последнего — министр юстиции Пален. Насколько я припоминаю, план этот был встречен общим сочувствием и, кажется, лишь один Синегуб энергично возражал против него, исходя из того, что такие террористические акты послужат во вред основному делу. В этом смысле он и ответил Кравчинскому, умоляя

его отказаться от своих замыслов. Казнь Мезенцева, как известно, вскоре после нашей отправки в Сибирь и была совершена, а Пален спасся благодаря своему выходу в отставку.

Жизнь наша в крепости и после окончательного вырешения нашей участи протекала тем же порядком, что и раньше. Близкая перспектива каторги мало повлияла на наше настроение, мы о ней как-то не думали. И лишь один Муравский, самый старший из нас, прозванный нами Дедом, переживший уже одну каторгу и теперь обреченный на вторую, как-то загрустил и стал много печальнее, чем раньше. Однако всегда сдержанный и спокойный, он стоически все переживал в себе и никогда не позволял себе сетовать на свою судьбу, нерадостную в прошлом и уже ничего не обещающую в будущем. Пережить новую каторгу, видимо, он уже не думал, и, действительно, в скором времени он погиб в центральной Харьковской тюрьме, куда вместе с некоторыми другими, осужденными по нашему процессу, был отправлен. Муравского все, кто хоть сколько-нибудь его знал, искренне любили и уважали.

Если, таким образом, предназначенная нам каторга встречена была нами спокойно, то не то было на воле среди наших друзей. Там сильно волновались, не могли помириться без боя с нашей участью и строили разные планы. Одни, как Кравчинский, об этом уже сказано было выше, горели желанием отомстить за нас, другие, как Перовская, — попытаться отбить при перевозке в центральные харьковские тюрьмы, куда предназначалось большинство из нас, а третьи, как наши жены — моя и Синегуба, — намеревавшиеся следовать за нами, — добиться разрешения на это, а вместе с тем и добиться отправки их мужей не в центральные тюрьмы, где, как было известно, режим был ужасный, а на Кару, где были сравнительно лучшие условия, куда и по закону должны были направляться семейные, с чем, однако, власти в данном случае не хотели считаться. Поэтому у наших жен снова начались хождения по мытарствам в поисках путей, чтобы добиться намеченной цели. Но велико было упрямство Мезенцова, от которого зависело все. Всякий раз, когда моей жене и Синегуба удавалось получить свидание с ним, он отвечал решительным отказом, не

желая избавить нас от централки, каковая, видимо, предназначалась нам. Однажды он даже сказал моей жене, очевидно усмотрев в ее словах какую-то угрозу: «Если у вас есть герои, то есть они и у нас, и вы нас не запугаете!»

На наших свиданиях Анна Дмитриевна рассказывала мне о своих бесплодных мытарствах, причем она, как и жена Синегуба, все еще не теряла надежды добиться своего. Я снова убеждал ее бросить это дело и не связывать свою судьбу с моею, но она, как и раньше, и слышать не хотела об этом. И действительно, вскоре их настойчивость дала и другие результаты. Какими-то путями моей жене удалось добиться аудиенции у личного секретаря государыни — графини Толстой. Когда наши жены предстали перед этой последней, уже основательно предубежденной против женщин нашего круга, то она немало была удивлена при виде молодых и привлекательных женщин, добивающихся лишь того, чтобы и их вместе с мужьями отправили на каторгу. Очарованная беседой с пришельцами из другого, неведомого ей мира и их столь преданной и бескорыстной любовью, графиня приняла в их судьбе живейшее участие, и записка ее к Мезенцову решила все дело. Завязавшееся при столь исключительных условиях знакомство поддерживалось графиней Толстой с моей женой и дальше при посредстве дружеской переписки, когда мы были уже на Каре, а затем и на поселении.

Пока там, на воле, люди волновались и хлопотали в соответствии со своими заданиями, наша жизнь при новом крепостном режиме протекала в общем сравнительно тихо и гладко. Продолжались и наши общие прогулки. На этих прогулках чаще всего овладевал мною Волховский, к которому за время тюрьмы я искренне привязался. Он имел склонность делиться с близким и сочувствующим ему человеком своими переживаниями самого интимного характера. Хотя я этим свойством не обладал и свои переживания, как бы тяжки они ни были, никогда не выносил наружу, это не помешало Волховскому почему-то избрать поверенным его души именно меня, а не кого-либо другого из его многочисленных и преданных друзей. Иногда все наше прогулочное время уходило на эти излияния. Видимо, Волховский очень ценил эту

возможность перед близким человеком раскрывать свою душу, что и подало ему повод посвятить мне одно из своих тюремных стихотворений, вошедшее потом в сборник его стихотворений «Случайные песни».

Последние месяцы нашей жизни в крепости протекали в ожидании нашей высылки — кого на каторгу, кого на поселение или на житье «в отдаленные» или «не столь отдаленные» местности Сибири.

За это время имели место события, о которых нельзя не сказать хотя несколько слов.

Вместе с нами, осужденными, пользовавшимися уже значительными льготами, находились и подследственные в лице снова появившегося на политическом горизонте Натансона, Тютчева, Габеля и некоторых других, которые льготами этими не пользовались. Некоторое время они жили смирно и волей-неволей подчинялись тому суровому режиму, какой был установлен в крепости для подследственных арестантов. Но, видимо, крепостной режим им стал невмоготу, и они потребовали себе приблизительно таких же льгот, какими пользовались мы, или перевода в другие тюрьмы, где режим был не столь ужасный, как в крепости. На домогательство Натансона и К° последовал категорический отказ. Тогда подследственные объявили голодовку. Живя рядом с голодающими, нам уже невозможно было спокойно пользоваться столом, а вместе с тем, вполне сочувствуя их домогательствам, и мы в свою очередь, желая поддержать их, тоже объявили голодовку до тех пор, пока требования протестантов не будут выполнены. Узнав о нашей голодовке и понимая, что это не шутка, в особенности для людей, совершенно истощенных продолжительным заключением, родственники наши и друзья на воле сильно заволновались и стали энергично бомбардировать властей, и в частности Мезенцова. Последний на четвертый день голодовки якобы в целях выяснения причин ее посылает в крепость своего адъютанта, который смотрителем Богородским и был приведен в камеру Синегуба, у которого с Богородским установились добрые отношения. Здесь адъютант Мезенцова любезно беседует с Синегубом и даже соглашается с ним, что и он сам, будь он на нашем месте, не мог бы кушать, зная, что его соседи-товарищи голодают. Заявив

Синегубу, что уравнять подследственных в льготах с нами, осужденными, невозможно, он спрашивает своего собеседника: прекратим ли мы голодовку, если подследственники будут переведены в другие тюрьмы? «Да, конечно! — отвечает последний. — Тогда у нас уже не будет повода продолжать ее». После этого ответа адъютант уже уверенно заявляет, что подследственные в тот же день будут переведены. По уходе адъютанта Синегуб немедленно же оповещает своих товарищей о своем разговоре, и мы начинаем ждать результатов только что нанесенного визита. И действительно, некоторое время спустя слышится щелкание замков, усиленное движение в коридоре и шум подъезжающих к тюрьме экипажей. Стучат в камеры подследственных, но оттуда ни звука, — значит, увезли. Публика торжествует: «Победа одержана!» Вечером того же дня голодовка была прекращена, и нам предложен обед, который мы после четырехдневного поста с жадностью голодных людей истребили, не без ущерба, впрочем, для наших желудков, по крайней мере некоторых из нас.

Уже много позднее, к стыду нашему, мы узнали, что нас самым наглым образом надули. Подследственных действительно перевели, но перевели в Алексеевский равелин, т. е. в гораздо худшие условия, чем в крепости, причем голодовка переведенных продолжалась. И лишь один Тютчев, кажется, попал в более лучшие условия. Велико было наше негодование за этот подлый обман. Поднимался даже вопрос о возобновлении голодовки, но уже было слишком поздно для этого, да к тому же не было и полного единодушия в этом вопросе *.

Время отправки нашей на места назначения приближалось, а вместе с тем приближалось и время окончательного ухода нашего из жизни для некоторых, а, может быть, для большинства — и навсегда. Поэтому, естественно, что у многих из нас должна была явиться мысль о каком-то акте, который бы должен был засвидетельствовать перед обществом и нашими товарищами на воле, что мы уходим из жизни не кающимися и сожалеющими о своей участи, но по-прежнему бодрыми духом, верующими и призывающими наших единомышленников продолжать борьбу с ненавистным нам строем. Эта мысль, встреченная общим

сочувствием, должна была вылиться в форме открытого письма-завещания за полными нашими подписями и напечатанного в одном из нелегальных изданий. Мы знали, что этот акт, исходящий от людей, уже лишенных всех прав и находящихся в полной власти правительства, может вызвать жестокую расправу с нами, но мы знали также, что он будет иметь известное общественное значение и что его нужно сделать, какие бы последствия от него ни были.

Письмо это после тщательного обсуждения и поправок вылилось в следующей редакции:

«Товарищи по убеждениям!

Процесс русской народно-революционной (социально-революционной) партии официально закончен: так называемый «приговор» в окончательной форме подписан, и официальной власти остается только отправить нас, осужденных, на каторгу и ссылку, по назначению. Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свой долг, по крайнему нашему разумению, уходя, быть может, навсегда, подобно Купреянову, мы считаем нашим правом и нашею обязанностью обратиться к вам, товарищи, с несколькими словами. Не придавая себе значения более того, какое мы имеем, мы будем говорить лишь в пределах той роли, какая наложена на нас извне. Официальная власть нашла для себя полезным сделать нас наглядным примером устрашения для людей одинакового с нами направления и путем лицемерного различия в «мере наказания» — быть может, также — средством развращения людей слабых, готовых руководиться в своем поведении не одним голосом совести, но и соображениями о личном благополучии. Ввиду этой невольной роли мы чувствуем себя обязанными заявить, что никакие «кары», ни «снисхождения» не в состоянии изменить ни на иоту нашей приверженности к русской народно-революционной партии.

Мы по-прежнему остаемся врагами действующей на Руси системы, составляющей несчастье и позор нашей родины, так как в экономическом отношении она эксплуатирует трудовое начало в пользу хищного тунеядства и разврата, а в политическом — отдает труд, имущество, свободу, жизнь и честь каждого гражданина на произвол «личного усмотрения». Мы заве-

щаем нашим товарищам по убеждениям идти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованию и ради которой готовы бороться и страдать до последнего вздоха.

№3. Это заявление посылается нами за подлинными нашими подписями в редакцию «Общины» с просьбой опубликовать его, оригинал же сохранить как доказательство верности и подлинности документа.

Петропавловская крепость, 25 мая 1878 г.».

Далее под письмом следуют собственноручные подписи осужденных, расположенные в алфавитном порядке, кроме подписи Брешковской, которая содержалась в другой тюрьме и просила присоединить и ее подпись. Подписи эти следующие:

Войнаральский, Ф. Волховский, С. Жебунев, Зарубаев, Т. Квятковский, Ковалик, В. Костюрин, А. Ливанов, Ф. Лермонтов, А. Лукашевич, Макаревич Петр, М. Муравский, В. Осташкин, Д. Рогачев, М. Сажин, Синегуб Сергей, И. Союзов, В. Стаховский, Сергей Стопани, Н. Чарушин, С. Чудновский, Л. Шишко, Екатерина Брешковская» [32].

«Впечатление среди революционеров, — писала «Община», — от этого «завещания» было, конечно, громадное...» Д. А. Клеменц написал за своею подписью статью «По поводу завещания», которая оканчивалась словами: «...ни казни, ни осадные положения не остановят нас на пути исполнения завещания наших товарищей — и оно будет исполнено!» [33]

Выполнив свой гражданский долг, мы со спокойной совестью стали ожидать нашей отправки. Но спокойствие это недолго продолжалось. Наступил июль, нас стали вызывать поодиночке, измерять наш рост, описывать наши приметы, а затем скоро и отправили первую партию в харьковские централки, в которую вошли: Мышкин*, Рогачев, Муравский (Дед), Ковалик и Войнаральский. Наших жен, пожелавших следовать за своими мужьями, уже пригласили посидеть в Литовском замке, чтобы потом, когда наступит день

---

[32] «Община», 1878, № 6-7.
[33] Там же.

отправки, обычно тщательно скрываемый, присоединить к партии*. Все это говорило, что и наша очередь не за горами.

Но как раз в это время откуда-то и как-то, теперь я уже не помню, дошел до нас слух, скоро превратившийся, благодаря нашей подозрительности, в уверенность, что перед отправкой первой партии весь состав ее был подвергнут наказанию розгами. Подобные опасения все время жили с нами и не казались нам невероятными. Мы знали, что правительство злобствует на нас и в своем раздражении может допустить самые дикие выходки.

Когда этот слух превратился в уверенность, то мы единодушно сказали себе: «Лучше смерть, чем такой позор!» — и объявили голодовку с твердым намерением довести ее до конца. Тюремные власти по мере хода голодовки забили тревогу, а смотритель Богородский бегал по камерам, клялся и божился, что слух не верен, что никакого наказания розгами не было, но мы ему не верили. Поднялась большая тревога и на воле. Было предпринято расследование, приведшее, однако, к отрицательным результатам, что тотчас же и было доведено до нашего сведения. Убежденные добытыми данными, мы на четвертый или на пятый день голодовку прекратили.

Кажется, вслед за этой голодовкой были получены сведения о неудачной попытке отбить Войнаральского, перевозимого из Харькова в Белгородскую тюрьму. Встревоженные власти даже приостановили по этому случаю дальнейшую отправку партий, а наши жены были выпущены из Литовского замка, так как в отместку за дерзость снова было решено отправить нас в харьковские централки, куда жены не допускались. Начались новые хлопоты. Графиня Толстая оказалась уже бессильной изменить решение Мезенцова и могла лишь посоветовать нашим женам письменно обратиться к жене наследника престола через секретаря последней, с которым Толстая обещала лично переговорить по их делу. Маневр удался, и собственноручная отметка будущей государыни на прошении «прошу исполнить» оказалась равносильной приказанию, против которого не мог устоять и всесильный Мезенцов. Впрочем, отсрочка эта продолжалась недолго, и вскоре вновь были увезены Сажин, Шишко, Волховский, Со-

юзов и др.* В Москве Сажина отделили от партии и направили в харьковские централки, а остальных повезли в Сибирь. Теперь очередь была за остальными. Жены наши были уже снова в Литовском замке, и мы со дня на день ждали, что отправят и нас.

В ночь на 22 июля отворяется моя камера, и меня ведут в какой-то большой и мрачный зал, тускло освещенный, где за большим столом сидели какие-то чиновные люди**. Вижу далее разложенную арестантскую амуницию и тут же висевшие кандалы, а недалеко от стола, на полу, что-то черное, что оказалось потом наковальней, — необходимая принадлежность при заковке в кандалы. Указывая мне на разложенную амуницию, предлагают снять крепостную и облечься в приготовленную, состоящую из рубашки и кальсон из грубого холста, куртки и штанов из серого солдатского сукна и такого же халата или азяма с бубновым тузом на спине.

Переодевание окончено. Меня усаживают на пол, поблизости от наковальни. Какой-то человек берет мою ногу, а потом другую, надевает кандалы и приступает к заклепке. Но первые же удары молота по наковальне, гулко раздающиеся в пустой и мрачной комнате при гробовом молчании всех, присутствующих как бы при отходе умирающего, как-то особенно действуют на меня, внутри как будто что-то обрывается, и я остро и со всей реальностью начинаю видеть ту пропасть, которая вырастает между моим прошлым «я» и теперешним. Там, за этим символизирующим мое бесправие обрядом, я был человек. Теперь я нуль, бесправное существо, которым всякий может помыкать, как ему будет угодно.

Обряженного в костюм подлинного арестанта-преступника, в шапке без козырька, с бубновым тузом на спине и в ножных ожерельях, с которыми я еще не умею справляться, крепостные власти передают меня в руки жандармов, которые сейчас же повезут меня куда-то в неведомую даль. Лица всех присутствующих серьезны, говорят мало и негромко, как бы чувствуют и они, что тут творится ими что-то неладное. Но вот мы уже на дворе, карета подана, мы усаживаемся и едем в направлении Николаевского вокзала по пустынным улицам. Спутники мои, как и всегда, молчаливы, но я и не ищу их общества.

Я внимательно и в последний раз всматриваюсь в эти пустынные теперь улицы города, в котором так много было пережито и с которым связано столько дорогих и светлых воспоминаний. Эти последние вереницей проходят передо мною и покрывают дымкой все то тяжелое, что было пережито за последние годы; покрывают они и только что пережитую финальную сцену.

«Нет! — думается мне. — Этого-то у меня никто уже не отнимет, оно останется при мне, а с ним не страшно и все то, что ждет меня в будущем!»

Совершенно успокоенный и умиротворенный, я еду дальше, чтобы затем вместе с другими направиться навстречу этому неведомому будущему...

ПРИЛОЖЕНИЯ



Переписка Н. А. Чарушина с Ш. М. Левиным [1]

Вятка, 18 сентября 1924 г.

Многоуважаемый Шнеер Менделевич!

В. Н. Фигнер писала мне, что в Ленинградском Историческом архиве имеются материалы по кружку чайковцев, что Вы работаете в архиве и пишете книжку об этом кружке; в связи же с этой Вашей работой, пишет она, у Вас есть кое-какие вопросы, на которые, возможно, я мог бы дать Вам ответы, но Вы «стесняетесь написать» мне.

Не могу не приветствовать Ваше начинание и с своей стороны охотно готов служить Вам, чем смогу, если действительно у Вас имеются какие-либо недоуменные вопросы и Вы познакомите меня с ними.

В свою очередь я попросил бы не отказать сообщить мне:

1) какие именно материалы о кружке чайковцев имеются в архиве;

2) возможен ли доступ в этот архив, например для меня, если бы я собрался с этой целью побывать в Ленинграде, и 3) когда рассчитываете выпустить Вашу книжку. Все это интересует меня потому, что я тоже занят мыслью о работе, до некоторой степени аналогичной с Вашей, но серьезным препятствием для выполнения ее является полвека, отделяющие меня от эпохи, о которой хотелось бы говорить. Большие дефекты памяти в этом случае неизбежны, а оживляющих эту память материалов под руками не имеется, кроме немногих воспоминаний бывших товарищей по кружку, написанных большею частью тоже по памяти.

За сообщение просимого буду Вам очень признателен

С товарищеским приветом Н. Чарушин

Вятка, угол ул. Ленина и 4-й Советской, д. 33/19, кв. 3. Николаю Аполлоновичу Чарушину.

---

[1] Письма Н. А. Чарушина сохранились в личном архиве Ш. М. Левина. Письма Ш. М. Левина к Н. А. Чарушину находятся в ЦГАЛИ, в фонде Н. А. Чарушина.

Ленинград, 29 сентября 1924 г.

Многоуважаемый Николай Аполлонович!

Сообщаю Вам о характере здешних материалов по чайковцам. Большую их часть составляют данные дознания и следствия по процессу 193-х. Эти данные Вам частично в свое время предъявлялись следователем. Вы очень верно характеризовали их недавно в своем письме к В. Н. Фигнер, напечатанном в Кропоткинском «Бюллетене» *. Но все же я считаю, что при внимательном изучении материал дознания и предварительного следствия, несмотря на неполноту и односторонность, представляет немало важного и интересного, особенно для истории пропаганды чайковцев среди петербургских рабочих. Кроме того, разрозненные, но иногда отнюдь небезынтересные сведения дают некоторые дела III отделения. Доступ к материалу Вы, конечно, получили бы без затруднений.

Советовать Вам что-либо определенное я, впрочем, не решаюсь, не будучи уверен в том, что этот материал покажется и Вам достаточно значительным и оправдывающим все расходы и неудобства, неизбежно связанные с поездкой Вашей сюда. Укажу еще только на то, что Вы здесь будете иметь всю — немногочисленную, но важную и незаменимую — литературу вопроса. А имеете ли Вы в Вятке хотя бы все писанное в книгах сотоварищей по кружку — сомневаюсь.

Что касается до моей работы, то она столь еще далека до своего завершения, что в сущности я не мог бы даже определенно сказать, во что она в конце концов выльется. В близком будущем мне во всяком случае придется дать сравнительно сжатую характеристику кружка в статье о 70-х годах, заказанной мне для издаваемой Гос[ударственным] издательством истории револ[юционного] движения XIX и начала XX в. И так или иначе я был бы бесконечно благодарен, если бы Вы согласились иногда отвечать на посылаемые мною запросы. В настоящий момент я, пересылая Вам оттиск восп[оминаний] Кропоткина о Лаврове (из сборника памяти П. Л.), прошу, если это не составит большого труда, сообщить Ваше мнение по поводу содержащихся там сведений об отношении чайковцев к журналу «Вперед» (а также по вопросу о роли чайковцев в его основании). Крайне важно было бы, кроме

того, для меня получить от Вас сведения об отношениях чайковцев и А. В. Низовкина. Действительно ли он стучался в двери кружка, почему не был допущен, разделяли ли его с Вашим кружком принципиальные разногласия, как силился он доказать впоследствии властям, на чем зиждилось его влияние среди заводских, каковы были взаимоотношения его и работавших среди заводских членов кружка чайковцев? Наконец, один более частный вопрос: не помните ли Вы, кто был автором переделки «Истории крестьянина» Эркмана-Шатриана — Клеменц или Тихомиров (мне кажется, что первый)?

Простите за беспокойство. Всегда готовый к услугам и уважающий Вас

Ш. Левин

Кроме оттиска воспом[инаний] Кропоткина посылаю Вам обв[инительный] акт по «делу 193-х», которого Вы, вероятно, не имеете — можете его держать столько времени, сколько понадобится Вам.

Вообще, если Вы откажетесь от мысли ехать сюда, пишите, не стесняясь, о требующихся Вам для работы изданиях. Некоторые из них, надеюсь, я в состоянии буду Вам посылать.

Ш. Л.

Вятка, 9 октября 1924 г.

Многоуважаемый Шнеер Менделевич!

Большое спасибо Вам за сообщение о характере материалов, имеющихся в архиве о чайковцах. С этими материалами я не был ознакомлен даже и на дознании, так как товарищ прокурора Кобыльский, ведший мое дело, ограничился предъявлением мне лишь показаний двух или трех рабочих-предателей, причем, злорадно улыбаясь, заметил, что каторги мне теперь уже не миновать. После же моего отказа от показаний меня оставили в покое и больше уже не тревожили. Очень многое поэтому, несмотря на односторонность материала, нашлось бы в нем и ценного для работы о кружке. Но это еще не к спеху. Большое спасибо Вам также и за Ваше предложение по снабжению меня литературой предмета и за высылку обвинительного

акта и оттиска воспоминаний Кропоткина о Лаврове. Кое-что из этой литературы у меня имеется, кое-что имеется в Публичной б-ке имени Герцена, но, вероятно, не все. Не было, между прочим, и присланного Вами оттиска. Что же касается обвинительного акта, то недавно я им обзавелся в этом же издании, но нет такового в нашей Публичной (научной) Герценовской б-ке, которая с удовольствием бы его приобрела, если бы Вы решились его продать.

На Ваши запросы, если таковые будут, охотно дам Вам свои ответы, если, разумеется, смогу их дать. А теперь постараюсь ответить уже на сделанные.

О заграничном руководящем органе чайковцы мечтали, кажется, уже с 1871 г., и вопрос об этом, как логическом следствии всей их предыдущей деятельности, много раз подымался в кружке. Во главе такого органа охотнее всего хотели бы видеть Н. Г. Чернышевского, но он был далеко, вне пределов досягаемости. Выдвигались поэтому кандидатуры Михайловского и затем Берви-Флеровского, но из этого по разным причинам ничего не вышло. Когда же стало известно, что Лавров, проживавший уже за границей, не прочь встать во главе заграничного органа печати, то не могли не ухватиться за эту комбинацию. Авторитет его был велик, и имя его как мыслителя и как человека пользовалось всеобщим уважением. Было лишь сомнение — сможет ли он, как кабинетный ученый, далекий от практической жизни, руководить политическим органом и отвечать на запросы жизни. Во всяком случае до половины 1872 г., т. е. до вступления Кропоткина в кружок, я ни разу не слыхал, чтобы кто-либо из членов кружка в комбинациях о заграничном органе делал попытку возглавить его Бакуниным или кем-либо из его ближайших русских друзей и последователей. Да этого, судя по характеру деятельности кружка того времени, не имеющему ничего общего с бунтарскими заданиями, и не могло бы быть. Кружок чайковцев, мало интересуясь чисто программными вопросами, самостоятельно и с большей осмотрительностью намечал пути для своей деятельности и нелегко переходил с занятых позиций на новые. В то время основной работой кружка, как в области книжного дела, так и в области пропагандистской и организационной, была работа среди интеллигентных кру-

гов и молодежи. Было даже кратковременное течение среди некоторых членов базироваться на земском элементе, к какому времени, надо полагать, должно относиться и предложение самого Кропоткина взять на себя организационную работу среди придворных кругов, а также и первая земско-конституционная программа Лаврова. В 1872 г., о котором идет речь, кружок как целое совсем не ставил вопроса о перемещении центра тяжести своей работы с интеллигентских кругов в рабочую и крестьянскую среду. Если же с конца 1871 г. к этой работе (среди рабочих) некоторыми членами и было приступлено, то делалось это по личной инициативе и на свой страх, а не по заданиям кружка. Правда, видимый успех этой работы в течение 1872 г. втягивал в нее и многих других его членов, но лишь в самом начале 1873 г. кружок, уступая очевидности успехов в этой области и тому увлечению, с которым эта работа велась не только членами кружка, но и лицами, привлеченными со стороны, санкционирует ее и делает ее основной своей работой. Одновременно с этим поручается мне объехать отделения кружка (Москва, Орел, Киев, Одесса, Херсон, Харьков, Воронеж), чтобы ознакомить их с положением дела и происшедшими изменениями в направлении деятельности кружка, а затем и побудить их сделать то же. Объезд этот и был начат мною в феврале 1873 г.

Летом же 1872 г. я уезжал из Петербурга и на тех собраниях, о которых говорил Кропоткин в своих воспоминаниях о Лаврове, я не был, а потому и не мог быть свидетелем того, что там происходило. Вполне допускаю, однако, что вопрос о связи с бакунинским и лавровским органами печати должен был вызвать горячие прения, в особенности принимая во внимание, что сам-то Кропоткин «несомненно» должен был стоять за связь с бакунинским органом. Предполагаю даже, что и компромиссное-то решение о предварительном ознакомлении на месте с тем и другим течением было принято, чтобы прекратить затянувшиеся прения об этом вопросе и удовлетворить Кропоткина, полагаю, единственного тогда защитника связи с бакунистами. Купреянов же, поехавший в Цюрих исполнять поручение кружка, несомненно, был много лучше осведомлен об истинном настроении последнего, чем только что вступивший в него Кропоткин, а потому и не удивлюсь,

что в Цюрихе он, не повидавшись даже с бакунистами, заключил договор с Лавровым. Это мое предположение подтверждает и то, что, по возвращении моем в Петербург в августе того же года, мне ни разу не приходилось слышать ни тогда, ни после неодобрения Купреянову за его кажущееся самовольное поведение в Цюрихе и за заключенный им договор с Лавровым.

Что же касается самого журнала «Вперед», первый номер которого появился в Петербурге лишь осенью 1873 г., то он не встретил у нас полного одобрения. В руководящих статьях, принадлежащих главным образом перу самого Лаврова, сказался, несомненно, кабинетный ученый, взявшийся в очень трудную минуту руководить общественным мнением молодой России, ощупью прокладывающей пути для своей революционной деятельности. В особенности же это сказалось в статье о подготовке революционеров, вынудившей Чайковского выступить даже с возражениями в особом письме во «Вперед». Но, несмотря на это, разрыва, конечно, не последовало, и мы продолжали распространять журнал, полагая, что сама жизнь внесет все нужные поправки. Как-никак, а журнал все же был крупным событием, будил мысль, помогал выяснению миросозерцания и давал много ценного материала и в других своих отделах, в особенности в обзорах по рабочему движению.

О Низовкине, к сожалению, ничего не могу сказать определенного. Лично мне ни разу не пришлось столкнуться с ним за время пребывания моего в Петербурге. Правда, обвинительный акт говорит, что я встречался с ним в квартире Судзиловской, но я этого не помню. Из кое же каких случайных разговоров и мимолетных замечаний, относящихся к неведомому мне Низовкину, у меня приблизительно сложилось представление о нем, как о человеке способном, но мелочно самолюбивом, желающем попасть в большие люди. А потому и нет ничего удивительного, что Низовкин стучался в двери кружка, принадлежность к которому могла рисовать ему заманчивые перспективы. Когда же это не удалось, то он резко повернул фронт и начал агитировать среди рабочих против чайковцев. Что же до принципиальных разногласий его с чайковцами, о которых

он говорит в своих показаниях, то это, полагаю, лишь один из способов защиты себя перед начальством, точно так же, как и его предательство.

Автора переделки «Истории французского крестьянина» с точностью не могу указать. Могу лишь сообщить Вам, что автором брошюры «Чтой-то братцы» был Л. Шишко, если это Вам уже не было известно ранее. Авторство же других нелегальных книжек для народа, выпущенных в те времена, кажется, уже зафиксировано в печати.

Вот, кажется, и все, что я должен был ответить на Ваши вопросы.

Уважающий Вас Н. Чарушин

Вятка, 15 мая 1925 г.

Многоуважаемый Шнеер Менделевич!

В моем письме к Вам от 9 октября 1924 г., отвечая на Ваши вопросы по поводу рассказа Кропоткина в его «воспоминаниях о Лаврове» о жарких прениях в кружке чайковцев летом 1872 г. по вопросу о том, с каким из лагерей установить связь по изданию и распространению заграничного органа печати и о посылке делегата для разведок по этому вопросу, я сделал крупную ошибку, не обратив должного внимания на дату. Уже потом, долго спустя, эта дата обратила мое внимание и я стал разбираться в правильности ее. В результате пришел к заключению, что Кропоткин просто ошибся, относя события к лету 1872 г., когда их следовало отнести к лету 1873 г. Дело в том, что летом 1872 г. никаких разговоров о связи с каким-либо заграничным органом печати и не могло быть, ибо тогда не с кем было и связываться. Не доверяя себе, я за подтверждением своих соображений обратился к А. И. Мороз (б. Корниловой), а та в свою очередь затем уже адресовалась к В. Н. Фигнер и Сажину, и все они, как пишет А. И., вполне согласны с моими соображениями, следовательно, и поездку Купреянова в Цюрих относят также на 1873 г. В то время, т. е. летом 1872 г., все они, в том числе и А. И., были в Цюрихе, Лаврова там еще не было, он приехал туда лишь в ноябре этого года, и только тогда возникли первые разговоры о журнале. Сообщаю Вам сие, чтобы испра-

вить свой недосмотр, который, пожалуй, и Вас мог бы ввести в заблуждение. Остальные же мои соображения по поводу этой части рассказа Кропоткина, изложенные в письме к Вам, остаются в силе.

Затем к Вам, Шнеер Менделевич, небольшая просьба. Не можете ли Вы как-нибудь, при случае, справиться в приговоре по процессу 193-х, на сколько лет каторги осужден я, на 8 или на 9. Приговора этого почему-то никогда на руках у меня не было, вопросом этим я мало интересовался, но мне все время почему-то казалось, что осужден я был на 8 лет, каковую цифру и указываю во всех анкетах, которые мне приходится заполнять. А между тем у меня составилось и другое представление, что степень наказания для меня была совершенно тождественной с таковой же, назначенной для Шишко и Синегуба, которые определяют ее для себя в 9 лет. Разрешить для себя этот недоуменный вопрос без документа я не могу, а документа этого здесь нет ни у кого. Вот и приходится беспокоить Вас. Простите за беспокойство.

Как Ваша книга о рус[ском] революц[ионном] движении, которую Вы писали или собирались писать, и скоро ли Вы надеетесь ее выпустить?

Всего Вам лучшего.

Уважающий Вас Н. Чарушин

Ленинград, 13 июня 1925 г.

Многоуважаемый Николай Аполлонович!

Вы пишете: «Летом 1872 г. никаких разговоров о связи с каким-либо заграничным органом печати и не могло быть, ибо тогда не с кем было и связываться». С этим трудно согласиться. Уже в феврале 1872 г., по сведениям III отделения, приезжавший из Швейцарии в Москву Валериан Смирнов говорил о проекте издания журнала под редакцией Лаврова. В апреле 1872 г. у Г. Эльсница в Москве было взято письмо (шифрованное) Вал[ериана] Смирнова, подлежавшее, судя по всему, пересылке через С. Клячко в Петербург А. И. Сердюкову (Герм[ан] Эльсниц был, очевидно, в этом случае лишь посредником, передаточной станцией). Вал[ериан] Смирнов писал о том, что он разговаривал с Крилями и Байдаковским относи-

тельно журнала; что он ждет денег из России, дабы съездить в Париж к Лаврову, взять у последнего программу и на основе ее собрать через посредство тех, к кому он обращался со своими письмами, литературные силы и материальные средства для журнала; о том, наконец, что Крили с Байдаковским его предупредили, взяли у Лаврова программу и будут с ней спустя несколько дней в Петербурге. А. Криль, опрошенный по делу, не отрицал того, что он виделся с Лавровым, хотя и отвергал, конечно, всякое общественное значение этого свидания. Сам Лавров, как известно, также относит к февралю — марту 1872 г. начало переговоров об органе. После того, согласно рассказу Лаврова, прошло несколько месяцев, в течение которых С. Подолинский (может быть, со Смирновым?) вел разведывательно-подготовительную работу. И к осени 1872 г. положение стало определяться. Именно в очень сильной связи с журналом находится ведь и самый переезд Лаврова в Цюрих. Остается открытым вопрос: в каком отношении ко всему предприятию находились в этот подготовительный период журнала чайковцы? То письмо В. Смирнова, о котором я выше говорил, не дошло до чайковцев. Но из этого, разумеется, ничуть не следует, что они вскоре же после того не получили известий о предполагаемом издании. Напротив, я убежден, что они (т. е. Вы) об этом знали.

Вел ли кто из вас разговоры на месте, в Швейцарии, это вопрос другой. Лично мне кажется несколько подозрительным одно место в переписке Лаврова со Штакеншнейдер: «Вот тому дня четыре приходилось отвечать в Цюрих одному господину, который очень серьезно спрашивал меня о моем положении между двумя партиями Интернационала» (письмо из Лондона от 17(5) июля 1872 г.)*. Кто бы это мог быть?!

Из всего этого не следует, что поездка за границу Купреянова, о которой сообщает Кропоткин, имела место тоже в 1872 г., а не в 1873. Нет, я думаю, что в этом Вы правы. Я и сам обратил внимание на путаницу у Кропоткина здесь. Помимо других данных, сошлюсь на указание Чудновского, что в *1873 г.* к нему в Вену приезжал Купреянов — и как раз с документами на имя «кн. Кр-на». Но одно дело — данная поездка Купреянова, а другое дело — история отношений кружка и подготовлявшегося журнала в ее целом.

Теперь по поводу Вашего приговора: Вы получили не восемь, а девять лет. Это — совершенно точно, на основании подлинного приговора.

Не рассчитываете ли Вы быть у нас этим летом? Было бы очень хорошо.

Искренний привет Ш. Левин

Вятка, 25 июня 1925 г.

Многоуважаемый Шнеер Менделевич!

Установим сначала окончательно, что не только поездка Купреянова за границу, но и те жаркие споры в кружке чайковцев, о которых рассказывает Кропоткин, которые в значительной степени и послужили поводом для самой поездки Купреянова, имели место не в 1872 г., а летом 1873 г. Установив же это, мне кажется, нетрудно уже будет признать и правильность моего заявления, что «летом 1872 г. никаких разговоров о связи с каким-либо заграничным органом печати и не могло быть, ибо *тогда* не с кем было и связываться».

Говоря это, я, само собой, имел в виду связь реальную и с чем-то уже вполне определенным, чем и обусловливались жаркие споры в кружке в 1873 г., а не с проблематичным и неопределенным. В половине же 1872 г. этой реальности и не было. Это, разумеется, совсем не значит, что разговоров о заграничном органе в это время не было и не предпринималось в этом направлении тех или иных предварительных шагов. Ведь много раньше я уже писал Вам, что в кружке чайковцев эти разговоры были и начались они едва ли еще не с 1871 г., продолжались и потом; искали и руководителей для предполагаемого журнала, а когда Михайловский категорически отказался, то останавливались на Берви, если и не как на редакторе, то как на соредакторе Лаврова. Лавров же всегда имелся в виду как уже готовая крупная литературная сила, живущая за границей, но сила эта, несмотря на все уважение к ней, стоящая во главе руководящего заграничного политического органа, не могла, по понятным причинам, не возбуждать некоторого сомнения.

Поэтому и колебания. И в этих колебаниях и поисках новых комбинаций и протекал весь 1872 год, а если не весь, то большая часть его. Поэтому и ссылка на Смирнова и Эльсница и других не опровергает, а лишь иллюстрирует и конкретизирует сказанное мною раньше.

Лично я не сомневаюсь, что чайковцы были в курсе дела в вопросе о затеваемом журнале под редакцией Лаврова. Припоминаю, что как самый приезд Смирнова в Москву, так и цель этого приезда были известны кружку. С Крилем же некоторые из чайковцев лично были знакомы и не могли не осведомляться от него о ходе дела. Были для этого и другие источники. Чайковцы, давно мечтавшие о заграничном органе, не могли, конечно, отрицательно относиться к предприятию Лаврова, но желали бы обставить его более надежным образом, для чего и пытались ввести в состав руководителей журнала лиц, более соответствующих задаче, чем сам Лавров. Таково по крайней мере сохранилось у меня общее представление об этом деле. К сожалению, детали изгладились из памяти.

Что касается лица, справлявшегося у Лаврова о его положении между двумя партиями Интернационала, то не поможет ли Вам раскрыть это инкогнито М. П. Сажин? Не сам ли он и запрашивал Лаврова?

За Вашу справку о приговоре приношу Вам мою искреннюю благодарность. Что же касается моей поездки в Ленинград, то я был бы очень не прочь предпринять ее, но пока по разным причинам, вероятно, воздержусь от нее.

С искренним уважением к Вам

Н. Чарушин

[начало 1926 г.]

Многоуважаемый Николай Аполлонович!

В Ленинграде проживает в настоящее время один из тех фабричных рабочих, которые были в свое время связаны с Вами и с Синегубом, — Никита Петрович Шабунин. Не имея средств к существованию, он обратился ко мне с просьбой об исходатайствовании ему пенсии или пособия. Я говорил по этому поводу с одним из членов так называемой ветеранской комиссии

при здешнем отделении общества политкаторжан: они готовы возбудить вопрос об этом перед соответствующими органами, если в их распоряжение доставить какой-либо материал. Но как раз с материалом дело обстоит нехорошо: то, что есть в архиве, недостаточно цельно и определенно, чтобы официальная справка из архива показалась отделу социального обеспечения, например, вполне убедительной. Вот мне и пришло в голову, что Вы могли бы помочь делу, написавши от себя отзыв (упомянутый член комиссии вполне со мной согласен в том, что Ваша справка будет иметь большое значение).

Надеюсь, Вы разделите мое убеждение, что 80-летний Шабунин, которого как-никак можно причислить к пионерам рабочего движения у нас, имеет право на материальную помощь, и не откажете в исполнении настоящей просьбы.

Засим имею к Вам просьбу уже личного свойства. Центрархив издает книгу воспоминаний и дневников Льва Тихомирова. Примечания к ним, составленные в Москве одним из работников Центрархива, присланы ныне последним мне для редактирования. Некоторые места мне хотелось бы проверить у Вас. Именно:

1. Тихомиров пишет: «Всеми любимый К. был исключен из кружка потому, что, находясь в связи с одной ведьмой (к кружку не принадлежавшей), влюбился в хорошенькую барышню Коврейн (тоже не принадлежавшую к кружку) и начал за ней ухаживать, впрочем пока еще платонически. Это было сочтено настолько компрометирующим обстоятельством, что К. решено было исключить, и лишь по снисхождению к нему это было облечено в форму его эмигрирования. К., очень нужный кружку в России, должен был эмигрировать». По многим сведениям, К. — Клячко. Верно ли это, и все ли обстояло действительно так (в основном, конечно), как следует у Тихомирова (Шишко тоже говорит об удалении одного видного члена кружка за отступление «от ригоризма в личной жизни», который «составлял характерную черту того времени»).

2. Тихомиров продолжает: «Лермонтов считался одним из столпов кружка и едва ли не был самым умным изо всех чайковцев. Однажды случилось, что кружок издал книжку, слишком уже неблагонамеренную, которая была запрещена (не помню какая). Что-

бы не подводить издателя, кружок должен был выставить одного из своих, который должен был объявить себя издателем, за что предвиделась ссылка. Выбор пал на Лермонтова. Лермонтов, однако, вовсе не желал попадать в ссылку и отказался. Тогда ответственность взял на себя Н. и был сослан административно. Лермонтова же исключили не за неповиновение кружку (дисциплины кружок не признавал), а за «сбережение своей шкуры», т. е. за безнравственность». Книга, несомненно, — «Азбука» Флеровского, Н. — Натансон. Но верно ли — относительно Лермонтова?

Кстати, Лермонтова Тихомиров включает в группу основателей кружка: «В 1870-м, кажется, году в СПб. было четыре человека: Н., Сердюков, Лермонтов и Чайковский, которые, познакомившись между собой, совершенно сошлись на понимании тогдашнего положения» и т. д. Независимо от того, прав ли Тихомиров относительно роли Лермонтова, он, очевидно, ошибается в дате, т. к. я — даже после ст. Ал. Ив. Корниловой — не вижу оснований отвергать версию Чайковского о возникшей в 69 г. ячейке из Натансона, Александрова, Сердюкова, Чайковского, Ник. Лопатина и, временно, Д. Герценштейна).

3. Наконец, мне бы хотелось получить от Вас совсем краткие (7—10 строк на каждую) справки биогр. характера об А. Д. Кувшинской и о Вас самих — в примечаниях, присланных мне, имеются кратенькие сведения о Вас, но я, разумеется, заменил бы их охотно составленными Вами же. Простите, что позволяю себе беспокоить Вас своими просьбами.

Искренне уважающий Вас Ш. Левин.

Считаю не лишним сообщить Вам, что с конца 1925 г. я работаю в «Былом» пом. редактора. Я знаю, правда, что Вы до сих пор, не считая ст. в Кропоткинском бюллетене, печатали все в «Кат. и ссылке». Но все же б. м., Вы представите что-либо также и нам?

Ш. Л.

Вятка, 16 апреля 1926 г.

Многоуважаемый Шнеер Менделевич!

Вполне согласен с Вами, что престарелый пионер рабочего движения Н. П. Шабунин имеет безусловное

право на материальную помощь, и я с большим удовольствием рад был бы содействовать ему в этом деле. Но беда моя в том, что это далекое прошлое слишком сильно затянуто дымкой и я не имею возможности конкретизировать его участие в этом начальном движении, а вместе с тем и опасаюсь приписать ему то, что должно быть отнесено к другим персонажам, и наоборот. Сам Шабунин, несомненно, много лучше меня помнит о своем участии в этом движении, а потому было бы хорошо, если бы он изобразил это мне в письме и тем помог мне восстановить это прошлое в моей памяти. Желательно было бы, чтобы он вкратце сообщил мне и о своей дальнейшей судьбе. В связи с этим делом я просил бы и Вас оказать мне услугу — справиться в архиве, кто из рабочих (двое или трое) подписали отвратительное и решающее для меня показание жандармам относительно меня. Теперь я тоже с уверенностью не мог бы назвать их фамилий, а знать это точно при даче моего отзыва о Шабунине необходимо. Был бы Вам очень признателен, если бы Вы сообщили мне и самый текст показаний этих рабочих. Они, насколько припоминаю, очень небольшие и даны были или в конце марта или в апреле 1874 г. Пока же прошу Вас передать мой привет Шабунину, если будете его видеть. Он теперь, кажется, единственный из рабочих того времени, оставшийся еще в живых.

Перехожу затем к моим посильным ответам на Ваши вопросы.

1. К. — это, конечно, Клячко, видный и влиятельный член Московского отделения кружка чайковцев. Я бы не сказал, что он был исключен из кружка. Скорее всего с ним вынуждены были разойтись, и по обоюдному соглашению он выехал в Германию. Причина — какая-то не особенно красивая романтическая история. Подробностей этой истории я не знаю, но припоминаю, что каким-то образом она связывалась с Карповым, тульским, кажется, помещиком, знакомым чайковцам.

2. Было ли делано предложение Лермонтову взять на себя издательство «Азбуки соц[иальных] наук» Флеровского (несомненно, речь идет у Тихомирова о ней) — я не знаю и никогда об этом ничего не слыхал. Но вполне допускаю, что такое предложение

могло иметь место, а также и то, что Лермонтов от него отказался. Но не менее несомненно и то, что Тихомиров ошибается, когда говорит, что за этот отказ Лермонтов был исключен из кружка «за бережение своей шкуры». «Азбука соц. наук» вышла в свет летом 71 г., а поиски фиктивного издателя могли быть в сентябре — октябре этого же года, тогда же, значит, мог быть и отказ Лермонтова. А между тем с Лермонтовым кружок разошелся лишь в 72 г. и то далеко не в начале его. Очевидно поэтому, что тут мотивы были другие. В своих воспоминаниях, которые я все-таки пишу, Лермонтова я характеризую как незаурядного человека, но самолюбивого, недостаточно искреннего и себе на уме. К общему типу кружка он не подходил и симпатиями, в особенности женской половины его и, в частности, Перовской, не пользовался. Это и послужило причиной расхождения. Если в свое время действительно с его стороны последовал отказ от издательства, то и это, разумеется, при подсчете грехов Лермонтова не могло быть забыто. Но сам по себе факт отказа, если бы он был настолько характерен и значителен, то его одного совершенно было бы достаточно, чтобы расстаться с Лермонтовым; но если этого не случилось в свое время, то полагаю, что ни предложения, ни отказа совсем и не было.

Н., разумеется, Натансон, который и выслан был главным образом за «Азбуку».

3. Тихомиров, без сомнения, ошибается, включая в состав Натансон — Александровского кружка родоначальника кружка чайковцев — Лермонтова. Я в этот кружок включаю, кроме первых двух, еще Сердюкова, Чайковского и затем Н. Лопатина. По моим представлениям, кружок этот не умер, а лишь только значительно расширился летом 1871 г., когда на даче в Кушелевке организовался, как пишет А. И. Корнилова, кружок самообразования, который уже в августе, перед разъездом с дачи, ставит основной своей задачей не самообразование, а те же задачи и цели, какие были у кружка Натансона — Александрова. Думаю поэтому, что кружок самообразования создан был главным образом лишь с тактическими целями, как и самое общежитие на даче, чтобы иметь возможность лучше присмотреться к приглашенным лицам

и сделать из них безошибочнее отбор для пополнения основного ядра, а затем в этом расширенном виде и с большим размахом продолжать то же дело, которое уже велось раньше. В этом смысле я и пишу в своих воспоминаниях. Так освещал мне это дело и Н. К. Лопатин.

4. Очень Вам признателен за предложение что-нибудь дать для Вашего «Былого». Сейчас у меня на очереди воспоминания (из которых не знаю еще, что выйдет), но я их уже обещал Козьмину для «Каторги и ссылки», который, узнав от кого-то, что я пишу таковые, просил предоставить их для его журнала.

Что же касается до кратких биографий Кувшинской и моей, то очень жаль, что Вы не сообщили уже готового текста их, изготовленного в Москве. Тогда легче было бы внести поправки или сделать дополнения, если бы таковые потребовались, сам же я очень затрудняюсь дать их, будучи ограничен 7—10 строчками. Поэтому ограничусь лишь биографией Кувшинской *.

С глубоким уважением Н. Чарушин

К характеристике идеологии «чайковцев» [1]*

Задачей нашего очерка является освещение нескольких основных вопросов идеологии «чайковцев». Сколько-нибудь исчерпывающее разрешение этой задачи сильно осложняется скудостью источников. Правда, число мемуарных памятников, в той или иной мере (иногда даже целиком) посвященных «чайковцам», довольно значительно. Однако недостатки мемуаров как исторического источника хорошо известны. Естественно и неизбежно стремление историка опереться в своих выводах кроме мемуаров и на более надежный — документальный — материал, в особенности когда речь идет об установлении взглядов, политической позиции интересующей его организации или отдельного лица. Между тем история кружка «чайковцев» бедна — по крайней мере пока — документальным материалом. И меньше всего мы имеем в своем распоряжении как раз документов принципиального, программного значения.

Единственный разносторонний и подробный программный документ кружка «чайковцев» — это записка П. Кропоткина «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?». Чарушин и Корнилова не признают за нею значения уже утвержденной программы «чайковцев». Хотя этим утверждениям противостоят свидетельства Шишко и Чайковского, остававшихся еще на воле после ареста Чарушина и Корниловой и к тому же писавших по поводу программы гораздо раньше последних. Важно и заявление Ковалика, не принадлежавшего никогда к «чайковцам», но весьма неплохо осведомленного свиде-

---

[1] Автор статьи Левин Шнеер Менделевич (1897—1969) — советский историк, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. Специалист по истории общественного движения и культуры России второй половины XIX в.

теля. Все они говорят о том, что программа была принята кружком. Уместно отметить и то место из воспоминаний Чарушина, где он подтверждает, что, перечитывая ту часть записки Кропоткина, которая содержит детально разработанный план деятельности организации, он «не нашел ничего, против чего можно было бы возразить, кроме разве некоторых небольших уклонений», и что «изображение *нашего настроения, наших мыслей, планов, чаяний и надежд* сделано в общем, и *даже в частностях*, вполне правильно и с исчерпывающей полнотой» (курсив наш. — *Ш. Л.*).

Документом, принадлежащим по существу всему кружку в целом, хотя и составленном также одним лицом, является известное письмо Чайковского в редакцию «Вперед», к сожалению затрагивающее непосредственно ограниченный круг вопросов тогдашнего движения и относящееся, как и записка Кропоткина, к последним месяцам организованной жизни кружка.

Мы имеем еще одну категорию материалов, освещающую идейное содержание пропаганды, которую «чайковцы» вели в народе. Это, с одной стороны, показания на дознании, на предварительном следствии и на суде рабочих, бывших объектами пропагандистской деятельности кружка, показания некоторых посторонних кружку интеллигентов и единичные заявления принципиального характера, делавшиеся перед следователями самими «чайковцами», а с другой стороны, литература, выпускавшаяся «чайковцами» для народа. Нечего и говорить, что первый из этих источников — показания рабочих — требует к себе особенно осторожного отношения: *вполне* «откровенными» были с властями только наименее сознательные и, следовательно, очень плохо ориентировавшиеся в социально-политических вопросах рабочие. Не слишком много дают и народные издания кружка для характеристики его взглядов, хотя не следует все же и преуменьшать значение этого источника.

Повторяем, этою скудостью источников определяются трудности, возникающие при выяснении тех или других сторон общественного мировоззрения «чайковцев».

I

Ближайшим поводом к образованию кружка Марка Натансона и Василия Александрова, из которого потом выросла организация «чайковцев», явилась агитация Нечаева и его сторонников в среде петербургского студенчества в 1868—1869 гг. Это видно из конспекта воспоминаний самого Натансона, напечатанного Б. П. Козьминым [1a]. Об этом, со слов Натансона, писал Аптекман, указывая, что агитация Нечаева «дала непосредственный толчок к сплочению его противников в тесный кружок» [2]. Это же утверждает по существу и Чайковский, сообщающий, что кружок Натансона и Александрова «имел в виду объединить представителей всех игравших тогда роль высших учебных заведений с целью придать студенческим волнениям более планомерное и здоровое направление, чем получило предшествовавшее под влиянием Нечаева» [3].

Вместе с тем не приходится, однако, сомневаться, что и помимо этого внешнего толчка возникновение такой (или таких) организации, как натансоновский кружок, было неизбежно, ибо выражало насущную потребность молодежи. Неудача Натансона явилась прямым следствием неподготовленности массы молодежи к восприятию и претворению в жизнь его лозунгов. В свое время Шишко отмечал, и с полным основанием, что «возникновение подобной революционной организации (т. е. нечаевской), державшейся исключительно на ложных конспиративных приемах, уже достаточно указывало на неподготовленность революционного движения» [4].

[1a] См. «Революционное движение 1860-х годов». М., 1932, стр. 182—184 (статья «С. Г. Нечаев и его противники в 1868—1869 гг.»).

[2] *О. Аптекман.* Общество «Земля и воля» 70-х гг., изд. 2. Пг., 1924, стр. 68.

[3] «Голос минувшего», 1913, № 6, стр. 250 (отзыв Чайковского о книге Богучарского «Активное народничество»). В другом месте он же пишет: «После студенческих волнений Нечаев... решил привлечь нас к своему заговору. Нам, однако, не понравились ни его планы, ни способ действия» (*Д. Перрис.* Пионеры русской революции. СПб., 1906, стр. 19). Об отношениях Натансона и его друзей с Нечаевым писали также в этом же смысле Шишко, Лавров (со слов Шишко), Кропоткин, Аксельрод.

[4] *Л. Шишко.* Собрание сочинений, т. IV. Пг., 1918, стр. 131.

Нечаевской проповеди немедленных решительных действий, немедленной социальной революции была противопоставлена другая программа, другие лозунги — самоподготовки, изучения народной жизни, собирания сил, программа, возвращавшая движение к его подготовительному фазису, через который Нечаев и нечаевцы пробовали перескочить. Сеть кружков саморазвития (также землячеств и «коммун»), и в особенности *«книжное дело»*, — таковы были формы, в которых осуществлялась эта программа.

О некоторых моментах истории «книжного дела» говорится в примечаниях, здесь же отметим только, что оно представляло собою фактически довольно широко поставленную литературную пропаганду передовых идей в области обществознания и естествознания, в частности пропаганду произведений западноевропейского — как научного, так и утопического — социализма (Маркс, Лассаль, Оуэн) и русских просветителей (Добролюбов, Чернышевский), происходившую притом в совершенно легальной форме. Это было использованием легальных возможностей, уцелевших еще от реформ 60-х годов.

«Книжное дело» не было изобретением «чайковцев» и не составляло также их «монополии». Но ни в одной группе, ни в одном кружке оно не велось с такой энергией и организаторским талантом и не приобрело даже и в отдаленной степени такого размаха, как у «чайковцев» [5].

Попутно со своей пропагандистской задачей «книжное дело» преследовало и другую, организационную цель, потому что, вовлекая значительный круг людей в дело хранения, рассылки и распространения литературы, оно облегчало выбор подходящих работников, укрепляло уже существующие связи и т. д.

---

[5] Из многочисленных характеристик книжной деятельности «чайковцев» приведем отзыв Флеровского: «Молодые люди, создавшие организацию, работали в ней с полным самоотвержением. Они ворочали большим капиталом, а сами часто голодали или брали ничтожные деньги за переводы серьезных книг, издававшихся чуть ли не исключительно Поляковым. Всю работу издания и распродажи книг они производили окончательно безвозмездно... У них были агенты во всех городах, даже в медвежьих углах, где был какой-нибудь десяток интеллигентных молодых людей, и все эти агенты действовали с тем же самым самоотвержением, как и центральная организация» («Голос минувшего», 1916, № 1, стр. 212).

Эта работа имела в виду только интеллигенцию, главным образом учащуюся молодежь. В первый период жизни кружка деятельность «чайковцев» вообще была ограничена исключительно (или почти исключительно) интеллигентской средой. Так продолжалось с 1869 до 1871—1872 гг., когда начинается все расширяющееся вовлечение членов кружка в «рабочее дело» — пропаганду среди петербургских рабочих, покуда последняя в начале 1873 г. не признается формально основной практической задачей деятельности кружка на ближайший период.

Окончательному перенесению кружком, как целым, центра тяжести всей работы в среду рабочих предшествовала некоторая внутренняя борьба. Кропоткин отмечает в своих «Записках революционера» те горячие споры, которые велись по этому поводу в кружке в 1872 г. Имеется на этот счет и свидетельство Тихомирова: «В это именно время (1872 г.) среди революционной молодежи в СПб. особенно разгорелся спор о способах действия. Одни, которых называли *образованниками,* считали необходимым развивать и вырабатывать людей в образованном классе; другие, народники (слово, тогда в первый раз сочиненное), говорили, что выработку и пропаганду следует перенести в народ, в рабочую среду. Я был за второе мнение. Тогда же долгушинцы уже стали мечтать о бунте в народе и презрительно называть чайковцев «книжниками»... Чайковцы, скорее «образованники», как бы поддались течению и повели пропаганду между рабочими и благодаря своей основательности и средствам в короткое время достигли сравнительно огромных успехов, затмив все другие кружки» [6].

Это сообщение Тихомирова приводит Б. П. Козьмин в уже упомянутой статье его к утверждению, что «чайковцы первоначально были *принципиальными* противниками революционной работы непосредственно в народе» [7] (курсив наш. — *Ш. Л.*). Но это заключение представляется нам неубедительным. Ему вполне противоречат показания других свидетелей, не менее, а гораздо более Тихомирова авторитетных в данном

---

[6] «Воспоминания Льва Тихомирова». М. — Л., 1927, стр. 60.
[7] «Революционное движение 1860-х годов», стр. 218—219.

вопросе (Тихомиров не был еще в описываемое время в Петербурге, где он появился лишь в середине 1873 г., да и вообще он с чайковцами связался сравнительно поздно). Мы имеем в виду в первую голову Н. В. Чайковского, написавшего в своих воспоминаниях следующие строки: «Нашей целью являлось объединение всех передовых элементов студенчества, сначала в Петербурге, а потом по всей России, *после чего предполагалось начать самую деятельную пропаганду среди крестьян и рабочих* с целью постепенного подготовления почвы для революции. Да, мы *с самого начала* были глубоко убеждены, что главной нашей задачей является подготовка революционных кадров, создание «народной интеллигенции»» [8] (курсив наш. — *Ш. Л.*).

Споры в кружке «чайковцев», по нашему убеждению, происходили не между *принципиальными* противниками и сторонниками работы в народе, а между противниками и сторонниками перехода *уже в данный определенный момент* к работе в народе, как основной работе кружка. «Одним из главных отличительных свойств» кружка «чайковцев» Шишко считал «сочетание большой революционной решимости и огромного внутреннего одушевления с крайней осторожностью по отношению к каждому своему новому шагу» [9]. Это наблюдение в общем подтверждается теми данными, которыми мы располагаем о деятельности организации «чайковцев», хотя бесспорно, что эта «крайняя осторожность» отличала не всех кружковцев. Опасение за уже достигнутые результаты, стремление к их максимальному закреплению, боязнь казавшихся поспешными шагов и резких поворотов в уже хорошо налаженной работе — вот эта практическая осторожность и связанный даже с нею практический оппортунизм должны нам объяснить оппозицию *некоторых* участников кружка немедленному переходу к работе в народе.

Тот же Шишко пишет по поводу разногласий, возникших в кружке уже накануне перехода движения к следующему этапу (от деятельности в рабочей среде к работе в крестьянстве): «Как всякая силь-

---

[8] *Д. Перрис*. Пионеры русской революции, стр. 20.
[9] *Л. Шишко*. Собрание сочинений, т. IV, стр. 139.

ная организация, кружок был склонен крепко держаться за раз начатую им систематическую работу и не проявлял никакого желания разбрасываться в стороны и увлекаться более широкими революционными планами»[10]. И здесь надо оговорить, что в кружке *были* и такие элементы, которые поддавались «увлечению более широкими революционными планами», и, чем дальше, тем голос их становился все громче и сильней. В своем «Открытом письме к друзьям» от 1926 г. Чайковский сообщает: «Уже в 1873 г. все сильнее и сильнее начало сказываться нетерпение самим окунуться в крестьянскую толщу в надежде почерпнуть там как бы особую чудодейственную силу. И это несмотря на то, что еще на Кушелевке (т. е. во время поселения чайковцев в этом пригороде Петербурга летом 1871 г. — *Ш. Л.*) был намечен план известной постепенности в этой работе, и прежде всего необходимости для нас во что бы то ни стало заранее обеспечить себя прочной организацией преемников. Поэтому теперь становилось все бесполезнее и бесполезнее убеждать людей в том, что, не доведя до конца одного дела, нельзя браться за другое». А несколько ниже он добавляет: «От нашего непосредственного хождения в народ я видел очень мало практических результатов и настаивал на том, что, прежде чем делать это, мы должны сосредоточить все свои силы на выработке себе преемников из народной среды, а не разбрасываться на авантюры. И тут я скоро оказался «на крайней правой, которая мешала кружку развернуть свои творческие силы»...»[11]

Следовательно, Шишко односторонне *преувеличивает* отмеченную им «задерживающую» тенденцию в кружке. Но с другой стороны, все приведенные указания подтверждают, что тенденция эта в кружке *была налицо*, что ею, а не *принципиально* отрицательным отношением (как думает Б. П. Козьмин) к работе в народе объясняются споры в среде «чайковцев». Напротив, и «крайняя правая» ставила своей задачей работу в народе, но держалась за намеченную первоначально кружком «постепенность» в переходе от

---

[10] Там же, стр. 211.

[11] «Николай Васильевич Чайковский». Под общей ред. А. А. Титова. Париж, 1929, стр. 278, 283.

одной стадии работы к другой, сперва от чисто «интеллигентской» — к «рабочей», затем от последней — к «крестьянской» [12].

Не разделяя мнения Б. П. Козьмина по данному вопросу, мы не можем принять и связанного у него с этим дальнейшего вывода, что кружок «чайковцев» при основании и даже в 1872 г. не имел революционного характера. Мы цитировали выше свидетельство Чайковского о первоначальных задачах кружка. Процитируем еще свидетельство Шишко: «Они (основатели кружка. — *Ш. Л.*) хотели создать среди интеллигенции и преимущественно среди лучшей части студенчества кадры революционно-социалистической, или как чаще выражались тогда, *истинно народной* партии в России» [13]. Можно ли считать эту задачу *не* революционной? Конечно, нет. Можно ли оспаривать, что «чайковцы» с первых шагов своей деятельности всемерно стремились к наиполнейшему разрешению на деле поставленной задачи? Тоже, разумеется, нет.

Кроме слов Тихомирова о «чайковцах», как «скорее образованниках», Б. П. Козьмин базируется еще на слишком, думается нам, буквальном и формальном понимании фразы Кропоткина, что «в 1872 г. кружок не имел в себе ничего революционного» [14]. К приговору Кропоткина, законченного анархиста, мы вообще не

---

[12] В пользу нашего мнения свидетельствует также Чарушин. Рассказывая о собрании у Таганцева (декабрь 1871 г.), он пишет: «Собрание у Таганцева и те выводы, к каким оно пришло, еще более укрепили во мне мысль о необходимости работы в народных массах и, в частности, в рабочей среде, не откладывая ее в долгий ящик. Обязывало, по-видимому, к этому же и остальных чайковцев, принимавших столь активное участие в рассмотрении и предрешении этого вопроса на упомянутом собрании. Но кружок в целом пока этого вопроса не поднимал у себя, хотя *принципиально он стоял на той же точке зрения,* на какую стало собрание у Таганцева. Всегда осторожный и вдумчивый, он не спешил переходить с занятой им позиции на другую, еще мало ведомую и мало освещенную. К тому же организационные планы среди интеллигентских кругов не считались еще выполненными, а потому и разбивание своих небольших сил в такое время могло казаться преждевременным» [стр. 132 настоящей книги; курсив Ш. Левина].

[13] *Л. Шишко.* Собрание сочинений, т. IV, стр. 140.

[14] *П. Кропоткин.* Записки революционеров, изд. 6. М., 1924, стр. 226.

можем подходить без известной осторожности и критического отношения. А в настоящем случае он сам помогает нам раскрыть действительное значение, в каком он употребляет здесь слово «революционный». В той фразе, которая непосредственно предшествует цитированной Козьминым, Кропоткин говорит о том, что «впоследствии, когда свирепые преследования со стороны правительства породили *революционную борьбу* (курсив наш. — *Ш. Л.*), кружок выдвинул ряд выдающихся деятелей и деятельниц, павших в бою с самодержавием». Ясно, что автор говорил здесь о революционности только в смысле готовности приступить к немедленным открытым революционным действиям, может быть даже в специфически террористическом смысле[15]. И разве не характерен для оценки кружка тот факт, что сам Кропоткин ведь примкнул тем не менее тогда же, весной 1872 г., к числу его членов?

Поэтому вполне соглашаясь с Б. П. Козьминым о наличности «глубокого расхождения в вопросах о революционных перспективах и о задачах революционной партии» между «чайковцами» (тогда еще «натансоновцами») и «нечаевцами», мы должны признать его расхождением разных направлений *революционного* движения, но отнюдь не расхождением революционеров с противниками революции. Это верно уже для начального этапа деятельности кружка; тем менее можно говорить о нереволюционном характере кружка в 1872 г., когда «чайковцы» от пропаганды

---

[15] Ср. в тех же «Записках революционера», стр. 297, где Кропоткин пишет, что в 1878—1879 гг. «начиналось в России движение действительно революционного характера». В каком ограничительном смысле употребляет Кропоткин иногда слово «революционный», показывает и другой пример. В написанных незадолго до смерти воспоминаниях о Лаврове Кропоткин говорит: «Конституционная программа, тоже известная, как программа Лаврова, тем более не удовлетворяла нас, народников, шедших в народ — одни с целями социалистической пропаганды, а другие и с чисто революционными задачами» («П. Л. Лавров». Статьи, воспоминания, материалы. Пг., 1922, стр. 438).

Пропаганда социализма в народе в 70-х годах противопоставляется тут революционным задачам, понимаемым, следовательно, опять-таки исключительно в смысле непосредственной организации открытых революционных действий.

в интеллигенции начали уже переходить к работе среди петербургских рабочих [16].

В дальнейшем, выясняя некоторые важнейшие программные и тактические установки «чайковцев», мы будем иметь случай остановиться внимательнее на вопросе о том, какова была, так сказать, природа революционных взглядов «чайковцев»; мы увидим, что «природа» эта не оставалась неизменной, что кружок левел и радикализировался, он шел от постановки более узких к более широким и смелым заданиям и планам, но это не значит, что уже в первооснове своей он не имел характера революционной группы.

II

Работа «чайковцев» среди петербургских рабочих продолжалась около двух лет и охватила почти все районы города. Она заключалась в занятиях с рабочими и в открытой пропаганде. При этом первые вполне подчинены были задачам второй, в чем и было коренное отличие «чайковцев» (как и других революционных групп) от интеллигентов чисто культурнического склада, тоже работавших, и даже еще до «чайковцев», среди рабочих. В программе Кропоткина имеются на этот счет точные указания, вполне согласные с практическим опытом «чайковцев». Объясняя, почему «чайковцы» находят «полезным и необходимым сообщать рабочим такие сведения, которые относятся к области научных сведений», Кропоткин говорит:

«Прежде всего к нам часто обращались с просьбою заняться обучением чтению, письму и арифметике. Если это есть единственное средство для знакомства с артелью и если предвидится, что в этой артели найдутся люди, которые довольно скоро заинтересуются социальной пропагандой, то мы, конечно, не откажемся от таких занятий... Когда, читая среди этих занятий какие-нибудь книжки и ведя общую беседу по поводу прочтенного, мы видим, что отдельные личности принимают к сердцу общие интересы,

---

[16] Кое-какие попытки членов кружка завязать сношения с рабочими имели, впрочем, место, насколько можно судить по отрывочным данным, уже в первый период его жизни.

мы постараемся учащенными беседами довести этих людей до мысли, что занятия арифметикою или письмом вовсе не ведут к цели, станем тогда знакомить их с совокупностью социальных воззрений и постараемся войти с ними в личные дружественные отношения; тех же, которые будут видеть в занятиях арифметикою свою исключительную цель, конечно, оставим через несколько времени, понимая очень хорошо, что всех желающих арифметике не обучишь и что есть вещи более нужные. Если мы столкнемся с человеком восприимчивым, энергичным, обещающим сделаться полезным агитатором, который не умеет даже читать, мы, конечно, сочтем непременною обязанностью выучить его грамоте, понимая очень хорошо, что человеку грамотному легче вести агитацию, чем неграмотному... Тем лучшим людям, которые сделаются народными агитаторами, мы считаем необходимым сообщить и более обстоятельные сведения по истории, конечно, той, которая служит нам основанием для наших выводов, по т. наз. политической экономии, т. е. по критике существующих отношений между трудом и капиталом»[17].

Пропаганда велась и в тесной связи с занятиями, что отмечено в вышецитированном отрывке, и самостоятельно — выступлениями и беседами в артелях, на рабочих квартирах, служивших центрами пропаганды, и на квартирах самих пропагандистов или в специально нанимавшихся для целей пропаганды пунктах. До осени 1873 г. не было со стороны «чайковцев» попыток перейти от пропаганды к организации, если не считать, конечно, группы заводских рабочих, где, однако, организационная работа шла в значительной мере самостоятельно, независимо от «чайковцев».

Осенью 1873 г. стали возникать и организационные планы. Так, Чарушин и Тихомиров говорят о проекте организации общегородской рабочей группы (Тихомиров говорит, собственно, о смешанной группе из рабочих и интеллигентов). На обязанности проектируемого объединения, по словам Чарушина, лежала бы «общая планировка текущей работы, выделение из своей среды пропагандистов на местные фабрики и заводы,

---

[17] «Былое», 1921, № 17, стр. 29—30.

еще не затронутые пропагандой, и посылка таковых же в провинцию, как в городские поселения, так и в деревни» (стр. 197). При организации рабочих намечалось создать «общую союзную кассу» и библиотеку — по сообщению Чарушина, находящему подтверждение в материалах «дела 193-х». Именно рабочий Яков Иванов показал на дознании:

«Как-то по приглашению Чарушина, Клеменца и Шишко мы, рабочие, собрались в дом по Малой Невке на Петербургской стороне. Были здесь кроме этих учителей я, Егор (рабочий Кудряшов. — *Ш. Л.*), Прейсман, Данило Прохоров и Андрей Коробов. Тут учителя стали рассуждать о том, чтобы устроить кассу для помощи рабочим, в случае болезни или потери места, и предложили собирать с рабочих по 3 коп. с рубля получаемого каждым жалованья в месяц. Чарушин и Шишко показывали нам деньги — 500 р., объясняя, что эти деньги собраны ими для кассы. Эта касса, по заявлению учителей, должна была служить также и источником покупки книг для нашего обучения» [18].

Обращает на себя внимание в перечне задач кассы отсутствие упоминания о помощи арестованным и о материальной поддержке на случай стачек. Если первое умолчание исчерпывающе объясняется естественной тенденцией допрашиваемого представить все дело в более невинном свете, то умолчание о стачках могло зависеть и от того, что вопрос этот не ставился «учителями» в числе задач кассы. Вопрос о стачках, несомненно, обсуждался уже «чайковцами»: об этом говорят не только воспоминания (Чарушина и Шишко), но и записка Кропоткина, уделяющая вопросу этому большое место. «Мысль об организации стачечного движения, — по словам Чарушина, — сама собой напрашивалась и намечалась, но встречала и принципиальные возражения». «Мысль о стачках, — пишет он в другом месте, — становилась все более и более не только популярной, но и повелительной, встречая сочувствие и среди самих рабочих, хотя в нашей среде были и принципиальные противники стачечного движения, как якобы отвлекающего от основных задач

---

[18] ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 234. Интересно отметить, что и Чарушин говорит о 500 руб., отпущенных «чайковцами» в фонд кассы рабочего кружка (стр. 216).

и разменивающего их на мелочи» (стр. 197). По-видимому, противников все-таки было больше, нежели защитников, потому что записка Кропоткина определенно формулирует отрицательное отношение к *организации* стачек революционерами, требуя лишь участия в стачках, возникших помимо воли последних [19].

Какой же смысл придавали «чайковцы» своей (несомненно большой и богатой результатами) деятельности среди рабочих? Бесспорно, что подобно тому как в первый период жизни кружка работа среди интеллигенции не являлась для него самоцелью, а рассматривалась под углом создания первых элементов «истинно народной» партии, так и деятельность среди рабочих во второй период была в его глазах подготовительным, переходным этапом к работе в крестьянстве, которое для них, как и для всех русских революционеров той эпохи, представляло собой основную, главную движущую силу революции. То обстоятельство, что «чайковцы», как целое, так и не успели приступить к революционной работе среди крестьян, нисколько не меняет того положения, что они были, как и все народники (понимая последний термин в широком смысле), «партией крестьянской революции».

«Чайковцы» видели, что в России формируются уже кадры настоящего городского пролетариата. В записке Кропоткина отмечено существование «рабочих, обратившихся в постоянных городских жителей и имеющих определенное ремесло», так называемых заводских рабочих. «Чайковцы» их не игнорировали в своей устной пропаганде, они обращались к ним и в своей пропагандистской литературе. Но отнюдь не из-за «заводских» кружок признавал важность революционной деятельности в рабочей среде. В той же записке Кропоткина «напоминалось», что «наши городские рабочие представляют некоторые существенные отличия от западноевропейских и что *этими отличиями объясняется*, почему деятельность среди городских рабочих, несмотря на их малочисленность в России, имеет серьезное значение» (курсив наш. — *Ш. Л.*). Отличие это автор программы «чайковцев» видел в том, что наряду с «заводскими» существует «гораздо более обширный класс рабочих,

---

[19] См. «Былое», 1921, № 17, стр. 35—37.

так называемых фабричных», который «слагается весь из крестьян, преимущественно молодежи», живущих в городе непостоянно, сохраняющих на родине земельный надел и находящихся в тесной связи с односельцами. Представляя в то же время «подвижный элемент из крестьянской среды, элемент, избавленный от консервативного влияния семьи, наконец, людей, несколько более присмотревшихся к разным житейским отношениям», фабричные считались Кропоткиным той средой, из которой «всего удобнее вырабатывать людей, которые потом в селе могут послужить ядрами сельских крестьянских кружков» [20].

Различное отношение «чайковцев» к работе среди разных слоев городских рабочих, интерес преимущественно к фабричным, вследствие их тесной связи с деревней, подчеркивают почти все участники кружка, занимавшиеся этой работой, его подтверждают и посторонние кружку свидетели (Низовкин) [21]. В нем — гвоздь вопроса об отношении «чайковцев» к рабочим и к рабочему движению. В ней с полной ясностью отразилось их понимание значения рабочего движения как совершенно подчиненного по отношению к крестьянскому движению, к крестьянской революции.

III

Как же представляли себе «чайковцы» эту революцию с точки зрения ее характера, целей? Только ли как антидворянскую, антифеодальную или и как антикапиталистическую? Другими словами — держали ли они курс на так называемую политическую или социалистическую революцию?

Оговоримся, что мы держимся исключительно *субъективной* стороны вопроса. *Объективно* даже самая полная победа революции в *тогдашней* России не могла бы (без пролетарской социалистической революции на Западе) привести ни к чему иному, как к полной ликвидации крепостнических остатков, к уничтожению монархии и помещичьего землевладения и расчистке пути для развития демократического, «американского» (по выражению В. И. Ленина) капитализма, в противовес «капитализму прусскому».

---

[20] Там же, стр. 29.

[21] См. «Каторга и ссылка», 1929, № 12 (61), стр. 8—9.

Для осуществления социализма не было еще данных в России того времени, на что тогда же и указывал, например, Энгельс в своей полемике с Ткачевым: «Переворот, к которому стремится современный социализм, состоит, коротко говоря, в победе пролетариата над буржуазией и в создании новой организации общества путем уничтожения всяких классовых различий. Для этого необходимо наличие не только пролетариата, который совершит этот переворот, но также и буржуазии, в руках которой общественные производительные силы достигают такого развития, когда становится возможным окончательное уничтожение классовых различий» [22]. В России, находившейся еще в начале своего капиталистического пути (здесь, по словам Энгельса, как пролетариат, так и буржуазия встречались «пока еще не повсеместно» и находились еще «на низшей ступени развития») [23], указанных условий пока не было.

Впоследствии В. И. Ленин, характеризуя утопические элементы в мировоззрении Чернышевского, «который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину», подчеркнул, что «только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма» [24].

Но революционное поколение 60—70-х годов, поколение русского утопического социализма, не видело этой истины. «...Все наши старые революционные программы, — начиная хотя бы бакунистами и бунтарями, продолжая народниками и кончая народовольцами», были рассчитаны, по словам В. И. Ленина, на то, чтобы «*поднять крестьянство* на социалистическую революцию *против основ современного общества...*» [25]. Впоследствии в объяснение утопических расчетов уже «трудовического» народничества Ленин писал: «Народническая [утопия] выражает их [крестьянских масс] стремления бороться, обещая им за победу миллион благ, тогда как на самом деле эта победа даст лишь сто благ. Но разве не естественно, что идущие на борьбу миллионы, веками жившие в неслыханной

---

[22] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*. Соч., т. 18, стр. 537.
[23] Там же, стр. 541.
[24] *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 175.
[25] *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 272.

темноте, нужде, нищете, грязи, оброшенности, забитости, преувеличивают вдесятеро плоды возможной победы?.. Народническая утопия — выражение стремления трудящихся миллионов мелкой буржуазии *совсем* покончить с старыми, феодальными эксплуататорами и ложная надежда «заодно» устранить эксплуататоров новых, капиталистических» [26].

Принадлежали ли и «чайковцы» к тем, кто обещал «миллион благ» вместо «ста», кто питал ложную надежду *«заодно»* с уничтожением феодальной эксплуатации и ее политической надстройки — самодержавия — устранить и весь капиталистический строй? Ответ на этот вопрос дают документы.

Прежде всего интересна в этом отношении программа кружка, написанная Кропоткиным. Нет никакого сомнения, что *вся* она пронизана идеей именно *социалистической* революции. Ко *всем* вопросам революционного движения автор подходит с точки зрения подготовки *«социальной революции»*, под которой понимает именно революцию социалистическую. В этом очень легко убедиться, обратившись непосредственно к записке Кропоткина. Мы ограничимся одной выпиской, где вопрос ставится с предельной ясностью. Касаясь значения рабочих стачек, Кропоткин пишет: «Теперь в рабочих возникают новые идеалы, новые цели, новые стремления. Задачею рабочего вопроса становится уже не частное улучшение быта, а вопрос о передаче орудий труда в пользование самих рабочих. *В этой же форме возникает задача и у нас*. Следовательно, вопрос об организации для стачек становится уже вопросом о том, должны ли мы *теперь, когда задача поставлена широко,* трудиться над созданием организации, которая на Западе создалась в то время, когда задача становилась об улучшении быта, а не о *коренном переобразовании*? Ответ неизбежен и ясен: нет!» [27] Нельзя было с большей категоричностью подчеркнуть, что на очередь дня, по мысли автора (а мы не имеем оснований считать его взгляд на характер предстоящего «преобразования» личным только мнением), поставлена задача экспроприации не только помещиков, но и капиталистов.

---

[26] *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 22, стр. 120—121.
[27] «Былое», 1921, № 17, стр. 35 (курсив наш. — *Ш. Л.*).

К тем же выводам приводит знакомство с изданиями «чайковцев» для народа. «История одного французского крестьянина», выпущенная «чайковцами» к осени 1873 г., несколько раз возвращается к вопросу об отношении восставших масс к буржуазии. Здесь мы, например, читаем:

«Хозяева... больно охочи чужими-то руками жар загребать. Как надо им чего добиться, они к простому народу и ластятся, с рабочими обнимаются, не гнушаются и мужичьем. А как народ помог им, они от народа и в сторону. Того еще гляди, к барам пристанут да на рабочих же вместе с барами пойдут. Лукавый народ! За ними надо крепко приглядывать... Нам в те поры (речь идет о Французской революции. — *Ш. Л.*) с ними возиться было совсем неколи: нам еще надо было с барами управиться, да от немцев отбиваться, надо было монахов взнуздывать. А дело нужно вести вот как: спервоначалу бар да монахов поприжать. А потом уж и на купцов и на хозяев напуститься... А ежели у вас баре да монахи не в большой силе, так наплевать на них! Всех их *заодно* и валяйте: *и бар, и купцов-хозяев жарьте зараз,* да и шабаш делу... У нас этаким манером сделать нельзя было: потому у нас баре и монахи были в большой силе. Вот хозяев-то живодеров да кулаков мы оттого и оставили в те поры в покое... Теперича они пуще бар насели на нас... А вы, братики, учитесь да дело-то стряпайте половчее».

Несколько дальше автор продолжает по тому же поводу: «Вы, крестьяне да мастеровые фабричные и заводские, смотрите, чтобы и с вами не проделали купцы и мещане таких же штук. Вы с ними коли против бар пойдете — идите, это ничего. Только вы с ними дружить — дружите, а за пазухой-то про всякой случай камень держите. Покуда они заодно с вами — ладно, а как почнут отлынивать да приставать к барам — вы им стукманку да по шеям. Купцы да вообще большаки — лукавый народ... Они ведь все хотят руками рабочих — вашими руками — жар загребать... Уж не в одной земле они этак народ рабочий обманывали... Так глядите, братцы, не плошайте. Коли в вашей стороне тако дело зачнется, коли вы бар-то уничтожите... и хозяев-то да всяких чиновников, и сами собой управляйтесь... Пора, пора, братцы, за ум взяться

да всех бар да купцов и хозяев побоку да к черту!.. Тогда вы и заведете у себя такое царство-государство, что никаких бездельников, лежебоков и дармоедов не будет — и будет у вас *царство рабочих людей*»[28].

Мы видим, что и здесь целью борьбы выставляется создание «царства рабочих людей» — т. е. социализма. При этом автор как будто колеблется между двумя вариантами: одна революция, уничтожающая «заодно», «зараз» и помещиков («баре»), и капиталистов («хозяева») вместе с купцами и кулаками, или революция против помещиков, в кратчайший, очевидно, срок переходящая в революцию против буржуазии. Но все говорит за то, что появление второго варианта определялось лишь характером материала, на котором построена книжка, — автор комментирует события Великой французской революции. А по существу для России он исходит из первого варианта («а ежели у вас баре да монахи не в большой силе», то и т. д.!)[29].

Если бы мы обратились к показаниям, дававшимся обвиняемыми на дознании и предварительном следствии по «делу 193-х», то и там мы нашли бы, хотя и отрывочные, указания, что «чайковцы» мыслили предстоящую революцию как социалистическую. Например, Низовкин в показании от 14 апреля 1874 г. говорил: «Насколько мне известно могло быть, «чайковцы» задумали переустроить общество в социальном смысле» («причем, разумеется, уничтожение государства», — добавил он). 18 мая он же показывал, что «основным мотивом революционных «законоположений» должно было явиться: «обращение частной собственности привилегированных классов в коллективную собственность крестьянства и городских рабочих; *полная эмансипация труда*»[30] (курсив наш. — *Ш. Л.*). Чарушин в своем заявлении при окончании предварительного следствия говорил о «замене всех существующих отношений совершенно новыми», как о цели, к которой он стремился.

---

[28] «История одного французского крестьянина». Женева, 1873, стр. 110—111, 122—123 (курсив наш. — *Ш. Л.*).

[29] Автором «Истории одного французского крестьянина» был, возможно, Клеменц.

[30] ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 213, л. 96; д. 215, л. 13—14.

Любопытно также, с точки зрения интересующего нас сейчас вопроса, посмотреть на некоторые особенности в письме Чайковского к редактору «Вперед», являвшемся документом отнюдь не личного, а коллективного значения: это был ответ *всего* кружка на первый том журнала, на известную статью Лаврова «Знание и революция». Все письмо трактует об условиях и формах подготовки революционеров из молодежи как пропагандистов *социалистической революции*. Так, на стр. 147 3-го тома «Вперед», где напечатано письмо, читаем о задаче выработки из русской молодежи «пропагандистов идей равенства, братства и справедливости» («справедливость» заняла в знаменитом девизе место «свободы»!); на стр. 153 говорится о революционерах как «глашатаях идеи социального обновления», дальше — о пропагандистах «социального равенства» и т. д. В свою очередь Лавров в ответе на письмо говорит об авторе последнего и его товарищах, как о людях, «стремящихся к экономическому перевороту».

В то же время слова о политическом «обновлении», о политической свободе на всем протяжении довольно обстоятельного письма Чайковского не фигурируют *ни разу*. Нам думается, что объяснения этому надо искать не в простой случайности, а в известном строе мысли, при котором не оказывалось уже самостоятельного места для соответствующих понятий.

В нашей историко-революционной литературе не раз вскрывалась ошибочность того взгляда, будто так называемый аполитизм народников обязательно равнозначен равнодушию к политическим формам и отрицанию положительной роли политических свобод для успешного развития самого «народного дела».

Невозможно, правда, оспаривать, что и подобная тенденция в движении была. Более того, она нашла достаточно яркое отражение в высказываниях столь авторитетного для семидесятников человека, как Бакунин, который писал, что «нет большой разницы между дикой всероссийской империей и самым цивилизованным государством Европы», что «республиканское государство так же притеснительно, как и государство монархическое, только вовсе не по отношению к владельческим классам, а всецело по отношению к

народу», из чего можно было заключить, что в известном смысле республика даже хуже монархии, которая-де «не предоставляет свободы ни одному классу, даже тому, интересам которого она служит»[31]. Или, в другом месте, что различие монархии и республики в том, что в первой «чиновный мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привилегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов... Но народу *отнюдь не будет легче*»[32] (курсив наш. — ***Ш. Л.***).

Но и у самого Бакунина были в этом пункте — пусть несколько ранее — колебания. «Да не подумают, — писал он в своей работе «Федерализм, социализм и антитеологизм», — что мы хотим указать преимущество монархии перед демократическими учреждениями. Мы твердо убеждены, что *самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия,* ибо в республике есть минуты, когда народ, хотя и вечно эксплуатируемый, по крайней мере не угнетен, между тем как в монархиях он угнетен постоянно. И кроме того, демократический режим возвышает мало-помалу массы до общественной жизни, а монархия никогда этого не делает»[33] (курсив наш. — ***Ш. Л.***).

Среди русских сторонников Бакунина было много людей, склонявшихся к первому взгляду, но были, безусловно, представители и второго. Если же и эти последние тем не менее не ставили себе самостоятельной задачей борьбу за уничтожение монархии и замену ее республикой, то это вытекало из того, что для них не существовало двух программ — «максимум» и «минимум», что они допускали одну революцию, разом разрешающую задачи экономического и политического освобождения.

В свою очередь и антагонисты бакунинцев — лавристы не отставали от них в этом вопросе. Лавров пи-

---

[31] Цит. по: *Ю. Стеклов.* Михаил Александрович Бакунин, т. III. М. — Л., 1927, стр. 206—207.

[32] *М. А. Бакунин.* Избранные сочинения, т. I (Государственность и анархия). Пб., 1919, стр. 83.

[33] *М. А. Бакунин.* Избранные сочинения, т. I. Лондон, 1915, стр. 203.

сал о себе, что «политическую революцию в России он считал в эту эпоху полезною лишь в тесной связи с переворотом социальным», понимая социальный переворот «в том виде, как его требовала программа Интернационала» [34].

Выше мы видели, что и «чайковцы» верили в то, что «теперь» задача поставлена «широко», как задача «коренного преобразования», «замены всех существующих отношений совершенно новыми», что наступила «пора», говоря языком «Истории крестьянина», отправить «к черту» и бар и купцов-хозяев «зараз». Поскольку же революция, раз возникнув, могла уже поставить себе эту всеобъемлющую задачу, отпадала как самостоятельная задача подготовки «политической» революции.

Этого не меняет указание Чарушина, что «чайковцы» умели «ценить блага политической свободы» и завидовали политическим условиям на Западе, где «люди могли свободно собираться, открыто и безбоязненно проводить свои взгляды и создавать мощные рабочие и иные общественные организации, не опасаясь, что за это последует суровая и беспощадная кара» (стр. 195) [35].

Вопрос заключается в том, делали ли они из этого тот вывод, что задача завоевания демократии должна быть поставлена на очередь в качестве самостоятельной задачи русских революционеров? Дошли ли они до идеи двух программ, до идеи «программы-минимум»? Ответ на этот вопрос возможен только отрицательный. Притом в период более или менее полного оформления идеологии кружка, т. е. в позднейший период его существования, он был даже еще *дальше* от постановки указанной задачи, нежели в первые годы, к которым почти исключительно и относятся

---

[34] «Вестник Европы», 1910, № 11, стр. 99.

[35] Впрочем, и тут, в области этих, так сказать, чувствований, не все было так ясно и определенно, а имелась известная двойственность. И «чайковцам» не чужд был *страх* перед возможными последствиями установления режима буржуазной демократии в России (если бы вообще эта перспектива была признана реальной) — недаром Шишко говорит не только об «отречении от всех буржуазных политических систем», но и «даже» о «боязни их под влиянием некоторых западноевропейских политических событий» (*Л. Шишко.* Собрание сочинений, т. IV, стр. 220).

те «конституционные искания», о которых упоминает Чарушин (стр. 130—131). Но не будем переоценивать и этих «исканий». «Чайковцы» *всегда* и в первый период, были, несомненно, весьма далеки от правильной постановки вопроса о «политике», как она дана научным социализмом. Будучи еще плохо знакомы (а некоторые из них, быть может, и вовсе даже незнакомы) с Бакуниным, они тем не менее находились в плену идеи, весьма родственной бакунинскому (вообще, анархическому) убеждению, что политика всегда и непременно буржуазна, что настоящей социалистической политики не существует. Этим только можно объяснить, что они самую возможность движения за политическую свободу в России ставили в зависимость исключительно от наличности в стране таких *буржуазных* элементов, которые захотели бы и были бы способны всерьез повести борьбу с самодержавным режимом. Потому и политические «искания» кружка сводились к выяснению вопроса, способны ли русские *либералы* бороться за свободу. Признавая последних в этом отношении «безнадежными», они отвергали реальность и всего так называемого конституционного вопроса.

Организацию *массового,* народного движения с ближайшей задачей политического освобождения они исключали: вовлечение масс в движение, по их убеждению, уже само по себе приводило к постановке вопроса об одновременном освобождении, экономическом и политическом.

Н. А. Чарушин, не разделяющий нашего мнения по вопросу об отношении «чайковцев» к политике, ссылается на собрание у профессора Таганцева по конституционному вопросу. Но это собрание, относящееся, кстати, как раз к первому периоду деятельности кружка (к концу этого периода), показывает лишь, что политический вопрос был тогда для них предметом *обсуждения.* Однако решающее значение имеют *выводы* из этого обсуждения, выводы чисто отрицательные. Заключение собрания, что «в русских условиях некому бороться за конституционные свободы», доказывает вопреки мнению Чарушина (и призываемого им в свидетели Чайковского), что и «чайковцы» так же не нашли правильного разрешения проблемы, как

не нашли его и другие их современники [36]. Другой же привлекаемый Чарушиным свидетель, Кропоткин, хотя и считает, что «равнодушие к политическим формам правления не было ни догматом, ни даже сильным убеждением среди громадного большинства людей», близких к кружку (мы видели, что дело не столько в «равнодушии», сколько в непонимании самостоятельного значения борьбы за изменение форм правления и желательности, возможности и неизбежности ее и в России), в то же время тут же, рядом, признает «ходячею формулою» положение: *«Экономический переворот прежде всего.* Если начнется крестьянская революция, то самодержавие рухнет *само собой»* [37] (курсив наш. — *Ш. Л.*).

IV

Остается коснуться еще одной весьма важной стороны воззрений «чайковцев» — их отношения к вопросам о средствах борьбы, о путях, ведущих к осуществлению поставленной цели.

Мы видели, что целью выставлялся социальный переворот, и уже из приведенных материалов можно было сделать вывод, что этот переворот мыслился не как мирное преобразование, а как «насильственное», революционное.

Еще Шишко, отмечая отрицательное отношение своих товарищей к буржуазным политическим переворотам, подчеркивал: «Но это вовсе не значит, чтобы революционеры 70-х годов считали возможным примирить каким-то путем социалистическое движение с самодержавием и чтобы они понесли в народ *мирную* социалистическую пропаганду. Это значит только, что их политическая программа заключалась в прямом

---

[36] Отметим по поводу собрания у Таганцева деталь, небезынтересную в связи с обсуждаемым вопросом. Одним из ораторов со стороны кружка «чайковцев» на этом собрании был Волховский. Между тем, если верить Чайковскому, Волховский в петербургском кружке «чайковцев» стоял как бы особняком. «На деятельность нашей собственной группы, — пишет Чайковский, — он (Волховский) влияния не оказал, нам он казался политическим радикалом, тогда как мы считали себя социалистами-народниками» (*Н. Чайковский*. Ф. В. Волховский. — «Голос минувшего», 1914, № 10, стр. 233).

[37] *П. Кропоткин*. Записки революционера, стр. 399.

обращении к народу, в призыве к революционному восстанию самих рабочих масс» [38]. При этом он ссылался на характер распространявшейся «чайковцами» в народе литературы, носившей определенно революционный характер, указывавшей на восстание как на выход из тяжелого положения народа. Ссылка эта была вполне обоснованной.

Вот, например, характерные для народной литературы «чайковцев» выдержки из цитировавшейся уже «Истории одного французского крестьянина»:

«Вы горло-то попусту не дерите, кулаками-то не размахивайте, а сговаривайтесь все перво-наперво, а потом *ружьями запаситесь, стрелять-палить поучитесь,* в свободное время ходите по лесу да хошь ворон да белок постреливайте себе, да и деток тому учите. А как сговоритесь да сготовитесь, *тогда и идите на бар да на купцов*. Тогда из вас же человек добрый сыщется, укажет: куда надоть идти вам, что делать, за что перво приниматься, с какого конца починать». В другом месте автор говорит: «Солдат пошлют — и вы *за ружья, за топоры, за колья, за что придется.* Не покоряйтесь, не пужайтесь. Того гляди, и солдаты на вашу сторону перейдут. Тогда уже вы свои порядки и заводите». Или: «Кто убивает, тот пущай и себе такого же конца дожидает. Это уж завсегда так. Знамо дело, палачом, убивцей нехорошо быть, да не годится тоже и бараном быть, свое горло подставлять — на, мол, режь!» [39] (курсив наш. — *Ш. Л.*).

Трудно, кажется, оспаривать, что все это весьма мало похоже было на отказ от насилия, на веру в мирный переход к социализму.

Вопрос о восстании ставился и в *устной* пропаганде «чайковцев». Об этом говорят показания рабочих. Правда, в умах рабочих, главным образом фабричных, мысли пропагандистов преломлялись по-своему. Убеждение в необходимости «длинного пути для достиже-

---

[38] *Л. Шишко.* Собрание сочинений, т. IV, стр. 148.

[39] «История одного французского крестьянина», стр. 51, 133, 152. Аналогичным образом высказывались «чайковцы» и в других своих народных изданиях. Например, в тихомировской «Сказке о четырех братьях»: «И ударит грозный час, пробудится народ, он почует в себе силу могучую, силу необоримую, и раздавит он тогда всех грабителей, всех мучителей безжалостных; реки крови прольет он в гневе своем и жестоко отмстит притеснителям» и т. д.

ния их заветных целей», как пишет Чарушин, всего труднее усваивалось ими. Поэтому мысль о восстании воспринималась часто в *более актуальном смысле, чем это имелось в виду чайковцами,* представлявшими его себе в более или менее отдаленной перспективе (особенно общее и победоносное восстание). Это должно было сказаться и на характере показаний, дававшихся рабочими. Но самый *факт разговоров о восстании* не подлежит сомнению, их нельзя считать измышлением этих рабочих. С этими оговорками мы и приведем несколько выдержек из показаний:

Егор Кудряшев показывал (21 марта 1874 г.), что, по словам Чарушина, бунт надо будет начать в дальних губерниях, а потом, когда из Петербурга будет послано войско, «можно сделать бунт и тут». «В то время телеграфы и железные дороги будут испорчены и войско не поспешит на помощь правительству» [40]. (Намек на идею сочетания восстания со всеобщей стачкой?)

Предатель Тарасов (показание его от 11 апреля 1874 г.) передавал содержание своих разговоров с одним из самых близких к «чайковцам» фабричных Выборгского района, Андреем Егоровичем Коробовым: «Когда Егоров поступил на работу на нашу фабрику, то в разговоре со мною Егоров объяснял, что бунтовать надо будет начать тогда, когда начнется война с пруссаками. При этой войне, по словам Егорова, нужно разослать манифест, что царь все земли и леса отдает крестьянам, а что помещики и правительство этому препятствуют» [41] («чигиринская» идея! Не родилась ли она в умах самих рабочих, окружавших «чайковцев», может быть у самого Коробова?).

О том, что война должна, по мысли «чайковцев», облегчить развязывание революции, Тарасов будто бы слышал и непосредственно от «чайковцев». Об этом он показывал 21 марта 1874 г.: «О времени бунта и Бородулин (т. е. Кропоткин.— *Ш. Л.*) и Клеменц говорили одинаково, а именно что после смерти настоящего царя нынешний наследник затеет войну с Пруссией и угонит туда все войска, то мы должны тогда начать бунтовать, а когда бунт удастся, тогда не

---

[40] ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 83.
[41] Там же.

будет ни войска, ни чиновников, никакого правительства, и будет всем жить хорошо». Это же, по утверждению Тарасова, говорили и Купреянов, и Кувшинская [42].

Но особенно ценно показание Якова Иванова, одного из наиболее сознательных рабочих, довольно тесно связанного с «чайковцами». И он говорит о восстании, но отличает и тактику «подготовительства». Именно в показании от 19 апреля 1874 г. (первом «откровенном» его показании, после того как он на допросах в марте и начале апреля не признал себя виновным ни в чем) Иванов по интересующему нас вопросу свидетельствует: «Чарушин, Бородин (Кропоткин.— *Ш. Л.*), Клеменц, Шишко, Кувшинская и Купреянов в разное время при сходках рабочих рассказывали нам, что положение рабочих очень дурно, правительство облагает непомерными налогами, и затем объясняли, что от этого можно избавиться, соединившись вместе и уничтожив правительство и царя — земля у крестьян тогда будет общая, а фабрики в руках рабочих, что теперь надобно приготовляться к этому восстанию, учиться, читать книги и вообще себя образовывать» [43].

Восстание должно быть и будет, и не только против «бар и купцов», но, конечно, и против их правительства — таково было убеждение, которое «чайковцы» стремились укрепить в сознании народа. Мы видели это из практики литературной и устной пропаганды «чайковцев», это подтверждает вполне определенно и программа. Автор последней подчеркивает, что «без рек крови социальный переворот не совершится»; и он обязывает революционеров разъяснять народу, что существующий строй «не изменится без сильного напора со стороны угнетаемых», что «всякая уступка барства может быть вынуждена только силою» [44]. Поэтому неправы были бы те, кто стал бы характеризовать «чайковцев» «мирными» деятелями, отвергающими насилие и мечтающими о преобразовании общества путем насаждения при царизме артелей

---

[42] ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 94.
[43] Там же, л. 234.
[44] «Былое», 1921, № 17, стр. 37 и 25.

и проч. Это абсолютно не вяжется с их взглядами и деятельностью [45].

Отличие «чайковцев» от более левых их товарищей было в том, что они не верили в *немедленное* восстание и находили необходимым «приготовляться» и серьезно «приготовляться» к восстанию, при этом, конечно, не только путем учебы и чтения книг, как пытался представить дело на допросе Яков Иванов.

«Чайковцы» были «глубоко убеждены в том, что никакая революция невозможна, если потребность в ней не чувствуется в самом народе». «Никакая горсть людей,— писал в своей программе Кропоткин, которому принадлежат и приведенные сейчас слова, — как бы энергична и талантлива она ни была, не может вызвать народного восстания, если сам народ не доходит, в лучших своих представителях, до сознания, что ему нет другого выхода из положения, которым он недоволен, кроме восстания». Анализируя настроения крестьянства и рабочих, «чайковцы» — в лице автора программы — приходили к заключению, что недовольство в массах есть, что оно растет, что надежда дождаться изменения существующего положения сверху постепенно утрачивается, что «боготворение царя», мнение о котором (боготворении) вообще преувеличено,— заметно подрывается. Из этого вытекала уверенность, что народ, «однажды выведенный из терпения», «примется беспощадно истреблять» бар. Надо было только подготовлять успех назревающего восстания. Для этого необходимо было, по мысли программы, безотлагательно приступить к созданию революционной партии, задачи которой «с одной стороны, распространение своих воззрений и увеличение числа своих единомышленников и, с другой стороны, соединение с ними в одну общую организацию» [46].

---

[45] Кстати, специально *против* артелей (производительных ассоциаций) в программной записке Кропоткина помещен подробный раздел. Признавая их в качестве «средства улучшения общественного быта» мерою «совершенно неприложимою и нецелесообразною», программа с точки зрения их возможного, будто бы «воспитательного» значения для подготовки переворота считает их «не только не полезными, но совершенно вредными», так как они способны «отвлечь наиболее умных рабочих в полубуржуазное состояние и отнять у революционной агитации нередко хорошие силы» (там же, стр. 32).

[46] Там же, стр. 18—19.

Задача партии ближайшим образом сводилась, следовательно, к пропаганде и организации, как предпосылкам успешного исхода будущего восстания. «Что мы можем сделать в России?» — часто спрашивали Кропоткина и его друзей рабочие. И ответ их гласил: «Следует проповедовать, отбирать лучших людей и организовать их. Другого средства нет»[47].

Очень ярко взгляд «чайковцев» на важность и необходимость подготовительной работы был высказан автором настоящей книги, Н. А. Чарушиным, в заявлении, написанном при предъявлении ему материалов предварительного следствия, 6 мая 1876 г.: «Цель моего знакомства с рабочими — выяснение ими социально-экономических вопросов. На возможно полное усвоение социальных идей (т. е. социалистических! — *Ш. Л.*) массой рабочего люда я смотрел как на единственное средство добиться в будущем реализации этих идей, в которые я верил. Без этой предварительной подготовки народного сознания, требующей много времени и труда, а при наших политических условиях и массы жертв,— я не только не видел возможности, но и не мог себе представить, каким образом могла бы произойти замена всех существующих отношений совершенно новыми. Этою общею целью определяется и весь характер моих отношений к рабочим за все время моего знакомства с ними, т. е. начиная с 1872 г., кончая 4 января 1874 г. Все мои усилия за это время были направлены на расширение круга понятий рабочих сообщением им разнородных сведений, на критику существующих форм жизни и на выяснение принципов новой и, наконец, на выработку отдельных личностей из среды самих рабочих, которые могли бы совершенно самостоятельно вести то же дело социальной пропаганды, где бы то ни было — будет ли это фабрика, завод или деревня. На всю эту работу я смотрел как на простую подготовку почвы, на которой со временем могла бы создаться *организованная народная партия, составляющая первое и необходимое условие для торжества дела* (курсив наш.— *Ш. Л.*). Поэтому я должен был необходимо быть совершенно чужд всякой мысли о подготовке к восстанию (несомненно, в смысле непосредственной

[47] *П. Кропоткин.* Записки революционера, стр. 241.

подготовки! — *Ш. Л.*) и разжиганию страстей рабочих с этою целью, когда не только не было никакой достаточной силы для осуществления идеи, но даже и те немногие единицы, которые верили в свое дело и работали, далеко не считали свои убеждения вполне выработанными и свои задачи определенными. Правда, мне приходилось в моих беседах с рабочими указывать на социальную революцию как на выход из теперешнего положения, но это всегда бывало только одно простое указание вне времени и пространства и не имеющее никакого отношения к нашим непосредственным задачам» [48].

При чтении этого документа, разумеется, надо считаться с тем, что он написан Чарушиным после почти 2,5 лет одиночного заключения, после того, как он пережил гибель своего кружка, после разгрома движения «в народ», почему его представление о силах движения в целом и об устойчивости «единиц», несомненно, носило более мрачный характер, нежели в то время, когда он энергично работал на воле и видел растущие успехи своего дела. Могло сыграть известную роль и то, что это все-таки было заявление *подследственного*. Но основное утверждение, что без создания организационной народной партии и более или менее широкого распространения социалистических идей в массах невозможна победа социализма, безусловно, отвечало действительному убеждению автора.

Чарушин говорит в начале заявления, что он считал необходимым «возможно полное усвоение социальных идей *массой* рабочего люда», а дальше он признает, что его деятельность была направлена на «выработку отдельных личностей» из рабочей среды. В этом только кажущееся противоречие, ибо разгром захватил «чайковцев» на той стадии развития их деятельности, когда действительно дело еще ограничивалось почти исключительно выработкой личностей, но они были в принципе горячими сторонниками сочетания «единичной» и «массовой» пропаганды и намечали (для всей «революционной партии») обязательность перехода к последней.

Об этом подробно говорит программа Кропоткина: «Кроме подготовки отдельных людей, крайне необхо-

[48] ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 351, л. 166.

димо, чтобы и во всю массу проникали, не только некоторые, а как можно более ясные, сознательные представления о совокупности общих (общественных! — *Ш. Л.*) отношений и о возможных способах их переустройства. Говоря это, мы, конечно, вовсе не хотим утверждать, чтобы необходимо было дожидаться до социального переворота (т. е. ждать с социальным переворотом. — *Ш. Л.*), пока во всю массу проникнут ясные, сознательные представления; но мы говорим, что, чем больше их проникает, тем лучше, и что, следовательно, упускать какой бы то ни было случай для того, чтобы распространять в массе эти представления, было бы крайне странно и непоследовательно. Именно во всей массе необходимо развивать дух критики, дух недовольства, сознание безвыходности мирных реформ, дух бодрости и веры в возможность союзного действия... Влияние на личности и влияние на массу должны идти одновременно, рука об руку; стараться влиять только на общее расположение умов в массе, не созидая тесного кружка нескольких человек, который можно было бы ввести в общую организацию, было бы так же ошибочно, как стараться только создать тесный кружок, но упускать влияние на общее настроение в массе»[49].

Со всякой массовой работой обычно связывается вопрос о необходимости *агитации* на почве частных и повседневных требований и нужд массы. Но большинство, очевидно, «чайковцев» относилось еще к этой отрасли революционной деятельности сдержанно и осторожно. Агитация, в указанном смысле во всяком случае, считалась ими, безусловно, подчиненным делом по сравнению с пропагандой и организацией. «Очень желательно было бы,— по словам записки Кропоткина,— чтобы на пропаганду и организацию агитаторы смотрели именно как на дело и не считали более серьезным «делом» борьбу со старшиною или с мастером». Поэтому вопрос о *возбуждении* «всяких местных волнений с какою-нибудь частною целью» он предлагал решать в каждом отдельном случае в зависимости от того, может ли такое волнение «содействовать или мешать успеху организации и пропаганды». Например, если можно было предвидеть, что

[49] «Былое», 1921, № 17, стр. 28—29.

волнение хотя и достигнет своей частной цели, но повлечет за собою удаление «агитаторов» из среды, где пребывание их признавалось желательным, Кропоткин высказывался *против* него. Вместе с тем записка особо подчеркивала, так сказать, внутреннюю опасность, заключающуюся в подобной агитаторской деятельности,— то, что «всякое средство, не прямо ведущее к цели, чрезвычайно легко, во всяком новом деле, становится целью» [50]. Относясь с недоверием ко всяким волнениям, на знамени которых не написано непосредственное осуществление конечных целей движения, Кропоткин, как мы уже видели раньше, отвергал, в частности, агитацию в пользу организации стачек. Таким образом *левейший* из «чайковцев» приходил к отрицанию таких форм работы, которые могли и должны были значительно «активизировать» ее и придали бы ей непосредственно более боевой характер.

Однако полного единства мнений по этому вопросу в кружке не было. Чарушин в своих воспоминаниях сформулировал позицию представителей другого течения. «Общая пропаганда освободительных идей,— пишет он,— некоторым из нас уже до очевидности казалась недостаточною... Одна словесность уже не удовлетворяла, им (рабочим.— *Ш. Л.*) нужно было и действие, а его-то и не было. И для удовлетворения этой назревающей потребности в рабочих массах сама собою напрашивалась мысль о борьбе за улучшение своего правового и материального положения» (стр. 197). Так ли ясно и четко представлялось дело уже тогда сторонникам этого течения, сказать, конечно, трудно (здесь можно допустить и некоторый элемент модернизации), но в общем нет никаких оснований сомневаться в появлении отмеченной Чарушиным тенденции. Отсюда и родилась мысль о стачках.

Было бы, впрочем, ошибкой предположение, что и Кропоткин не искал своих путей к активизации тактики кружка и вообще «революционной партии». И искал он их как раз там, где движению, по мнению Чарушина, грозили разочарования и дискредитация,— именно в «попытках осуществления конечной цели», хотя бы даже заранее обреченных на разгром.

---

[50] Там же, стр. 33—34.

Будучи, как указано, скорее *противником* волнений с частными и местными целями, Кропоткин зато в высшей степени сочувственно относился — как к наиболее ценной форме «фактической пропаганды» — к «местным движениям с определенною общею социалистическою целью» [51].

По этому поводу Чарушин пишет, что «если в деловой части записки Кропоткин добросовестно старался изобразить взгляды кружка и его настроение, далеко не воинственное, то в прениях иногда все же прорывалось его анархически-боевое настроение», и, как на пример этого, он указывает, что во время обсуждения записки Кропоткин горячо отстаивал идею организации крестьянских дружин для открытых вооруженных выступлений.

По словам Чарушина, предложение не встретило сочувствия и поддержки как несвоевременное. Не этим ли объясняется, что оно дошло до нас в записке в форме как бы дискуссионного предположения? А редактирован этот пункт именно дискуссионно: «*Если бы* решено было, что такое местное движение желательно, то, по выборе местности, можно *было бы* туда направить все наличные силы вместо того, чтобы разбрасывать их по всей России. Поэтому мы выскажем только некоторые соображения, мотивирующие, почему *следовало бы* поставить этот вопрос, как только знание местных условий различных частей России *позволит толковать о нем»* (курсив наш. — *Ш. Л.*).

Соображения эти были таковы: пусть разгром местного социалистического движения должен сопровождаться страшными жертвами, гибелью всего честного и смелого в данной местности и ляжет подавляющим гнетом на «полуравнодушное большинство». Зато «какою враждою на всю жизнь заставляет он (разгром. — *Ш. Л.*) поклясться тех из уцелевших, в ком есть искра человеческой души, незаеденная животными потребами... Как раскроет глаза всякому несле-

---

[51] Близкую позицию занимала, насколько можно судить, заграничная группа бакунистов, издававшая «Работник». По словам Аксельрода, она относилась отрицательно к «исключительному, особенно беспринципному, путчизму» (Putschmacherei — можно перевести и как «вспышкопускательство»). *P. Axelrod.* Bericht über den Fortgang der sozialistischen Bewegung. Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Jg. 2. Zürich, 1881, S. 269.

пому эта драма, где маски сброшены, и одни давят других со всем остервенением бессильных и подлых, вымещающих свою злобу над сильным и честным, пойманным в капкан. Пусть хоть раз выскажутся барство и царь во всей их животной наготе, и реки крови, пролитые в одной местности, не протекут без следа. Без рек крови социальный переворот не совершится; первых заменят последующие — лишь бы только первые ослабили наводнение будущих. А впрочем, эти первые реки, может быть ручьи, льются уже теперь и непрерывною струей то сочатся, то льются через все последние десятилетия, и, может быть, с нашей стороны было бы даже безумием мечтать о том, чтобы задержать их, и, может быть, для нас нет лучшего исхода, как самим утонуть в первой реке, прорвавшей плотину»[52].

Принимая вполне свидетельство Чарушина, что кружок не счел возможным, обсуждая в конце 1873 г. записку, поставить в порядок дня своей деятельности осуществление бунтарского (хотя и не «беспринципно» бунтарского, пользуясь терминологией Аксельрода 1881 г.) плана Кропоткина, мы должны в то же время отметить, что *развитие* кружка шло вообще в направлении *усиления* влияния «кропоткинских» идей внутри него.

Упоминая о деятельности «чайковцев» среди фабричных и заводских рабочих, Чайковский отмечает, что для создания из наличных рабочих групп «прочной основы для социально-революционной кампании во всей стране» у кружка не было «ни времени, ни сил, ни *терпения*». «Мы не выдерживали ни одного своего задания и спешили, как можно скорее, перейти к *широкой* революционной пропаганде в народе...» (курсив наш. — *Ш. Л.*). И этим грешили самые искренние, талантливые члены кружка, как С. Кравчинский, С. Перовская, А. Сердюков, А. Корнилова, Л. Шишко и т. д.». О себе лично Чайковский добавляет, что он видел во всем этом «лишь нашу обычную интеллигентскую авантюру, а не искание объективного дела», но он и сам признает, что таким образом он оказался в кружке на *крайней правой*[53]. Чайковский перечисляет

---

[52] «Былое», 1921, № 17, стр. 37—38.
[53] См. «Николай Васильевич Чайковский», стр. 202.

вообще наиболее «нетерпеливых», считая, как видно, ближайшим признаком нетерпения стремление немедленно переходить к работе в деревне. Кропоткин в своих воспоминаниях тоже дает свой перечень более левых, причем здесь критерием уже прямо служит согласие или несогласие с его боевыми планами. «В этих спорах, — пишет он, — Перовская, Кравчинский, Чарушин и я всегда стояли на одной стороне; большинство — на другой, а некоторые колебались»; «к нам же присоединялся и Тихомиров», пишет он несколько дальше, а Клеменца он называет одним из колебавшихся [54]. Нас в данный момент не интересует вопрос о позиции того или иного лица в частности, и вполне допустимо, что мемуаристы ошибаются в определении тогдашних взглядов Чарушина, о чем он пишет сам в своей книге (стр. 189). Важно установить, что идея о соблюдении постепенности в переходе кружка от этапа к этапу все более теряла власть над умами его членов *(хотя и не всех)*, что революционное «нетерпение» в кружке весьма давало себя чувствовать, что формировалась влиятельная левая группа, жаждавшая более или менее боевой практики в форме ли, рекомендовавшейся Кропоткиным, или в иных формах (повторяем, что сам Кропоткин говорит в «Записках революционера» о сочувствии определенной группы именно его предложениям).

А куда «росли» эти настроения в кружке, лучше всего показывает *ближайшее* будущее некоторых «чайковцев».

Вот Шишко, фигурирующий в перечне Чайковского. Где мы видим его весной 1874 г., с началом движения «в народ»? Он оказывается в группе с Фроленко, Аносовым и несколькими рабочими, направившейся на Урал, чтобы, по словам Фроленко, «повидаться там с беглыми из Сибири и посмотреть, нельзя ли из них

---

[54] См. *П. Кропоткин.* Записки революционера, стр. 405—406. Интересно свидетельство Тихомирова о разногласиях в кружке в это время: «Чем более серьезно и решительно начинал действовать наш кружок, тем больше в нем проявлялось несогласий и столкновений противоположных мнений. Сможем ли мы долго продержаться вместе? Эта мысль была для меня очень тягостна, потому что нити искренней дружбы связывали меня с теми людьми, которые мыслили иначе и чьи принципы теперь расходились с моими» (*Лев Тихомиров.* Заговорщики и полиция. М., 1930, стр. 35).

сформировать что-нибудь вроде отряда». (Далее: «Начитавшись у Ядринцева, что из Сибири ежегодно бежит около 40 000 человек, мы надумали воспользоваться этим обстоятельством, чтобы попытаться сорганизовать из них боевой отряд».) [55]

Заметим при этом, что и другие участники этого бунтарского предприятия вовсе *не были посторонними* для организации «чайковцев» людьми. И Аносов и Фроленко принадлежали к московскому отделению «чайковцев», для настроения которого к началу 1874 г. характерен и другой эпизод, известный нам со слов опять-таки Фроленко. Бакунист (бывший некогда сам «чайковцем») Лермонтов, занимавшийся транспортом «Государственности и анархии» Бакунина и нуждавшийся в деньгах для выкупа ее у контрабандиста, не захотел в Москве взять деньги у местных «чайковцев», но последние, дав деньги через третьи руки и добыв себе несколько экземпляров книги, «сейчас же принялись за ее пропаганду» — «ездили несколько раз даже в Петровку (в Петровскую академию. — *Ш. Л.*) и устраивали там вечера и читали Бакунина» [56]. Из комментариев автора видно, что Бакунина пропагандировали не просто как запретную зарубежную книгу, а вследствие известного идейного сочувствия именно бакунинской установке.

Из питерских «чайковцев» возьмем, далее, Кравчинского, причисляемого к левым и Чайковским и Кропоткиным. Общеизвестно, что Кравчинский явился одним из пионеров «хождения в народ»; его (с Рогачевым) первый опыт пропаганды, в Тверской губернии, послужил для московских «чайковцев» одним из стимулов к отказу от предыдущих форм деятельности и к решению идти в деревню, оставив заботу о подготовке посредников из городских рабочих. К чему пришел Кравчинский уже в 1874 г.? Несомненно, к бакунизму. Об этом имеется прямое свидетельство Аксельрода, встретившего Кравчинского в Женеве в конце 1874 г. [57] В одном из своих писем к Лаврову, написанном позднее этого времени, Кравчинский поместил

---

[55] *М. Ф. Фроленко*. Собрание сочинений, т. I. М., 1930, стр. 115—116, 189.

[56] Там же, стр. 113, 187.

[57] См. *П. Б. Аксельрод*. Пережитое и передуманное. Берлин, 1923, стр. 142.

следующие интересные для нас строки: «Я писал вам и теперь повторяю, что огромное большинство революционной молодежи было противниками вашего органа и направления. Огромное большинство и *в начале* движения в народ не верило в пропаганду, хотело непосредственного, решительного действия. Теперь же, после нашего ужасного погрома, это усугубилось, потому что практика со страшной, подавляющей ясностью показала справедливость того, что прежде только предвидели на основании теоретических соображений» [58]. Нам кажется, весь стиль аргументации Кравчинского таков, как если бы сказанное относилось и к нему лично, и мы предполагаем, учитывая и указанные выше моменты, что сам Кравчинский тоже с начала движения в народ стоял на бакунинских позициях, желая «непосредственного, решительного действия» («бунта», как он говорит прямее в другом своем обращении к Лаврову).

Из петербургских «чайковцев», уцелевших от разгрома, мы можем назвать и Клеменца (тоже одного из пионеров работы в деревне), который также действовал уже с 1874—1875 гг. как убежденный бакунист.

Из местных отделений мы уже упоминали о московском. В одесском кружке, по отзыву Аксельрода, «господствовало антибакунинское направление вообще и антибунтарское в особенности», причем «фанатическим противником бунтарской тактики был Волховский» [59]. Но и здесь, как видно из воспоминаний Ланганса, опубликованных в пространных извлечениях в работе Лаврова «Народники-пропагандисты», к концу существования кружка сформировалось некоторое меньшинство в той или иной степени ориентировавшихся на Бакунина людей [60]. В киевском кружке «чайковцев» в последний период его существования были налицо глубокие разногласия, действовавшие на кружок, как свидетельствует один из его виднейших участников, Аксельрод, «разлагающим образом». «Как ни симпатичны были мне, например, Эмме и Рашевский

---

[58] «На чужой стороне». Историко-литературные сборники. Под ред. В. Мякотина, вып. X. Прага, 1925, стр. 200.

[59] *П. Б. Аксельрод*. Пережитое и передуманное, стр. 117.

[60] См. *П. Л. Лавров*. Народники-пропагандисты 1873—1878 гг., изд. 2. Л., 1925, стр. 193—194.

(горячие защитники чисто пропагандистской тактики в киевском кружке. — *Ш. Л.*), я, — пишет Аксельрод, — чувствовал себя ближе с Катей Брешковской, не входившей в наш кружок и примыкавшей или ставшей в центре радикального, то-есть бакунинского, крыла киевлян. Стефанович, самый молодой член кружка, довольно скоро фактически оставил его и сблизился с представителями этого крыла...»[61] Кроме Аксельрода, к бакунизму склонились в киевском кружке Лурье и Левентали. Правда, это не были «крайние» бакунисты — исключительные «путчисты» и абсолютные отрицатели пропаганды, — а сторонники сочетания бунтарской тактики с пропагандизмом (на последней позиции стоял ведь и Кропоткин). Но все-таки это были бакунисты.

Все такого рода факты и побудили автора этих строк заявить в рецензии на первое издание книги Чарушина, что «сила сопротивления многих из «чайковцев» к овладевавшим все более умами революционной молодежи бунтарским идеям далеко не была велика». На этом мы стоим и сейчас, и не только по отношению к провинциальным отделениям кружка, с чем соглашается вполне и Чарушин в настоящем издании (стр. 203), но, хотя и в более ограниченной мере, и по отношению к основному, петербургскому, кружку. Фронт чистого «подготовительства» и здесь начинал сдавать, и тут настроение у многих становилось все более «боевым», прежние рамки работы кружка начинали стеснять, и создавалась благоприятная почва для восприятия бакунистских идей (в той форме, о которой выше уже говорилось — пропаганда и организация плюс «непосредственные действия»). Но петербургский кружок был и старше, и гораздо сплоченнее всех других, с другой стороны, и ликвидация его началась раньше, и многие его члены были вырваны арестами из его рядов тогда, когда только стали определяться размеры и характер массового возбуждения, прорвавшегося весной и летом 1874 г. «хождением в народ». Потому и процессы, происходившие в местных кружках, в Петербурге недоразвились до конца, не выявились с достаточной ясностью. Но к чему шло дело для

[61] *П. Б. Аксельрод*. Пережитое и передуманное, стр. 119.

многих, показывает дальнейшая судьба таких людей, как Кравчинский или Клеменц, показывает предприятие Шишко и т. д.

* * *

Резюмируем вкратце все вышесказанное.

Кружок «чайковцев» просуществовал небывало продолжительный для подпольной группы срок — с 1869 до 1874 г., когда фактически прекратилась его организованная деятельность (формально основная группа (петербургская) не распускалась довольно долго после арестов 1874 г.).

За это время кружок не стоял на одном месте, а претерпел значительную эволюцию. Начав с организационно-пропагандистской деятельности среди интеллигенции, важнейшим средством которой было «книжное дело», кружок затем перешел к пропаганде среди рабочих, а еще позднее в его среде уже намечался переход к пропаганде в деревне, который некоторыми его деятелями стал уже осуществляться на практике. Однако уже с самого начала своего существования «чайковцы» (тогда, собственно, еще «натансоновцы») имели в виду организацию со временем пропаганды в народе. Ограничение в первый период сферы деятельности кружка одной интеллигентской средой рассматривалось как временное явление, обусловленное необходимостью подготовки серьезных кадров для работы в народе.

Кружок «чайковцев», как целое, в Петербурге больше года вел пропаганду среди рабочих, а ряд его членов занимались этой работой приблизительно в течение двух лет. Пропаганда среди рабочих шла и в местных группах организации «чайковцев». Тем не менее «чайковцы» были очень далеки от правильной оценки рабочего класса и его исторической роли. Главным назначением рабочих в движении было, по их убеждению, служить посредниками между интеллигенцией и крестьянством, вести работу в деревне. Поэтому они с гораздо большим интересом относились к «фабричным» рабочим, теснее связанным с деревней, отдавая им явное предпочтение перед «заводскими». Центром народной жизни для них являлась, конечно, деревня и основной величиной в движении — крестьянство.

Целью стремлений «чайковцев» было «коренное

преобразование» всего общественного строя, т. е. социализм. Политическое преобразование же как самостоятельная и предварительная задача движения не фигурировало в их стратегическом плане. Обе задачи — и экономическое, и политическое освобождение — предполагалось осуществить «заодно», «зараз». Правда, мысль «чайковцев», главным образом в начале существования кружка, обращалась иногда к политическому вопросу, но ни к каким выводам, кроме отмеченного сейчас, это не приводило.

«Преобразование» «чайковцы» представляли себе не мирным, не путем насаждения ассоциаций и т. д., а через революцию, через восстание народных масс. Свою задачу и задачу всех революционных элементов интеллигенции они видели не в том, чтобы пытаться немедленно вызвать это восстание, а в том, чтобы подготовить успех его в будущем. Средствами для этого являлись пропаганда и организация, которым придавалось огромнейшее значение всеми «чайковцами» вплоть до самых левых. «Чайковцы» были, следовательно, «подготовителями».

Начиная, однако, усваивать мысль о недостаточности только словесной пропаганды (плюс организация), некоторые «чайковцы» нащупывали путь к активизации тактики через борьбу за частные интересы и требования — улучшение условий труда и т. д.; зародилась у них, таким образом, мысль об организации стачек. Но эти планы встречали и очень большое сопротивление со стороны тех, кто считал нерациональным и опасным привлечение внимания к борьбе, не ведущейся непосредственно под знаменем конечной цели движения.

С другой стороны, стал выдвигаться вопрос об организации местных восстаний с общей социалистической целью как средстве революционизирования массы. Эта идея или, вернее, ее практическое осуществление в ближайшее время было отвергнуто большинством; идея была признана несвоевременной. Но общая линия эволюции кружка была скорее благоприятна постепенному усвоению подобных мыслей: кружок, несомненно, все левел. В местных отделениях кружка бунтарские настроения сделали к 1874 г. большие успехи, особенно в Киеве и в Москве. В Петербурге бунтарские настроения встречали более сильное сопротив-

ление, фронт «подготовительства» держался крепче. Но и здесь восприимчивость к усвоению совершавшего свое победное шествие в кругах молодежи бакунизма была, безусловно, значительнее, чем это принято иногда утверждать. Уже после фактического распадения петербургской группы (однако *очень скоро* после ее распада) мы встречаем некоторых ее влиятельных деятелей в рядах убежденных бакунистов, хотя и не крайних, не исключительных «путчистов» или «вспышкопускателей».

Многое говорит за то, что все большее проникновение бакунистских идей в среду «чайковцев» было неизбежно и в том случае, если бы кружок не был накануне «хождения в народ» разгромлен; что кружок в конце концов либо «разложился» бы фактически, как это имело место в Киеве, либо, что гораздо вероятнее, эволюционировал бы целиком к бакунизму в его пропагандистско-бунтарской разновидности (организация плюс пропаганда *как* «словесная», *так* и «фактическая», «пропаганда действием»).

Ш. Левин

ПРИМЕЧАНИЯ



К стр. 64

* Книга Флеровского «Положение рабочего класса в России» появилась не в начале, а в конце 1869 г. (см. записку III отделения об этой книге в работе О. Аптекмана «Василий Васильевич Берви-Флеровский». Л., 1925, стр. 55—56). Она посвящена была не столько положению рабочего класса, сколько положению русского крестьянства. Впечатление, произведенное книгой на молодежь, действительно было велико, но не в смысле привлечения внимания последней специально к «рабочему вопросу», а в смысле усиления и углубления интереса к положению трудящихся вообще, к положению «народа». Замечание Чарушина в конце абзаца о книге Флеровского, что «с тех пор» «рабочий вопрос» привлекал к себе внимание тогдашней молодежи «*наравне* с крестьянским вопросом» (курсив наш. — *Ш. Л.*), следует признать преувеличенным: «внимание» к рабочим, несомненно, было, но очень долго еще на *первом плане* в сознании интеллигенции оставалось крестьянство, и «рабочий вопрос», безусловно, *заслонялся* «крестьянским вопросом».

К стр. 67

* Разговоры о подготовке вятских семинаристов к «выступлению», насколько позволяют судить имеющиеся отрывочные данные, представляли дело в раздутом виде. Иван Маркович Красноперов, поступивший в 1862 г. по окончании Вятской семинарии вольнослушателем в Казанский университет, состоял там в том революционном кружке молодежи, с которым удалось связаться видным организаторам «казанского заговора» офицерам Черняку и Иваницкому. Когда в начале марта 1863 г. один из участников казанского студенческого кружка, Иван Яковлевич Орлов, отправился из Казани для пропаганды среди крестьян, намереваясь обойти Вятскую, Оренбургскую и другие губернии, И. М. Красноперов дал ему рекомендательные письма в Вятку к своему двоюродному брату семинаристу Егору Ивановичу Красноперову (упоминавшемуся выше Чарушиным будущему секретарю Вятской губернской земской управы), и к преподавателю той же Вятской семинарии и владельцу библиотеки в Вятке А. А. Красовскому, и к священнику Чеснокову. В этих письмах И. М. Красноперов выражал уверенность, что «время близко, старому свету приближается конец, и Россия воспрянет от сна», что адресаты примут «в этом деле непосредственное участие», и приглашал их исполнить все поручения, какие на них возложит И. Я. Орлов. Последний вручил письмо, а также привезенные им с собой прокламации Е. И. Красноперову. Письмо же Красовскому, которого И. Я. Орлов не застал, было оставлено в библиотеке и скоро, в середине марта, попало в руки полиции. Красноперовы и Красовский были арестованы и привлечены по Казанскому делу.

К стр. 68

* Имеется в виду Медико-хирургическая академия.

Упоминаемый Чарушиным Орлов, очевидно не Иван Яковлевич, бывший не вятским, а иркутским уроженцем, но Николай Гаврилович — вятич, хотя вышедший не из семинарии, а из местной гимназии. Николай Орлов учился вместе с Иваном Красноперовым в Казанском университете и тоже входил в казанский революционный кружок. В апреле он отправился из Казани для распространения прокламаций в Вятскую губернию, но вскоре был арестован (см. *И. Красноперов.* Записки разночинца. М. — Л., 1929, особенно примечания, принадлежащие Б. П. Козьмину).

К стр. 70

* Анкета, несомненно, программа собирания сведений о положении и настроениях народа, выработанная в Петербурге перед разъездом студентов на летние каникулы в 1869 г. Как известно, идея этой анкеты была выдвинута противниками Нечаева. Инициатива анкеты исходила от кружка Натансона — Александрова, т. е. от той первичной ячейки «чайковцев», о которой ниже довольно подробно пишет Чарушин. Сведения по анкете собирались еще и в 1870 г. (сводку данных об этой анкете, ее происхождении и результатах см. в статье Б. Козьмина «С. Г. Нечаев и его противники в 1868—1869 гг.». — «Революционное движение 1860-х годов». М., 1932, стр. 178—186).

К стр. 73

* О пропаганде Чарушина среди вятских «епархиалок» А. В. Якимова рассказывает в своей биографии (Энциклопедический словарь Граната, т. 40, стб. 624—625).

К стр. 75

* Квартира, о которой говорит Чарушин, занималась С. Хохряковым с декабря 1873 г. до первых чисел февраля 1874 г. По показаниям некоторых рабочих (во время дознания и предварительного следствия по «делу 193-х»), собрания рабочих в этой квартире стали устраиваться еще при Чарушине. Так, Егор Кудряшев показывал: «Вскоре (речь идет о событиях декабря 1873 г. — *Ш. Л.*)... Чарушин повел меня к студенту Хохрякову, который жил тут же на Выборгской стороне в Крапивном переулке» (ЦГАОР, фонд Особого присутствия Правительствующего Сената (далее — ОППС), оп. 1, д. 351, л. 76. Показания Кудряшева от 24 января 1876 г.). А Яков Иванов сообщает: «Затем по предложению Чарушина мы стали ходить в Крапивный переулок в дом Долгушина, в квартиру, которую нанял Чарушин. Тут жил студент Хохряков, которого карточку мне показывали» (там же, д. 209, л. 233. Показания Иванова от 19 апреля 1874 г.).

К стр. 103

* «Азбука социальных наук» была первым собственным изданием кружка, которое, вызвав большой переполох в правительственных кругах, сыграло важную роль в жизни «чайковцев».

Книга была закончена печатанием в 20-х числах сентября 1871 г. в типографии Нусвальда в Петербурге; имя автора не обозначено на книге, но с самого начала оно не было тайной ни для III отделения, ни для молодежи. 15 октября 1871 г. III отделение представило Александру II первый доклад об «Азбуке социальных наук», по которому последовало царское «повеление» о недопущении книги к продаже. 30 октября состоялось «повеление» Александра II о запрещении обращения книги в публике

(извлечения из обоих докладов III отделения напечатаны в книге О. В. Аптекмана «Василий Васильевич Берви-Флеровский», стр. 58 и сл.).

1 ноября 1871 г. резолюция царя от 30 октября была сообщена министру внутренних дел, и в тот же день были приняты меры к конфискации всех экземпляров книги, остававшихся на складах и у книгопродавцев. Выяснилось, что книга напечатана в количестве 2,5 тыс. экземпляров и что все они типографией были сданы издателю Полякову, который 800 экземпляров передал на комиссию в книжные магазины Черкесова и для иногородних (Павленкова), а 1690 экземпляров «продал» Чайковскому (на самом деле издателем в данном случае являлся сам кружок «чайковцев», а Поляков, очевидно, помог кружку, приняв на себя роль формального издателя и выступив посредником между кружком и типографией). У Черкесова оказалось около 300 экземпляров, которые и были захвачены полицией; в магазине для иногородних — ни одного. На квартире Чайковского по обыску из 1690 экземпляров, полученных им от Полякова, найден уже только 161 экземпляр. На вопрос, кому именно и в каком количестве продана им книга, Чайковский показал, что 300 экземпляров он продал студенту Медико-хирургической академии Ивану Рождественскому, 200 экземпляров — студенту Технологического института Александру Вербицкому, 50 экземпляров — Дмитрию Клеменцу, а остальные 979 экземпляров продавались им в розницу. При этом Чайковский целью своих операций пытался выставить «извлечение прибылей», так как, по его словам, Поляков уступил ему с номинальной цены книги 60%. Чайковский добавил также, что о предстоящем выпуске «Азбуки социальных наук» он узнал от корректировавшего ее Натансона (зачем понадобилось ему впутывать последнего — непонятно).

Рождественский, Вербицкий и Клеменц подтвердили показание Чайковского о приобретении и распродаже ими книг, причем Клеменц объяснил, что руководствовался при этом как желанием помочь Чайковскому, так и стремлением распространить книгу, которую он считал полезною. III отделение особо выделило из упомянутых лиц Полякова, Черкесова, Чайковского, Рождественского и Натансона, обвиняя их в намерении «распространить в студенческой среде вредные философско-социальные понятия».

20 ноября 1871 г. III отделение обратилось к Александру II со «всеподданнейшей» запиской по вопросу о мерах борьбы с кружком лиц, занимающихся распространением литературы. Готовятся к изданию новые тенденциозные сочинения, жаловалось III отделение, «собираются деньги, вербуются лица, завязываются сношения между городами и заграницею, происходят правильные собрания», а между тем «почти невозможно найти письменные улики, которые с юридической точки зрения констатировали бы какие-либо преступные действия, кроме разве таких, как хранение запрещенных книг, за которое закон определяет весьма малое наказание». Записка заканчивалась патетическим восклицанием: «3-е Отделение собственной вашего императорского величества канцелярии недоумевает, до каких пределов оно, оставаясь зрителем, должно допустить развитие организации, которая с каждым днем увлекает в свои сети новые жертвы».

Через несколько дней после того III отделение приступило к открытым действиям, произведя обыск у студента А. А. Бухарова,

во время которого были обнаружены книги и документы. Был также произведен обыск у Корниловых (27 ноября), временнс был закрыт магазин Черкесова и т. д. Наконец, того же 27 ноября вызван был в III отделение и задержан там Марк Натансон.

Решено было судебного дела о кружке не возбуждать, ибо имевшиеся в III отделении данные носили большею частью такой характер, что не могли быть представлены суду.

Поэтому III отделение предложило ограничиться высылкой Натансона в Архангельскую губернию и возбуждением судебного преследования против Любови Корниловой и Бухарова за производство ими книжной торговли без исполнения законных требований. Натансон был выслан в январе 1872 г. в Архангельскую губернию.

Независимо от этих административных мероприятий был предпринят в связи с изданием «чайковцами» «Азбуки социальных наук» пересмотр действовавшего закона о печати от 6 апреля 1865 г., и в результате состоялось «высочайше» утвержденное 7 июня 1872 г. мнение Государственного совета, на основании которого Комитет министров получил право окончательного разрешения вопроса о конфискации вновь выпускаемых произведений печати, освобожденных от предварительной цензуры; при этом был увеличен промежуток времени между представлением отпечатанной книги в цензуру и выпуском ее в свет, так что интересы администрации отныне обеспечивались в наиполнейшей мере (см. *К. Арсеньев.* Законодательство о печати. СПб., 1903, стр. 87).

Попытки «чайковцев» продолжать издание передовых сочинений для распространения среди молодежи были неудачны: несколько выпущенных ими книг были задержаны и сожжены (см. ниже). Однако работа по распространению книг вопреки ожиданиям III отделения отнюдь не приостановилась.

Рассказывая о вызове на допрос по поводу распространения «Азбуки социальных наук», Чарушин ошибочно предполагает, что он вызывался к Слезкину, но последний находился в эти годы в Москве, состоя начальником Московского губернского жандармского управления.

К стр. 109

* Судя по конспекту воспоминаний Натансона (см. «Революционное движение 1860-х годов», стр. 182), первоначальное ядро «чайковцев» составили Натансон, Александров и Николай Лопатин, все трое — студенты Медико-хирургической академии приема 1868 г., вскоре после поступления в академию сблизившиеся между собой (как и с Сердюковым, очевидно). Тот же конспект приурочивает образование первого ядра кружка ко времени тюремного сидения по делу о студенческих беспорядках 1869 г., т. е. к марту и апрелю этого года. «Центральную группу», тогда же, весной 1869 г., приступившую к работе, Натансон называет в составе: Александров, Лопатин, Сердюков и Натансон. Здесь не упомянут Чайковский, который, однако, сам говорит о своем присоединении к Натансону и Александрову «в первый же момент» (см. его «Открытое письмо к друзьям» от января 1926 г. в сборнике «Николай Васильевич Чайковский». Париж, 1929, стр. 276).

Об участии в натансоновском кружке Д. М. Герценштейна (тоже медик) говорит Чайковский в цитируемой Чарушиным рецензии на книгу В. Богучарского «Активное народничество»,

отмечающий при этом временный характер этого участия. Что Герценштейн действовал в период конца 1869 — начала 1870 г. в контакте с натансоновцами, подтверждают и воспоминания Деникера (см. «Каторга и ссылка», 1924, № 4, стр. 24—25). В конспекте Натансона знакомство его с Герценштейном отнесено к апрелю 1870 г.; но уверенности в совершенной точности этой даты у нас нет, и мы вполне допускаем, что это знакомство состоялось раньше. [Более подробно о возникновении кружка «чайковцев» см. *Н. А. Троицкий*. Большое общество пропаганды. 1871—1874 (так называемые «чайковцы»). Саратов, 1963, стр. 11—13].

К стр. 111

* К сообщению Н. Лопатина примыкает по существу и свидетельство Чайковского, который видит в Кушелевском общежитии необходимый подготовительный этап к объединению первых «чайковцев» (членов натансоновского кружка) с женским кружком Корниловых и др. Приводим соответствующую выдержку из его «Открытого письма к друзьям»: «Для ближайшего ознакомления друг с другом двух кружков и для выработки согласованного понимания своих задач было решено воспользоваться наступающим летом 1871 г. для того, чтобы поселиться на большой даче под Петербургом и устроить там нечто вроде перманентного большого кружка самообразования. Это и было сделано в Кушелевке, на Выборгской стороне... Это общежитие сыграло довольно важную роль в истории кружка... Руководящую роль в этом кружке самообразования играл, несомненно, Марк Натансон, получивший свое революционное крещение еще в гимназические годы во время польского восстания 1863 г. в Западном крае и поэтому отличавшийся сравнительно большей зрелостью политической мысли и впоследствии всегда носивший на себе в революционной практике отпечаток польской конспиративности. В течение этого лета было прочитано много докладов по разным отраслям знания и, между прочим, реферирован т. I «Капитала» К. Маркса по только что полученному немецкому оригиналу и обсужден целый ряд программных и организационных вопросов. За лето члены обоих кружков... подружились и уже в эту раннюю пору сделались живыми частями одного целого. Следует отметить, что в это же лето в Петербурге в Верховном суде (в Особом присутствии Петербургской судебной палаты. — *Ш. Л.*) публично разбиралось Нечаевское дело. И понятно, что каждая деталь этого разбирательства делалась для нас предметным уроком для нашей собственной будущей деятельности. В заседаниях Кушелевского общежития принимали участие не только те, кто жил там, но и многие будущие или настоящие члены кружка, приходившие из Петербурга (например, Дмитрий Клеменц, Анатолий Сердюков и др.)» (Сб. «Николай Васильевич Чайковский», стр. 277—278).

К стр. 113

* В списке Шишко, напечатанном в его статье «Сергей Михайлович Кравчинский и кружок «чайковцев»» (*Л. Шишко*. Собр. соч., т. IV. Пг., 1918, стр. 141), и в другом его списке в работе «Общественное движение в 60-х и первой половине 70-х годов» (М., 1920, стр. 83) перечислены следующие авторы и названия[1]:

Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Некрасов, Мордовцев, Сергеевич;

---

[1] Пояснения в скобках сделаны Ш. Левиным. — *Б. И.*

Костомаров («История Новгорода, Пскова и Вятки во время удельно-вечевого уклада», более известная по подзаголовку «Северно-русские народоправства». СПб., 1868);

Щапов (главным образом «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа». СПб., 1870);

Хлебников (очевидно, «О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории». СПб., 1869);

«Исторические письма» Лаврова (первое отдельное издание. СПб., 1870);

«Положение рабочего класса в России» Флеровского (СПб., 1869);

«Отщепенцы» Соколова (легальное издание 1866 г. было уничтожено по приговору суда, в распространении были главным образом литографированные издания и заграничное издание 1872 г., выпущенное в типографии «чайковцев»);

«Пролетариат во Франции» Шеллера-Михайлова (первое отдельное издание. СПб., 1869, второе — 1872); *его же.* Ассоциации (Очерки практического применения принципа кооперации в Германии, в Англии и во Франции. СПб., 1871; второе издание — 1873);

«Капитал» Маркса (первый том, в переводе Николая-она. СПб., 1872);

первый том Лассаля (перевод В. А. Зайцева. СПб., 1870; второй том был уничтожен) [2];

первый том «Истории Великой французской революции» Луи Блана (перевод М. А. Антоновича. СПб., 1871);

«История цивилизации в Англии» Бокля (в переводах К. Бестужева-Рюмина, Н. Тиблена, А. Буйницкого и Ф. Ненарокомова, выдержавшая за 60—70-е годы ряд изданий);

Дрэпер («История умственного развития Европы», перевод под ред. А. Н. Пыпина, за период 1865—1874 гг. вышла в Петербурге тремя изданиями);

Милль (особенной популярностью пользовались его «Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии» в переводе Н. Г. Чернышевского, «дополненном замечаниями переводчика»; в этом виде отдельно появился только первый том. СПб., 1860; оба тома — первое полное издание — в переводе Чернышевского, но без его примечаний появились как «издание А. Н. Пыпина» в Петербурге в 1865 г. и снова — в 1874 г.);

«Комедия всемирной истории» И. Шерра (Исторический очерк событий с 1848 по 1851 год, вып. 1—2. СПб., 1870—1871);

«Происхождение видов» Дарвина («О происхождении видов путем естественного отбора или о сохранении усовершенствованных пород в борьбе за существование», перевод С. А. Рачинского, с 1864 по 1873 г. вышла в Москве тремя изданиями; в другом переводе — В. Ковалевского — под ред. И. М. Сеченова выходила в Петербурге выпусками в течение 1867—1868 гг.);

«Рефлексы головного мозга» Сеченова (впервые вышли как приложение к «Медицинскому вестнику» 1863 г., затем отдельно. СПб., 1866, 1871); Спенсер; Берне;

---

[2] По воспоминаниям Деникера, второй том Лассаля ходил по рукам в корректурных оттисках.

романы Шпильгагена (особенно «Один в поле не воин», выдержавший ряд изданий);

романы Швейцера «Эмма» (СПб., 1871) и «Люцинда» (СПб., 1872 — уничтожен)[3];

«Делатели золота» Цшокке («Народная повесть». М., 1873).

Список распространявшейся «чайковцами» литературы, приводимый Шишко, дополняется некоторыми другими источниками. Так, воспоминания И. Е. Деникера («Каторга и ссылка», 1924, № 4, стр. 30) дают следующие дополнительные названия:

«Свобода речи, терпимость и наши законы о печати» Флеровского (книга вышла без имени автора. СПб., 1869 и 1870);

«Труд» Торнтона (полное название: «Труд, его ложные требования и законные права, его настоящее положение и возможная будущность». СПб., 1870);

«История нидерландской революции» Мотлея (2 тома. СПб., 1865—1866);

«История французской революции» Минье (перевод под ред. и с предисловием К. К. Арсеньева. СПб., 1867).

В конспекте воспоминаний М. А. Натансона находим указания на распространение «чайковцами», не считая ряда изданий, уже упомянутых в статье Шишко, следующих книг:

«История рационализма» Лекки (полное название: «История возникновения и влияния рационализма в Европе», перевод А. Н. Пыпина; первый том, вышедший в Петербурге в 1870 г., вызвал судебный процесс против издателя Н. Полякова за непредставление книги в духовную цензуру, причем книга была задержана до просмотра цензурою; второй том — СПб., 1872 — был запрещен и уничтожен);

«Душа человека и животных» Вундта[4] (перевод Е. К. Кемница; том первый. СПб., 1865; второй том был готов к выпуску в свет в апреле 1866 г., но задержан с возбуждением против издателя П. Гайдебурова судебного процесса за непредставление книги в духовную цензуру; дело разбиралось последовательно в окружном суде, судебной палате, Сенате и снова в судебной палате, и в конце концов Гайдебуров был оправдан, а книга разрешена к выпуску в том виде, в каком она и появилась в 1868 г.);

«Рабочий вопрос» Бехера (полное название: «Рабочий вопрос в его современном значении и средства к его разрешению»; перевод под ред., с предисловием и примечаниями П. Н. Ткачева. СПб., 1869; в этом виде книга была задержана и появилась затем в свет лишь в 1871 г., уже без примечаний и предисловия Ткачева, уничтоженных по приговору суда);

«Биография Овена» Бута (полное название: *Артур Бут*. Биография и деятельность Роберта Овена. СПб., 1870. Постановлением Комитета министров от 23 января 1873 г. книга была запрещена и уничтожена).

В воспоминаниях Н. В. Чайковского упоминается о распространении кружком в числе других авторов, уже известных нам, самого Роберта Оуэна (очевидно, книжки «Образование человеческого характера», русский перевод которой вышел в 1865 г. в Петербурге).

---

[3] По воспоминаниям Деникера, ходил по рукам в корректурных оттисках.

[4] У Натансона названа «Душа и тело».

Е. Н. Ковальская называет среди других книг, распространявшихся «чайковцами», «1848 г.» Вермореля («Деятели 1848 года и их роль в событиях как 1848, так и последующих лет». СПб., 1870; тогда же вышла и вторая книга Вермореля — «Деятели 1851 года. История президентства и второй империи»).

[Перечень книг, распространявшихся «чайковцами», содержится также в «Очерке истории кружка «чайковцев». Революционное народничество 70-х годов XIX века», том I. 1870—1875 гг. Под ред. Б. С. Итенберга. М., 1964, стр. 226—228].

** Н. А. Грибоедова в числе членов кружка «чайковцев» называет и Натансон в своем конспекте; членом кружка, хранителем кассы последнего его называет также в своих воспоминаниях В. Л. Перовский; в пользу утверждения Чарушина говорят, наконец, и воспоминания Морозова, согласно которым в ноябре 1874 г. состоялось решение кружка «чайковцев» о выезде Грибоедова на время за границу.

К стр. 114

* «Положение рабочего класса в России» Флеровского было отпечатано вторым изданием в Петербурге в 1872 г. Постановлением Комитета министров от 9 мая 1873 г. книга была запрещена и уничтожена.

«История февральской революции 1848 г.» Луи Блана (том первый) отпечатана была в Петербурге в том же 1872 г. и тоже запрещена и уничтожена (заметим, что эта книга вышла как «Издание Гриднина и Рождественского», в издании которых вышла в свое время, в 1870 г., книга Вермореля «Деятели 1851 года», упоминавшаяся выше).

Та же судьба постигла книгу Ланжеле и Коррье «История революции 18 марта», которая была переведена под ред. А. Михайлова (Шеллера) и отпечатана в Петербурге в 1873 г. как «Издание Надеина».

К стр. 116

* Из всех названных раньше Чарушиным членов кружка «с кружкового горизонта» исчез с 1872 г. (не считая высланного Натансона и последовавшей за ним в ссылку Ольги Шлейснер) один только Феофан Лермонтов. К нему, видимо, и относится сообщение Чарушина, который пишет на стр. 123 о разрыве с Лермонтовым в 1872 г. «из-за какого-то несогласованного и произвольного его поступка», а в другом месте (см. стр. 176) отвергает возможность идейного влияния Лермонтова после его разрыва с кружком в среде членов последнего, так как «моральный авторитет его был подорван».

[Автор очерка истории кружка «чайковцев» свидетельствует, что Лермонтов был исключен из кружка. «Поводом к этому исключению, — пишет он, — был его [Лермонтова] отказ называться издателем «Азбуки социальных наук» в глазах начальства, что́ ему предлагалось кружком как человеку, стоящему официально отдельно от кружка и, следовательно, имеющему возможность придать делу чисто коммерческий оборот. Лермонтов отклонил предложение без объяснения мотивов, хотя и знал, что в таком случае ответственным лицом придется быть Чайковскому или Натансону, к которым были приставлены три постоянных шпиона» («Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. I, стр. 231).

Эта версия подтверждается и Л. Тихомировым (см. «Воспоминания Льва Тихомирова». М. — Л., 1927, стр. 54)].

К стр. 118

* «Заслуги Натансона как революционера... несоизмеримы с деятельностью кого-либо другого из людей того времени», — пишет В. Н. Фигнер в своей статье «Марк Андреевич Натансон». Это утверждение она основывает на том, что именно Натансон создал первое объединенное ядро той молодежи, которая сложилась в кружок «чайковцев» и что им же было организовано тайное общество «Земля и воля», из которого впоследствии вышла «Народная воля» (см. «Каторга и ссылка», 1929, № 7, стр. 141—150).

К стр. 120

* Н. В. Чайковский дал, как известно, с 1871—1872 гг. свое имя той организации, которую с весны 1869 г. начал строить Марк Натансон. Однако, по более или менее единодушным отзывам всех мемуаристов, это объяснялось не какой-либо особо руководящей его ролью в кружке, а другими обстоятельствами. Об этом он говорит и сам в своем «Открытом письме к друзьям», написанном сравнительно незадолго до смерти: «С этих пор (т. е. после ареста и высылки Натансона. — *Ш. Л.*) кружок начинает называться «кружком чайковцев», и отнюдь не вследствие моего лидерства (мне было тогда всего 21 год), а главным образом по деловым сношениям с книгопродавцами и издателями, для которых у меня имелись некоторые практические навыки» (сб. «Николай Васильевич Чайковский», стр. 278).

** Биография Николая Лопатина в период непосредственно после его отъезда из Петербурга недостаточно выяснена. Сразу ли он попал в Киев, и в частности в студенты Киевского университета? Нам удалось разыскать несколько (правда, разрозненных) списков студентов Киевского университета за 70-е годы. В списке за первое полугодие 1871/72 уч. года его нет, как и в списке за первое полугодие 1872/73 уч. года. В следующем из попавшихся нам списков (за первое полугодие 1875/76 уч. года) Лопатин числится на пятом семестре медицинского факультета. Поскольку Лопатин провел уже до того три года в Медико-хирургической академии, невольно возникает вопрос: не поступил ли он в Киевский университет только в середине 70-х годов? С другой стороны, и среди участников киевского кружка «чайковцев», известных нам по воспоминаниям *самих киевлян* (Аксельрод, Лурье, Гуревич, Н. Левенталь), Николая Лопатина нет. Аксельрод называет Лопатина, но не Николая, а Всеволода, добавляя, что это брат Германа, каковым в самом деле был именно Всеволод, а не Николай Лопатин. Приезд Всеволода Лопатина и его вступление в киевский кружок он относит притом тоже к более позднему времени — 1873 г. Быть может, уехав действительно из Петербурга в Киев в конце 1871 г. и связавшись там с Рашевским и Эмме (см. о них ниже), Николай Лопатин вскоре же покинул этот город, почему его и нет в студенческом списке 1872/73 уч. года, почему и Чарушин при посещении своем Киева в начале 1873 г. его не застал, почему, наконец, и работавшие в Киеве в период 1872—1874 гг. Аксельрод и другие о нем не упоминают (кроме Чарушина к числу киевских «чайковцев» Николая Лопатина причисляет

Шишко в работе «Общественное движение в 60-х и первой половине 70-х годов», стр. 83).

К стр. 126

* Студент, сведший Чарушина и его товарищей со Ждановым, не Грацианов, а Грацианский (Николай Иванович, будущий петербургский присяжный поверенный).

К стр. 127

* Синегуб, подтверждая расхождение между ним, Чарушиным, Поповым и Стаховским, с одной стороны, и Ждановым — с другой, в вопросе о цели и характере занятий с рабочими приписывает, однако, отход Чарушина и Попова не этому расхождению, а тому, что Чарушина поглощала «разраставшаяся конспираторская деятельность» по книжному делу «чайковцев», и тому также, что оба они еще не были увлечены только что зарождавшейся деятельностью в среде рабочих (см. *С. Синегуб*. Записки чайковца. М. — Л., 1929, стр. 14—15). Однако вся дальнейшая деятельность Чарушина, его непрекращавшиеся усилия по завязыванию связей с рабочими говорят за то, что он вполне точен в изложении мотивов своего отхода от занятий со ждановскими рабочими.

К стр. 128

* Первые сношения Сердюкова с рабочими относятся, по-видимому, еще к 1870 г. Об этом свидетельствует следующее место из показаний, данных на дознании и предварительном следствии по «делу 193-х» Низовкиным (мы цитируем сообщение Низовкина во второй редакции предварительного следствия):

«Пришел к Сердюкову в то время (весной 1872 г. — *Ш. Л.*) один фабричный, оказавшийся затем со Штиглицкой фабрики, на которой перед тем (в показании на дознании сказано: «до того довольно задолго») происходила известная стачка рабочих. Так как Сердюков принимал сказанного рабочего в моей комнате, то я и имел возможность непосредственно участвовать в их беседе. Фабричный, между прочим, предался воспоминаниям о знаменитой стачке, происходившей между его товарищами, и при этом выражал Сердюкову великую благодарность за ту помощь, которую Сердюков будто бы оказал стачке и своим личным участием и деньгами. Будучи с Сердюковым на «ты», фабричный, обращаясь ко мне, выражался, однако же, так: «Они нам много подмогли!» Здесь выражением «они» фабричный, очевидно, указывал на совокупность, на то, что Сердюков действовал в стачке не один, а вместе с другими. Заинтересовавшись этим обстоятельством, я хотел подробнее порасспросить фабричного, но Сердюков не допустил меня до этого, а именно он попросил рабочего замолчать и даже увел его в свою комнату. Однако же после того сам Сердюков подтвердил подлинность факта, узнанного мною так случайно, т. е. что он, Сердюков, вместе с некоторыми товарищами действительно поддерживал Штиглицкую стачку деньгами и личным участием; но ни имен товарищей, ни вообще каких-либо подробностей дела Сердюков мне не сообщил, — что, впрочем, вполне гармонировало с его фанатической скрытностью... Факт этот показывает, что уже с довольно давнего времени вокруг Сердюкова группировался некоторый кружок, стремившийся к сближению с народом, и, несомненно, что кружок этот представлял собою ядро той самой партии, которая сложилась в позд-

нейшее время, главным образом при содействии Чайковского» (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 352, л. 50. Показание Низовкина от 29 января 1876 г.). Бесспорно, Низовкин имел в виду известную стачку рабочих Невской мануфактуры в мае 1870 г. Что основоположники организации «чайковцев» интересовались этой стачкой, подтверждает запись в конспекте Натансона: «Первая забастовка ткачей». А несколько дальше в том же конспекте, говоря о «расширении деятельности кружка», после пунктов «а» («выработка плана самообразования»), «б» («пропагандистские кружки среди учащейся молодежи»), «в» («среди учителей»), Натансон помещает пункт «г», гласящий: «(Август — декабрь 70 г., май 71 г.). Среди рабочих. Петерсон» (см. «Революционное движение 1860-х годов», стр. 182—184). Мы не беремся на этом основании утверждать, что знакомство «чайковцев» с Петерсоном состоялось уже в период с августа 1870 по май 1871 г., но приведенные данные говорят о том, что первые попытки связаться с рабочими имели, очевидно, место еще до реорганизации кружка летом 1871 г., даже, по-видимому (рассказ Низовкина!), в 1870 г.

К стр. 129

* Упоминаемый Чарушиным Шлейснер — один из братьев (младший) Ольги Шлейснер — Виктор Александрович, бывший студент-технолог, поступивший рабочим на Семянниковский завод за Невской заставой. В цитированном показании на следствии Низовкин сообщает, что он впервые услышал о Шлейснере в начале 1872 г. от Сердюкова, отзывавшегося «о нем с похвалою, как о человеке, бросившем науку ради сближения с рабочими». Сам Низовкин познакомился со Шлейснером через рабочего Михаила Орлова в 1873 г. По его словам, «Шлейснер летом 73 г. собирался оставить завод, поступить в Технологический институт снова и заняться наукою, бросив все прочее в сторону». Низовкин объяснял это тем, что «в кружке «чайковцев» (он считал Шлейснера «чайковцем», но Шлейснер был только близок со многими членами кружка. — *Ш. Л.*), как и во всяком политическом кружке, встречались личности, поворачивающие назад, отстающие от кружка и его целей, и к таковым-то принадлежит и Шлейснер: по крайней мере ни в среде рабочих, ни в среде «чайковцев» с давнего времени об нем не упоминалось ни слова» (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 215, л. 22. Заявление Низовкина от 29 сентября 1874 г.).

Этим заявлением Низовкин хотел отделить второстепенных, по его мнению, участников движения от активных деятелей, показать «хвост» «чайковцев», «пассивно тянувшийся за ними». Но в следующем заявлении, от 20 октября, он решительно отказался от предыдущего своего заявления. В частности, о Шлейснере в новом заявлении читаем: «Шлейснер при всем том, что не отличался большою энергией в деле агитации и даже обнаруживал, как мне казалось, как бы признаки поворота... назад, тем не менее сознательно участвовал в организации «чайковцев», был в самых тесных сношениях со всеми рьяными агитаторами, наконец, поступил на завод с очевидною целью агитировать против правительства под прикрытием невинного изучения слесарного ремесла; словом, Шлейснер — агитатор-«чайковец», хотя, как мне казалось, не из энергичных» (там же).

Предположение Чарушина, что Виктор Шлейснер помогал «чайковцам» в привлечении рабочих из-за Невской заставы в заводской кружок, довольно правдоподобно.

К стр. 137

* Кропоткин был секретарем одного из отделений Географического общества (отделения физической географии). От занятия поста секретаря Географического общества, предложенного ему осенью 1871 г., он отказался, так как принял уже тогда решение отдаться работе для народа и в народе (он сам об этом подробно рассказывает в «Записках революционера», ч. 4, гл. 3).

К стр. 142

* О первой связи «чайковцев» в 1872 г. с фабричными рабочими Выборгской стороны рассказал в своих воспоминаниях Синегуб (см. его «Записки чайковца», стр. 33 и сл.).

В нашем распоряжении имеется сообщение об этом же эпизоде одного из упоминаемых Синегубом и Чарушиным рабочих — Никиты Петровича Шабунина, написанное по нашей просьбе в 1926 г. (Шабунин, тогда уже 76-летний человек, жил в это время у своей дочери за Невской заставой в Ленинграде).

Приводим выдержки из рассказа Шабунина. Проработав ряд лет (начиная с 1864 г.) на фабриках Тверской губернии, откуда он был родом, Шабунин попал в Петербург. «Там, — пишет он, — я ходил по поденной работе, что мне надоело. Я тогда стал искать выхода, узнал, что на фабрике Шау (в Выборгском районе. — *Ш. Л.*) работает наш земляк Никита Петрович Миронов подмастерьем. Я обратился к нему и поступил на фабрику Шау. Он принял меня к себе в артель, где было нас 35 человек. В это время тут был мой товарищ Иван Артемьев Абакумов. В то время близ нашей фабрики открылась воскресная школа и мы пошли, записались. Нас приняли, и к нам присоединился Григорий Крылов, и мы все трое ходили вместе в один класс и стали сообща покупать кое-какие книжки. В одно время мы с Абакумовым пошли в парк и купили, не помню какую, книжку; сели в парке читать. В это время к нам подходит молодой человек (Серебренников), спрашивает нас, где мы живем и чем занимаемся; он расспрашивал о нашей работе и в конце беседы он нам предложил — не желаете ли вы каких-нибудь книжек брать у него на прочет. Мы с охотой согласились. — Пойдемте, я вам укажу квартиру. — Мы с ним пошли, квартира эта была в Ижорской улице (на Петербургской стороне. — *Ш. Л.*). Когда туда пришли, то там были еще трое, которых фамилии мы после узнали. Это были Попов, Купреянов и Шамарин. Нас любезно приняли и дали нам книжек: «Дедушка Егор», «Клод Ге» и «О деньгах», еще не помню какие, — и сказали, что к ним можно приходить каждый вечер. Но каждый вечер мы не могли ходить, потому что нам было нужно после 8 часов вечера идти в школу. Когда мы прочитывали книжки, тогда приходили и в будни, а в праздники всегда приходили туда. Когда пришли второй раз, тогда мы захватили с собой и Григория Крылова. Когда пришли туда на квартиру, там кроме этих товарищей был Сергей Синегуб, еще двое, фамилии которых мне неизвестны, и Чарушин, который к нам ходил на квартиру. Потом на квартиру в Ижорской улице, куда мы ходили, переехал Владимир Синегуб. Тогда нам пришлось ходить на угол Воздвиженской и Боровой улиц. Это для нас, рабочих, было неудобно, потому что очень от нас было далеко, и нам тогда приходилось приходить только под воскресенье. Потом, не помню почему, квартира оказалась в доме Байкова близ нашей квартиры. Тогда мы стали ходить каждый день, где были курсистки Охро-

менко, Рязанцева, Кувшинская и Корнилова, которых я знал. Не помню, сколько времени мы ходили, потом я поехал в Тверь... а Абакумов и Крылов остались в Петрограде».

Ряд фактических деталей рассказа Шабунина, разумеется, остается под вопросом; так, например, трудно установить, действительно ли рабочие встретили Леонида Попова и Купреянова в екатеринбургской коммуне, где жил Серебренников, или же их фамилии запомнились ему по занятиям в доме Байкова; знакомство с Синегубом, судя по воспоминаниям последнего, состоялось раньше, чем с Чарушиным, и т. д.

К стр. 150

* Рассказ М. К. Цебриковой «Дедушка Егор», напечатанный сначала (за подписью «Н. Р.») в «Неделе» за 1870 г., № 30 и 31, был разрешен для отдельного издания киевской цензурой 16 марта 1872 г. Таким образом, первые шаги «чайковцев» в области издания литературы для распространения *в народе* (если только память не изменила здесь Чарушину и киевское издание «Дедушки Егора» действительно предпринято было *по их инициативе),* надо отнести *к началу 1872 г.* Новое издание «Дедушки Егора» вышло потом в Петербурге в первой половине мая 1873 г. в количестве 10 тыс. экземпляров.

В. Н. Майнову принадлежал рассказ (очерк) «Ванюха Беспутый», напечатанный тоже в «Неделе» за 1870 г., в № 6 по 12 (за полной подписью автора). Отдельное его издание под заглавием «Беспутый» вышло только в июле 1874 г. в Петербурге, но цензурное дозволение помечено: Киев, 14 июля 1873 г. Естественнее всего было бы предположить, что переговоры Чарушина с Майновым касались именно вопроса о перепечатке «Ванюхи Беспутого», если бы не утверждение Чарушина (в письме к нам от февраля 1925 г.), что посещение Майнова не было связано с вопросом об этом рассказе.

К стр. 152

* Прочные связи с Москвой установлены были «чайковцами» задолго до описываемого времени. Первыми московскими членами кружка Шишко (см. его «Общественное движение в 60-х и первой половине 70-х годов», стр. 83) называет М. Антонову (жена Ф. Волховского), С. Клячко и А. Иванчина-Писарева. К числу более ранних участников работы «чайковцев» в Москве принадлежали также Н. Цакни, В. Батюшкова, Н. Армфельд и, возможно, И. Львов. Из названных лиц особенно деятельным был Клячко, поддерживавший самую тесную связь с Петербургом и, между прочим, ведший в Москве большую работу по «книжному делу» «чайковцев».

Нельзя, однако, считать совершенно установленным существование в Москве в период 1871—1872 гг. вполне оформленного кружка местных «чайковцев», а если таковой и существовал, то после ареста в 1872 г. Клячко и Цакни и в связи с выездом из Москвы Антоновой и Иванчина-Писарева он, возможно, распался. По крайней мере к началу 1873 г., когда Чарушин в этот раз приехал в Москву, москвичи, судя по воспоминаниям Л. Тихомирова, находились в несколько распыленном состоянии. Так, он пишет («Воспоминания Льва Тихомирова», стр. 73): «Хотя мы (Наталья Армфельд, Батюшкова, я, Аносов, Князев) действовали более или менее вместе, но кружка не составляли». Образование кружка состоялось, по его словам, по настояниям петербуржцев

весной 1873 г., причем «первую роль в образовании кружка играл Чарушин», оформивший московский кружок во время своей остановки в Москве при возвращении из поездки по России (там же, стр. 74—75).

Фроленко и Морозова еще не было тогда в кружке: первый из них стал членом организации «чайковцев» летом 1873 г. (см. *М. Фроленко*. Собрание сочинений, т. I. М., 1930, стр. 109), а второй — только в 1874 г. (*Н. Морозов*. Повести моей жизни, т. I. М., 1933, стр. 205 и сл.). Не состояла тогда в кружке и О. Алексеева, ставшая членом организации даже позже Фроленко и Морозова, в период разгрома «движения в народ» (1874), впрочем, она весьма близка была к московским «чайковцам» и помогала им до своего формального вступления в кружок. Наконец, и Татьяна Лебедева связалась с «чайковцами» гораздо позднее того времени, к которому относится поездка Чарушина, а именно зимой 1873/74 г.

[Более подробно о формировании московской группы «чайковцев» см. в указанной работе Н. Троицкого, стр. 20—23].

К стр. 153

* По воспоминаниям Тихомирова, «рабочее дело» в Москве, после конституирования весной 1873 г. кружка, было поручено ему и Князеву (странно, что Чарушин, знавший Князева еще по Вятке, не вспоминает последнего в числе членов московского отделения «чайковцев»). Оно было ими поставлено при помощи трех работников, не входивших в кружок, — Аркадакского, Фроленко и третьего, обозначаемого Тихомировым буквой «S». «В сумме все это было еще не пропаганда, а лишь искание *связей* и *знакомств* среди рабочих» (см. «Воспоминания Льва Тихомирова», стр. 75). Впрочем, и Аносов участвовал с самого начала в налаживании пропаганды среди рабочих в Москве (первые рабочие связи, по воспоминаниям того же Тихомирова, были завязаны именно Аносовым) (там же, стр. 65—66).

Кропоткин не «перебирался» в Москву, а только приезжал туда для совещания с московским кружком. Клеменц же, Кравчинский и Шишко действительно в 1874 г. (Кравчинский даже и несколько раньше, с конца 1873 г.) подолгу жили и работали в Москве и внесли значительное оживление в деятельность московского отделения кружка «чайковцев».

К стр. 156

* Киевский кружок ко времени приезда Чарушина в начале 1873 г. еще не являлся отделением кружка «чайковцев», хотя двое из его участников — И. Рашевский и В. Эмме, самые старшие в нем по возрасту и по общественно-революционному стажу, были известны петербургским «чайковцам» и давно находились с последними, по словам Чарушина, в «тесном деловом общении» (Эмме учился, до переезда в Киев, в Медико-хирургической академии в Петербурге). Кружок сформировался приблизительно в конце 1872 г., причем главным его организатором был П. Б. Аксельрод. Как целое, этот кружок связался с «чайковцами» именно с приездом Чарушина; а в общую организацию «чайковцев», согласно воспоминаниям Аксельрода (в его книге «Пережитое и передуманное». Берлин, 1923, стр. 101—102 и 106—107), киевляне окончательно включились только осенью 1873 г., во время второго посещения Киева Чарушиным.

Сношения с рабочими завязались в Киеве до приезда Чару-

шина. Первым из кружковцев повел эту работу Аксельрод. Правда, и до него, судя по воспоминаниям С. Лурье (см. его письмо к Н. Левенталю от 1880 г. — «Каторга и ссылка», 1928, № 1 (38), стр. 126—127), среди киевского студенчества было течение в пользу сближения с рабочими, но целью сближения ставилось исключительно распространение общих знаний, и лишь члены вновь организовавшегося кружка (будущих киевских «чайковцев») придали этому движению новую окраску, внеся в занятия с рабочими элемент революционной пропаганды.

Кроме плотников, о которых свидетельствует Чарушин (плотничьих артелей было несколько), Аксельрод вспоминает работу в артелях столяров, стекольщиков, каменщиков, печников; вообще больше всего связей было, по его словам, среди строительных рабочих («Пережитое и передуманное», стр. 97).

Вызывает большое сомнение упоминание Чарушиным в числе киевлян, с которыми ему пришлось столкнуться уже в этот первый приезд, братьев Левенталь. По воспоминаниям Н. Левенталя, он и брат его, Л. Левенталь, весной 1873 г. еще жили в Петербурге, где учились один — в Медико-хирургической академии, а другой — в Технологическом институте; в Киев они перебрались по приглашению товарищей, извещавших, что «завязалось какое-то дело, очень важное, о котором сообщали пока полунамеками» (*Н. Левенталь.* Накануне хождения в народ. М., 1927, стр. 3). Этим делом была именно пропаганда среди рабочих; как видно из сообщения Аксельрода, братья Левенталь, его старые товарищи по Могилеву, переехали из Петербурга в Киев по его приглашению для участия в пропаганде.

Если и несомненно, что «рабочее дело» киевских «чайковцев» было поставлено гораздо шире, чем это можно было бы заключить из воспоминаний Чарушина, то нельзя, с другой стороны, и не подчеркнуть, что оно далеко не приобрело там того размаха и не имело тех значительных результатов, что в петербургском кружке.

Чарушин упоминает лишь два вопроса, которыми он занимался в Киеве, — о пропаганде среди рабочих и о транспорте литературы из-за границы. Он упускает сообщить еще об одном пункте, с которым был связан отчасти и транспортный вопрос, — об информации относительно программы подготовлявшегося журнала «Вперед!». Об этом свидетельствует и Аксельрод в своих воспоминаниях (стр. 101) и Лурье в отмеченном выше письме его к Левенталю («он — т. е. Чарушин — самолично прочел нам программу с необходимыми пояснениями», — пишет Лурье). При этом оба сообщения расходятся, однако, по вопросу об отношении, которое встретил со стороны киевлян привезенный Чарушиным проект программы. Лурье указывает, что в Петербурге программу раскритиковали, в Киеве же она показалась «достаточно радикальной», между тем Аксельрод говорит: «Проект показался мне недостаточно революционным и не вызвал у меня восхищения, а скорее наоборот» (или в другом месте: «Уже проект этой программы, привезенный нам весной 73 г. Чарушиным, показался мне бледным и крайне умеренным» («Пережитое и передуманное», стр. 110).

К стр. 157

* Посещение Чарушиным «киевской коммуны» должно относиться к следующему его приезду в Киев — во второй половине

1873 г., так как в описываемое время (конец февраля (?) 1873 г.) «коммуна» еще не существовала.

К стр. 159

* Одесский кружок начал формироваться в 1872 г. около Ф. Волховского и С. Чудновского. Если, по отзыву Чарушина, кружок уже и в начале 1873 г. производил хорошее впечатление своей организованностью и деловитостью, то все же свою окончательную организацию он получил, видимо, только приблизительно в конце лета 1873 г. Об этом позволяют судить воспоминания М. Ланганса, в которых читаем: «Еще в последний месяц моего пребывания в Херсоне были сделаны в Одессе первые шаги к образованию правильно организованного тайного общества. Инициатива принадлежала Ф. Волховскому. Начались одна вслед за другою сходки на квартире Феликса... С моим приездом вошел в организацию и я. Это было в августе или сентябре 1873 года» (см. отрывки из воспоминаний М. Г. Ланганса в книге П. Лаврова «Народники-пропагандисты 1873—1878 гг.», изд. 2. Л., 1925, стр. 43—44). [Более подробно об этом смотрите в полном тексте воспоминаний М. Ланганса, опубликованных Н. П. Рудько («Архіви України», 1969, № 5, стр. 63—76)].

Окончательное оформление отношений с петербургскими «чайковцами» произошло в Одессе, как и в Киеве, о чем мы упоминали выше, около того же времени. Об этом говорят и Ланганс и Чудновский: оба они приурочивают окончательное установление «союзнических» (по терминологии Чудновского), «федеративных» (по Лангансу) отношений с организацией «чайковцев» к посещению Чарушиным Одессы в конце лета — начале осени 1873 г. (об этом приезде своем в Одессу, на возвратном пути из Крыма, Чарушин говорит в гл. VIII настоящей книги).

Сущность федеративных отношений Ланганс определял следующим образом: все организации «чайковцев» (Петербург, Москва, Киев, Одесса) не должны были иметь друг от друга каких-либо тайн; *общность кассы* и *свободный переход члена* из одной группы (федеративной единицы) в другую; фамилии и характеристики лиц, вошедших в организацию, сообщались всем, как и о вступлении нового члена давалось знать всей организации, причем выяснялось, нет ли возражений против принятия данного лица (см. названную книгу Лаврова, стр. 192). Разумеется, были разработаны и такие практические пункты, как способы взаимных сношений, районы деятельности, способы доставки литературы и т. д. (см. *С. Чудновский*. Отрывки из воспоминаний 1872—1873 гг. — сб. «Наша страна». СПб., 1907, стр. 354). [В дальнейшем воспоминания С. Л. Чудновского вышли отдельным изданием: «Из давних лет». Воспоминания. М., 1934].

Перечисляя некоторых лиц из состава одесского кружка, Чарушин называет и людей, которых не было в Одессе во время первого его приезда туда, к началу весны 1873 г., именно Франжоли и Ланганса, живших еще в Херсоне и состоявших в херсонском революционном кружке, о чем сам Чарушин рассказывает на следующих страницах; Чудновского, находившегося тогда в Вене (об этом Чарушин тоже говорит на стр. 160); Желябова, вошедшего в кружок не «несколько позднее», а в самом конце 1873 г., примерно в ноябре — декабре (см. у Чудновского. — «Наша страна», стр. 361, и у Ланганса — *П. Лавров*. Народники-пропагандисты, стр. 192).

Следует отметить, что в середине 1874 г., незадолго уже до разгрома одесских «чайковцев», сам организатор кружка Волховский вышел из его состава, хотя и остался в близких отношениях со всеми его членами. Сообщая об этом, В. Л. Перовский (см. его воспоминания в «Каторге и ссылке», 1925, № 3, стр. 22—23) следующим образом излагает, со слов Волховского, мотивы этого поступка: «Он, смотря на революционную деятельность серьезно, требовал от сотоварищей вместо траты времени на разговоры более интенсивной деятельности, но молодежь не поддавалась и стала обвинять его в генеральстве; тогда он и решил выйти из кружка...» Трудно допустить, чтобы недостаток активности со стороны участников кружка послужил поводом к уходу Волховского (с этим плохо вяжутся известные нам факты о работе одесских «чайковцев» в это время). Разногласия могли касаться *направления* работы, а скорее всего, вопроса о дисциплине в организации. Отсюда, вероятно, и возникли упреки в «генеральстве». Мы знаем ведь и из воспоминаний Ланганса, что в кружке происходили «оживленные прения» по вопросу о подчинении меньшинства большинству и что Волховский доказывал необходимость «давления всей организации на личность каждого отдельного члена в некоторых случаях», причем, однако, был составлен принцип единогласного решения всех дел с тем, что в случае серьезных принципиальных разногласий меньшинство выходит из организации (см. *П. Лавров.* Народники-пропагандисты, стр. 190—191).

К стр. 161

* Франжоли в конспекте воспоминаний Натансона фигурирует в списке *членов* петербургского кружка «чайковцев». Других данных, подтверждавших это указание, не имеется; однако можно считать установленным, что он был более или менее тесно *связан* с «чайковцами». Высылке за студенческие беспорядки Франжоли не подвергался, да и беспорядков в 1872 г. в Технологическом институте не было (по сообщению Р. М. Кантора, подробно знакомившегося с делами канцелярии института за этот период). По данным некролога Франжоли, последний оставил Петербург вследствие того, что не мог вынести тамошнего климата и серьезно заболел («Вестник Народной воли» № 1. Женева, 1883, стр. 204). Приезд Франжоли в Петербург следует датировать не 1871, а 1870 годом (см. *С. Чудновский.* Из давних лет. — «Былое», 1907, № 10, стр. 225—226, а также указанный некролог). Дату возвращения его точно определить трудно. Согласно некрологу, он пробыл в Петербурге год; по воспоминаниям Деникера, Франжоли в конце 1871 г. еще находился в Петербурге: автор слышал в это время его речь на сходке молодежи по вопросу о пропаганде в народе («Каторга и ссылка», 1924, № 4, стр. 32—33).

К стр. 163

* Ланганс начал свою пропаганду среди крестьян в 1874 г. не «в качестве простого рабочего», а в качестве сельского учителя; эта работа подробно описана им самим (см. *П. Лавров.* Народники-пропагандисты, стр. 195—197). Вместе с Лангансом работал другой бывший участник херсонского кружка, описываемого Чарушиным, Николай Макавеев, обозначенный в воспоминаниях Ланганса инициалами *Н. М.*). Попробовав некоторое время пропагандировать в положении учителя, Ланганс затем начал (вместе с тем же Н. М., т. е. Макавеевым) «пешее странствие по

Херсонской губернии с целью «опроститься», как тогда говорилось, ознакомиться несколько с жизнью населения и узнать быт и положение сельского бондаря» (*П. Лавров.* Народники-пропагандисты, стр. 197). Еще через месяц (это было уже, согласно обвинительному акту по «делу 193-х», в первых числах июня 1874 г.) была устроена бондарная мастерская в селе Попельнастом, на границе Екатеринославской и Полтавской губерний, в которой Ланганс фигурировал как «хозяин», а упомянутый Макавеев и Леонид Дическуло, из одесского кружка «чайковцев», — как «ученики». В августе того же года мастерская провалилась, а Ланганс был арестован и в дальнейшем предан суду по «процессу 193-х». Ланганс умер не в 1884 г., а 11 сентября 1883 г. (*П. Щеголев.* Алексеевский равелин. М., 1929, стр. 356).

К стр. 165

* В кружке саморазвития совместно с Кравчинским участвовал Шишко.

К стр. 168

* Во второй половине 1873 г. в доме Байкова снова появляется квартира для собраний рабочих. Теперь здесь жили, однако, не пропагандисты, а сами рабочие. Хозяином квартиры числился недавно приехавший из деревни земляк рабочего Якова Иванова (см. о нем следующее примечание) Емельян Ефремович Горшков, известный среди рабочих по прозвищу Пугачев.

В показании Якова Иванова от 19 апреля 1874 г. об этой квартире сказано: «Квартира снята была на имя Пугачева за 7 рублей, в число этих денег Чарушин уплатил один раз через Крылова (жившего тут же, как и Иванов. — *Ш. Л.*) 3 рубля, да когда переезжали в эту квартиру, я помню, что Крылов же уплатил за оставшуюся мебель и посуду 13 рублей, тоже не из своих денег». На эту квартиру, по словам Иванова, приходили Чарушин, Шишко, Клеменц и Алексеев (Василий Иванович, уже упоминавшийся в примечании о Чайковском) (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 233). Рабочий Данило Прохоров в показании от 18 марта 1874 г. сообщает, что в доме Байкова находилась «целая артель тверских, человек 20» (там же, л. 60). Рабочий Егор Кудряшев в свою очередь сообщает, что он жил в квартире Емельяна Горшкова в доме Байкова после отъезда из Петербурга Григория Крылова, причем его уговорили поселиться здесь Чарушин и Алексеев, указывавшие, что ему «за квартиру и харчи платить не придется, что за все это платят они и квартира нанята только для виду на имя Емельяна Ефремова» [Горшкова]. «Сколько мне известно, — добавляет Кудряшев, — за квартиру и харчи не платили только я, Рубцов [вторая фамилия Якова Иванова] да Ефремов, как хозяин, но последний все-таки платил за харчи, остальные же рабочие платили за харчи и квартиру». Всего, по словам Кудряшева, в этой квартире жили «человек семь рабочих» (там же. д. 351, л. 75—76. Показание Е. Кудряшева от 24 января 1876 г.). Наконец, и Низовкин рассказывает о своих посещениях осенью 1873 г. дома Байкова, где он встретил среди рабочих Алексеева, а в следующий раз — Чарушина.

Сам Емельян Горшков подтвердил на допросе, что в 1873 г. «после Покрова» он нанял отдельную квартиру в доме Байкова и пускал к себе жильцов, одним из которых был Яков Иванов, проживший тут около двух месяцев; но он отрицал, чтобы ему кто-либо помогал в найме квартиры, и заявил, что Чарушина не

знает, а также не знает, с кем вел знакомство Иванов и кто его посещал, кроме рабочих (там же, д. 209, л. 114. Показание Е. Горшкова от 24 марта 1874 г.).

Квартира в доме Байкова оказалась теперь, видимо, не слишком удобной для пропаганды: по словам Иванова, «в доме стали замечать частые посещения студентов»; поэтому-то, вероятно, она и продержалась не особенно долго в качестве пропагандистского пункта.

К стр. 170

* Иванов, Яков Иванович, — один из наиболее близких к Чарушину и другим «чайковцам» фабричных рабочих Выборгской стороны. Ко времени ареста Иванова в марте 1874 г. ему было, по собственному его показанию, 36 лет (в декабре 1875 г. при допросе на предварительном следствии он указал возраст 38 лет); следовательно, Иванов родился около 1838 г. Он происходил из деревни Иванцевой Шепелевской волости Тверской губернии и уезда (из той же волости был и Григорий Крылов); здесь он имел крестьянский надел, и в этой деревне оставалась его семья. Сведения о причастности Иванова к движению еще в 1860-х годах основаны на его же рассказах пропагандистам и рабочим. О близости Иванова к «чайковцам» говорят показания и других рабочих. Так, Данила Прохоров показал: «Яков Иванов, как мне казалось, был ближе других к учителям и пользовался их доверием. Он иногда по поручению учителей созывал рабочих в квартиры». А Никифор Кондратьев (предатель) передает: «Яков Иванов сам нам рассказывал не раз, что он самое приближенное лицо у учителей, что без него на собраниях ничего не решают. Яков Иванов постоянно с учителями приходил на собрания и у него на квартире я видел Бородина [Кропоткина] и Клеменца» (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 199 и 205). Значительной ролью Иванова и объясняется тот факт, что, несмотря на порядочно «откровенный» характер данных им самим показаний (он стоял на позиции «отрицания» всего месяц с 18 марта до 19 апреля 1874 г., а потом многое сказал жандармам), его все же держали в тюрьме до декабря 1875 г. Дело о нем было разрешено в 1876 г. в административном порядке: он был отдан под негласный надзор полиции.

О Вильгельме Прейсмане, которого рабочие звали также «Василием Чухонцем», довольно обстоятельно говорится в Биобиблиографическом словаре (т. II, вып. III. М., 1931, стб. 1261—1262). Отметим, однако, одну существенную ошибку в словаре: Прейсман никогда не был в кружке Синегуба за Невской заставой, принадлежал к кружку фабричных Выборгской стороны под руководством Чарушина и др.

Коробов, Андрей Егорович, несмотря на свою молодость (ему было только 18 лет во время ареста в марте 1874 г.), принадлежал к числу самых смелых и твердых революционеров-рабочих. Он происходил из деревни (или села) Демшино Кашинского уезда Тверской губернии, в Петербург пришел 13 лет и с тех пор работал все время на ткацкой фабрике Мальцева на Выборгской стороне; лишь непосредственно перед арестом он перешел на фабрику Чешера в том же районе. На допросах Коробов категорически отрицал все предъявленные ему обвинения. Приводим выдержки из его кратеньких показаний в качестве образчика того, как уже и в то время умели держать себя на допросах некоторые (таких

было немало!) рабочие: «Я не признаю себя виновным ни в пении возмутительных песен, ни в воззвании к бунту. Песни я знаю петь только одни деревенские, про смерть же царя и про то, как нужно начинать бунтовать, я никогда никому ничего не говорил... Я никогда не бывал ни на одном из собраний и не знаю никаких студентов...» (там же, д. 209, л. 112. Показание А. Коробова от 23 марта 1874 г.). «К своим прежде данным показаниям ничего не могу прибавить, и предъявленные мне рукописные стихотворения «Друзья защитники свободы» и «У нас правды матушки» писаны не моей рукой. Эти стихотворения, а также и предъявленные мне стихотворения, начинающиеся словами «Ах, ты, сукин сын», «Долго нас помещики душили», «Государь, ты наш батюшка», я не только никогда не пел, но даже не видал и никогда не слышал...» (там же, л. 215. Показание Коробова от 14 апреля 1874 г.). Протокол второго допроса Коробов отказался подписать, очевидно, чтобы не давать материала для сличения почерка.

Коробов очень скоро в тюрьме покончил жизнь самоубийством.

Стульцев, Аким Гаврилович, был земляком Коробова, происходя из того же Демшина, но значительно старше его: ему было в момент ареста (тоже в марте 1874 г.) уже 25 лет. В Петербурге он проживал приблизительно с 11-летнего возраста и все время работал на ткацких фабриках. На допросах Стульцев, как и Коробов, решительно отрицал все обвинения — на сходках не бывал, «учителей» никаких не посещал, песен не пел, кроме деревенских, никого из интересующих жандармов лиц (спрашивали о Хохрякове и рабочем Прейсмане) не знает (там же, л. 216. Показания А. Стульцева от 22 марта и 14 апреля 1874 г.). В 1876 г. Стульцева освободили из тюрьмы ввиду обнаруженных им признаков расстройства умственных способностей. Продолжая затем участвовать в рабочем движении Петербурга, он снова был арестован в январе 1879 г. в связи с известной стачкой на Новой бумагопрядильне и фабрике Шау. Умер он до 1883 г. (подробнее о биографии Стульцева после 1876 г. см. Биобиблиографический словарь, т. II, вып. IV. М., 1932, стб. 1633).

К стр. 172

* Работа Крылова в качестве офени в Петербурге относится, по его показанию, к маю и июню 1873 г. Вот соответствующее место из показания, данного им в Петербурге 22 марта 1874 г. (по доставлении его после ареста из Тверской губернии): «В 1873 г. по случаю нездоровья не мог работать на фабрике, а потому (не только потому, а, может быть, даже и вовсе не потому? — *Ш. Л.*) занялся книжной торговлей в мае и июне месяце. Книги покупал в лавке Шатаева (Апраксин двор) на свои деньги, каждый раз небольшими партиями, рубля по 2 или по 3. Книги были народные, недорогие, по 30 или 20 коп. за десяток. Названия книг теперь не помню. Продавал их в разнос» (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 105). Что Крылов пошел на эту работу, увлеченный примером героя романа «История крестьянина» Эркмана-Шатриана, видно не только из мемуаров «чайковцев», но и из показаний Низовкина.

К заключению, что Крылов ушел в 1873 г. в деревню именно в начале декабря, приводит нас целый ряд в высшей степени серьезных данных: 1) из показаний нескольких рабочих видно, что Крылов жил осенью 1873 г. на Выборгской стороне в доме

Байкова; 2) один из рабочих, Егор Прокофьевич Кудряшев, хорошо знавший Крылова (родом из того же села Андреевского Тверского уезда, что и последний), детально рассказывает в своих показаниях и на дознании, и на предварительном следствии о своем посещении Крылова в Петербурге после того, как он, Кудряшев, потерял в ноябре 1873 г. работу на Мытнинском перевозе, а также об отъезде в скором времени Крылова; Кудряшев при этом определяет дату отъезда Крылова — «в самом начале декабря»; 3) в отношении начальника Тверского губернского жандармского управления от 2 февраля 1874 г. начальнику Петербургского жандармского управления (в связи с розыском жившего некоторое время в деревне у Крылова Д. А. Клеменца) сообщается о Крылове, что «сей последний долгое время жил в Петербурге на Мальцевской фабрике на Выборгской стороне и возвратился на родину 6 декабря прошлого года» (там же, д. 208, л. 23); 4) Кропоткин в своих воспоминаниях о Кравчинском, напечатанных в первой части Собрания сочинений Кравчинского (СПб., 1907, стр. XIV), пишет, что Крылов ушел домой «на святки»; 5) некролог в память Крылова в журнале «Вперед!» № 43 от 15(3) октября 1876 г., принадлежащий перу одного из уцелевших «чайковцев», связывает уход Крылова в 1873 г. в деревню с началом «знаменитых погромов среди рабочих»; «хотя, — говорится в некрологе, — начало им было положено среди кружка совершенно особенного и изолированного от той среды, где действовал Григорий Федорович (явно имеется в виду арест Синегуба и его рабочих в ноябре 1873 г. за Невской заставой. — *Ш. Л.*), но осторожность и необходимость поберечь такого человека заставили его друзей обратить его внимание на свою безопасность. Во избежание толков и болтовни *уговорили Крылова удалиться на время в деревню;* он согласился с тем, чтобы к нему явился на помощь один из товарищей, так как своими личными средствами он не надеялся управиться с таким обширным материалом, какой находился у него там под руками» (как упомянуто выше, к Крылову поехал Клеменц).

Подчеркнутое нами место, между прочим, заставляет взять под сомнение утверждение Шишко, а вслед за ним и Чарушина, что уход Крылова явился результатом его неудовлетворенности работой среди городских рабочих.

** Установить точно, когда ушел в деревню Абакумов, мы не можем. Но было это не раньше осени 1873 г. За это говорят показания Низовкина, который, вернувшись в Петербург после летних каникул 1873 г., встречался с Абакумовым и по указанию последнего (а также фабричного Степана Тимофеева) посетил осенью 1873 г. некоторые пункты пропагандистской деятельности «чайковцев».

Что Абакумова звали Иван Артемьевич, свидетельствует его товарищ Шабунин в цитированных выше его воспоминаниях. Это подтверждается и показанием, данным Шабуниным 18 февраля 1875 г. по делу Степана Зарубаева, где он упоминает, как своего сожителя в Петербурге, «Ивана Артемьевича». Расхождение с Биобиблиографическим словарем, отмечаемое Чарушиным, объясняется тем, что в последнем безусловно слиты воедино два Абакумовых: один — Иван Артемьевич, связанный с «чайковцами» и вопреки словарю не оставлявший в 1872 г. завода (вообще работавший не на заводе, а на фабрике), а другой — Кирилл Ми-

хайлович, участник большого стачечного движения в Петербурге в январе 1879 г.

К стр. 173

* Кравчинский в начале августа 1873 г. уехал в деревню Андрюшино Новоторжского уезда Тверской губернии к «опростившемуся» мелкому помещику Ярцеву и провел там около двух месяцев, знакомясь с крестьянскими работами и с условиями деревенского быта. Возвратившись около первых чисел октября в Петербург, он спустя месяц ушел (вместе с Рогачевым) уже прямо на пропаганду, выбравши для этого ту же Тверскую губернию. Пропаганду они вели «в образе» пильщиков [см. подробнее об этом в брошюре Б. Итенберга «Дмитрий Рогачев, революционер-народник». М., 1960].

О попытках пропаганды в деревне Клеменца до его поездки к Крылову в декабре 1873 г. мы не имеем данных.

Перовская свою работу в народной школе в селе Едимонове Корчевского уезда Тверской губернии в показании, данном 11 марта 1881 г., относит к зиме с 1872 по 1873 г. (показания первомартовцев, «Былое», 1918, № 10-11, стр. 288).

К стр. 175

* Поездка Купреянова за границу, о которой пишет Кропоткин, имела место, действительно, в 1873 г. Об этом говорят следующие бесспорные данные:

1) 26 марта 1874 г. Кропоткин показал на допросе: «За границу я ездил в 1872 году весною на два месяца и в 1873 году пробыл за границею с мая по август» (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 120). Из «Записок революционера» Кропоткина мы знаем, однако, что до своего знаменитого побега из Николаевского госпиталя и последовавшего за ним нелегального выезда за границу автор был за границей только один раз, в 1872 г. (от этой поездки сохранился и документальный след — несколько заграничных писем Кропоткина за март — май 1872 г.). Откуда же взялась вторая поездка, с мая по август 1873 г., о которой Кропоткин счел нужным заявить на допросе? Несомненно, что тут речь могла идти лишь о поездке другого лица, воспользовавшегося паспортом Кропоткина. Воспоминания Кропоткина о Лаврове (см. *П. Л. Лавров*. Статьи, воспоминания, материалы. Пб., 1922, стр. 438) подтверждают целиком такое предположение: он отдал свой заграничный паспорт Клеменцу, а тот в свою очередь передал затем паспорт Купреянову. Из цитированного выше показания Кропоткина ясно, с другой стороны, что поездка этого «двойника» Кропоткина приходится на летние месяцы 1873 г.

2) В заметке С. Чудновского о Купреянове, напечатанной в «Былом» за 1907 г. (№ 6, стр. 287—290), рассказано о приезде Купреянова в 1873 г. в Вену, где автор тогда учился на медицинском факультете. Целью приезда Купреянова, по словам Чудновского, было приобретение на происходившей тогда в Вене всемирной выставке типографской машины для кружка «чайковцев». «Он [Купреянов] не без комической важности объяснил мне, — пишет Чудновский, — что он пропишется *князем* Кр-м (конечно, Кропоткиным. — *Ш. Л.*), документами которого он запасся». Это сообщение Чудновского полностью подтверждает, что эпизод, рассказанный в воспоминаниях Кропоткина о Лаврове, относится к 1873 г. К сожалению, Чудновский ничего не сообщает о выпол-

нении Купреяновым другой миссии, возложенной на него, по воспоминаниям Кропоткина, кружком — о переговорах по поводу заграничного органа. В рассказе Чудновского как-то не остается даже места для поездки Купреянова в Швейцарию; приходится допустить, что Купреянов, возможно, и не ездил вовсе сам в Цюрих, а ограничился письменными переговорами.

Так или иначе, указанные выше два момента (показание Кропоткина в 1874 г. на дознании и свидетельство Чудновского в «Былом» в 1907 г.) не оставляют сомнений насчет времени поездки Купреянова (данной поездки во всяком случае), вполне подтверждая высказываемое на этот счет Чарушиным мнение.

Вместе с тем мы считали, однако, необходимым отметить, что указания Чарушина, будто летом 1872 г. «не о чем было договариваться» с Лавровым, и А. И. Корниловой-Мороз, что в августе 1872 г. «о журнале «Вперед» еще никаких разговоров не было и никаких переговоров не велось» и что первым вел переговоры с Лавровым М. П. Сажин в ноябре 1872 г., — неточны. Здесь не место говорить подробно об истории подготовки и возникновения журнала «Вперед». Укажем только, что начало переговоров с Лавровым из России об издании заграничного органа относится, несомненно, к весне 1872 г. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с письмами Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер, опубликованными в «Голосе минувшего» (1916, № 9). Мы ограничимся одной выдержкой из письма Лаврова от 22(10) апреля 1873 г. «Не я бросился в бой»... — писал тогда П. Л., — я не считал себя нужным; я думал, что на меня смотрят, как на нечто почтенное, но к практическим делам непригодное. Когда же меня вызвали, когда ко мне пришли из той страны, которой единственно я могу служить с пользою, когда мне сказали: мы надеемся на Вас и на Вас одних, то я не имел права отказаться, хотя и весьма скептически относился ко всему делу, хотя тогда *(это было год тому назад)* я имел и личную жизнь... Я чувствовал, что я должен идти и пошел, не колеблясь. Но пошел не опрометчиво; я требовал ручательств, что будут союзники, будут помощники... *Через несколько месяцев я имел ручательства, обещания союза, обещание дела...»* (стр. 135—136; курсив наш. — *Ш. Л.*). В то время когда Лавров писал это письмо, т. е. в апреле 1873 г., дело с журналом было уже в значительной мере налажено и Лавров уже успел месяца за полтора до того переселиться окончательно из Парижа в Цюрих для руководства подготовлявшимся к выходу изданием.

[В последнее время история возникновения журнала «Вперед!» привлекла внимание ряда исследователей: *Н. А. Троицкий*. Основание журнала П. Л. Лаврова «Вперед!» (сб. «Из истории общественной мысли и общественного движения в России». Саратов, 1964, стр. 98—119); *Б. С. Итенберг*. Движение революционного народничества. М., 1965, стр. 194—218; *Г. М. Лифшиц*. О трех вариантах программы журнала «Вперед!». — «Общественное движение в пореформенной России». Сб. статей. М., 1967, стр. 241—274; *И. С. Вахрушев*. Из истории нелегальной народнической печати семидесятых годов XIX века (журнал и газета «Вперед!» — 1873—1877 гг.). Автореферат кандидатской диссертации. Иркутск, 1969. Ранее неизвестные сведения по рассматриваемой теме содержатся в двухтомном издании: «Вперед!» 1873—1877. Материалы из архива В. Н. Смирнова. Отобрал, снабдил примечаниями

и очерком истории «Вперед!» Борис Сапир, т. I—II. [Амстердам, 1970].

К стр. 176

* В цитируемом Чарушиным письме А. И. Корниловой-Мороз совершенно неправильно весь русский бакунизм отождествляется с так называемым вспышкопускательством. Бакунисты-«чайковцы» принадлежали как раз к той ветви русского бакунизма, которая отрицательно относилась к исключительной «Putschmacherei» «вспышкопускателям». Даже Кропоткин критически относился к провоцированию местных волнений по всевозможным частным поводам и с частными целями, а случай с предложением Войнаральского носил именно такой характер; к тому же самый способ, избранный Войнаральским для того, чтобы возбудить волнения, должен был произвести на «чайковцев» неблагоприятное впечатление.

Отметим также, что эпизод с предложением Войнаральского иначе описан у Морозова. По воспоминаниям последнего, речь шла не о поджигании сена в помещичьих усадьбах, а о поджоге леса, о котором долго шла тяжба между помещиком и крестьянами и который в конце концов был присужден помещику. Переговоры велись уполномоченным Войнаральского в Москве с Клеменцом, Кравчинским, Цакни и Морозовым (дело было в 1874 г.). См. *Н. Морозов.* Повести моей жизни, т. I. М., 1933, стр. 216—218.

К стр. 182

* О пребывании Чарушина у Зотовых в Крыму довольно подробно рассказано в воспоминаниях С. И. Васюкова «Былые дни и годы» в журнале «Исторический вестник» за 1908 г., № 5.

К стр. 190

* В описании Аксельрода данное посещение Чарушиным Киева представляется более значительным по своим результатам. По воспоминаниям Аксельрода, Чарушин приехал не один, а вместе с членом одесского кружка Желтоновским. «В результате приезда Чарушина и Желтоновского, — пишет Аксельрод, — оформилась организационная связь нашего кружка с революционными группами, действовавшими в Одессе, Москве и Петербурге. Все четыре кружка образовали как бы единую федеративную общероссийскую организацию» (*П. Аксельрод.* Пережитое и передуманное, стр. 106—107).

К стр. 192

* В течение 1872—1874 гг. «чайковцами» и другими пропагандистами распространялся среди рабочих, а потом и среди крестьян ряд легально изданных популярных книжек беллетристического и частью научного характера, которые по своему содержанию могли оказывать на читателя из народа революционизирующее влияние. Выше Чарушиным было упомянуто об одном из первых изданий такого рода — рассказе «Дедушка Егор» (Цебриковой), выпущенном в 1872 г. в Киеве и в 1873 г. в Петербурге. Впоследствии по соглашению министра внутренних дел с главным начальником III отделения «Дедушка Егор», хотя и изданный с соблюдением всех цензурных правил, был признан подлежащим изъятию из продажи и уничтожению (циркуляр главного управления по делам печати губернаторам от 2 апреля 1875 г.).

Кроме «Дедушки Егора» назовем некоторые другие бывшие в распространении «народные» книжки, например: «Очерки фаб-

ричной жизни» А. П. Голицынского (впервые изданы в Москве еще в 1861 г., а вторым изданием, специально для нужд пропаганды, вышли в Петербурге в начале июля 1873 г.); рассказ «Митюха» (вышел в Петербурге в начале июня 1873 г.), «Клод Ге» Виктора Гюго (издан еще в 1867 г., но именно в начале 70-х годов был в большом ходу и вместе с рассказом Цебриковой «Дедушка Егор» был признан подлежащим изъятию и уничтожению — см. упомянутый циркуляр).

«Степные очерки» А. И. Левитова (появились в Петербурге и Москве в 1865—1867 гг. в трех частях, затем снова в 1874 г. в Москве две части, но в массовом распространении находились главным образом в виде небольшой книжечки издания 1873 г., содержавшей всего три очерка); ряд брошюр А. И. Стронина (под псевдонимом «Александр Иванов»): «Рассказы о земле и небе» (СПб., с 1865 по 1872 г. появилось три издания), «Рассказ о силах земных» (СПб., 1873, начало июля), «Рассказы о человеческой жизни» (СПб., 1873, начало сентября), «Рассказы о царстве Бовы Королевича» (СПб., 1873, начало сентября), «Рассказы о жизни земной» (СПб., 1873, декабрь).

К изданию некоторых из указанных книжек «чайковцы» имели непосредственное отношение, причем им помогали в этом деле подсобные кружки и группы. Как видно из свидетельства И. Е. Деникера, библиотека студентов-технологов, одним из организаторов которой он был, «вотировала почти все свои наличные суммы» на издание «Дедушки Егора», «Очерков» Голицынского и т. д. «Чайковцы» раздавали эти издания рабочим, снабжали ими другие кружки, библиотеки и т. д. Например, летом 1873 г. при посещении Торжка Тверской губернии Чайковский доставил для местной библиотеки книжки: «Митюха», «Очерки фабричной жизни», «Дедушка Егор», «Рассказы о земле и небе», «Рассказ о силах земных» — пять изданий, из которых четыре вышли непосредственно перед поездкой Чайковского.

Широко использовались в пропаганде рассказы Н. И. Наумова и Ф. Д. Нефедова, читавшиеся «чайковцами» (и другими пропагандистами) в кружках. В октябре 1872 г. в Москве появился сборник Нефедова «На миру», а в октябре 1873 г. был выпущен отдельно в Петербурге 10-тысячным тиражом рассказ Нефедова «Безоброчный». В начале 1874 г. в Петербурге же вышел сборник Наумова «Сила солому ломит». Оба сборника, как превышавшие размером 10 печатных листов, миновали предварительную цензуру. Но в распространение были пущены не только полные сборники, а и отдельные рассказы и очерки из них, для чего книги соответственно разрезались. В циркуляре главного управления по делам печати губернаторам от 15 февраля 1875 г. последним было предложено изымать из продажи и уничтожать брошюры, составленные из названных сборников (из сборника Наумова — «У перевоза», «Последнее прости», «Деревенский торгаш», «Юровая», «Крестьянские выборы», «Мирской учет» и «Еж», а из Нефедова — «Безоброчный» и «Крестьянское горе»). Однако массовое распространение отдельных очерков Наумова и Нефедова (кроме самостоятельно изданного «Безоброчного») приходится уже главным образом на время после разгрома организации «чайковцев»; сборник Наумова и вышел только незадолго до этого разгрома, так что при пользовании в пропаганде Наумовым «чайковцам» приходилось обращаться непосредственно к толстым журналам,

в которых очерки Наумова первоначально печатались («Современник», «Дело», «Отечественные записки»).

В качестве материала для чтения в рабочих кружках «чайковцы» пользовались также «Сказками Кота-Мурлыки» Н. Вагнера (СПб., 1872), Некрасовым («Кому на Руси жить хорошо»), Щедриным («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»), Худяковым («Древняя Русь»), Дм. Волковым («Игра в потраву», сцены), рассказами Глеба Успенского и др., а из переводов — в особенности «Историей крестьянина» Эркмана-Шатриана.

Заводские рабочие не ограничивались перечисленной здесь литературой, а некоторые из названных здесь изданий в этой среде и вовсе не читались. Зато среди заводских, имевших уже свою нелегальную библиотеку, имели хождение многие из тех «серьезных» книг, которые зафиксированы в списках Шишко, Натансона, Деникера и т. д. (см. выше). Так, в библиотеке заводских имелись Лассаль, Флеровский («Положение рабочего класса в России»), «Эмма» Швейцера, «Один в поле не воин» Шпильгагена и др.

Все вышесказанное касается легальных изданий, которыми, однако, как известно, не исчерпывалась распространявшаяся в народе пропагандистами литература.

[Более подробно о распространении легальной литературы среди народа см. в работах: *О. Д. Соколов*. На заре рабочего движения в России. М., 1963; *Ф. И. Яранцев*. Легальная литература и революционная пропаганда народников в начале 70-х годов XIX века («Вестник Московского университета». Серия VII. Филология, журналистика, 1965, № 3); *В. Ф. Захарина*. Голос революционной России. М., 1971; «Агитационная литература русских революционных народников. Потаенные произведения 1873—1875 гг.». Вступительная статья В. Г. Базанова. Л., 1970].

Едва ли не первым нелегальным изданием, появившимся через «чайковцев» в рабочих кружках (именно среди заводских рабочих), было сочинение Ламеннэ «Слова верующего к народу». Об этом в своем показании от 24 марта 1874 г. сообщил С. И. Виноградов: «Я забыл сказать прежде, что когда Кравчинский читал нам лекции, в начале 1873 г., то принес нам книжку на каком-то иностранном языке, которую тут же нам частью перевел и обещал нам написать перевод оной или же достать перевод ее и, действительно, после того принес нам штук десять тетрадей, писанных или литографированных, из которых две оставил нам для чтения. Заглавие этих тетрадей было «Слова верующего к народу» (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 213, л. 42). К тому же докладу позднее неоднократно в своих «заявлениях» и показаниях возвращался А. В. Низовкин. ««Религия» и священное писание, — читаем в его заявлении от 18 мая 1874 г., — бывали иногда в руках «чайковцев» орудием революционной пропаганды: они распространили, например, брошюру «Слова верующего к народу», в которой на религиозной подкладке излагается социализм. Брошюру эту еще в рукописи Кравчинский прочитал рабочим, собравшимся в нашей квартире на его лекцию, причем осведомлялся, какого они мнения насчет содержания ее и годится ли она для распространения в среде крестьянства. Помню, рабочие высказали, что брошюра эта слишком уж резко написана и потому скорее напугает крестьянина, нежели убедит» (там же, д. 215, л. 13—14).

«После того, — говорится в заявлении Низовкина от 17 ноября того же года, — как Кравчинский собравшимся на его лекцию рабочим прочитал в рукописи брошюру «Слова верующего к народу», причем от имени своей партии высказал обещание отлитографировать сказанную брошюру в большом количестве экземпляров для распространения среди рабочих и преимущественно среди крестьян — о чем он даже советовался со своими слушателями — рабочими — после того, говорю, Кравчинский в скором времени, на одну из следующих своих лекций, принес довольно объемистую пачку, примерно экземпляров в 50, упомянутой брошюры, свежеотлитографированной, так что и листы были еще сырые и неразрезанные: как бы прямо из-под литографского камня. Под конец лекции Кравчинский из принесенной им пачки отсчитал экземпляров около 15 — по числу своих слушателей, которым и отдал их». Впоследствии, в показании от 12 марта 1875 г., Низовкин «припомнил» и то, что ему известно было о литографии, где была воспроизведена брошюра Ламеннэ: в октябре 1873 г. Михаил Орлов, с которым он направлялся тогда на Васильевский остров в квартиру Петерсона, остановившись около одного дома на Среднем проспекте, будто бы сказал Низовкину: «Вот где налитографировано «Слова верующего к народу» — в этой самой литографии!» [5] (там же, д. 215, л. 34, 43).

Из нелегальных изданий для народа, отпечатанных в швейцарской типографии «чайковцев», первыми были, по-видимому, «Песенник» и «Стенька Разин» [6]: уже весной 1873 г. оба эти издания были получены от Чайковского Ф. М. Любавским (Тихомиров прямо называет «Песенник» «первой нелегальной брошюркой», отпечатанной «чайковцами» за границей, — конечно, можно говорить только о первой из *народных* брошюр). Если верно указание Чарушина, что и листовка Шишко «Чтой-то, братцы, как тяжело живется нашему брату на русской земле» была издана одной из первых (хотя и позже «Песенника» и «Стеньки Разина»), то, безусловно, ошибочно отнесение к той же группе «Сказки о четырех братьях» (полное название: «Сказка о четырех братьях и об их приключениях»), которая была написана Тихомировым осенью 1873 г. и в России появилась в отпечатанном виде в начале 1874 г.

До конца 1873 г. из заграничной типографии «чайковцев» вышли еще народные издания: «История одного французского крестьянина» (книжка имела подзаголовок: «Книга сия написана французским крестьянином в знак братской любви к русским крестьянам»; автором мог быть Клеменц); «Вольный атаман Степан Тимофеевич Разин» (перепечатка — с некоторыми сокращениями и перестановками — появившейся в 1871 г. в «Вестнике Европы» № 5 драматической хроники А. А. Навроцкого о Разине); «О мученике Николае и как должен жить человек по закону правды и природы» Флеровского (брошюра эта была издана по

---

[5] По воспоминаниям Ланганса, «Слова верующего к народу» были привезены в Херсон «чуть ли не Чарушиным зимою 72 года» (приезд Чарушина в Херсон относится к периоду февраля — марта 1873 года).

[6] Голицын («История социально-революционного движения в России». СПб., 1887, стр. 101) приписывает авторство «Стеньки Разина» С. Я. Жеманову.

инициативе долгушинцев; в том же году она была напечатана в измененной редакции в нелегальной типографии долгушинцев в России под заглавием «Как должно жить по закону природы и правды»). По-видимому, в течение зимы 1873/74 г. появился «Сборник новых песен и стихов» (с вымышленными обозначениями типографии Борисова в Москве и цензурного дозволения от 14 апреля 1873 г.).

Книжку о Пугачевском бунте Тихомиров начал писать в Москве даже до своего присоединения к «чайковцам»; до ареста (в ноябре 1873 г.) он не успел тем не менее закончить ее (см. «Воспоминания Льва Тихомирова», стр. 75), и окончена она была Кропоткиным, который еще в рукописи читал ее фабричным рабочим на Выборгской стороне. В печатном виде под названием «Емельян Пугачев или бунт 1773 года» она появилась в Петербурге перед самым разгромом кружка в 1874 г. (издана в той же заграничной типографии «чайковцев»).

Среди *заводских* рабочих из всех названных сейчас нелегальных изданий наибольшим успехом пользовалась «История одного французского крестьянина». В их библиотеке к концу ее существования имелся и ряд нелегальных изданий из тех, что были рассчитаны преимущественно на революционную интеллигенцию, как «Гражданская война во Франции» Маркса, бакунистские «Государственность и анархия» (самого Бакунина) и «Историческое развитие Интернационала».

К стр. 197

* Планы «чайковцев» о посылке работников в провинцию нашли отражение в материалах дознания и следствия «по делу 193-х». В этом смысле интересно показание рабочего (предателя) Матвея Тарасова от 21 марта 1874 г.: «Затем Н. А. [Чарушин] объяснял еще, что все это нужно втолковывать народу в разных местах, для чего и нужно нам разъехаться в разные стороны, на вопрос же мой, как же уведомлять, сколько народу будет приобретено согласных с нами, Н. А. объяснил, что для этого будет объезд по тем местам, куда наши отправятся. Кто же будет объезжать и вообще подробностей он не объяснял. При этом же разговоре Н. А. выспрашивал меня: где я прежде работал и где больше фабрик? И когда я сказал, что фабрик больше всего в Костромской губернии, то он сказал, что я должен буду отправиться на ту фабрику, где я жил прежде, причем записал в свою книжку и адрес этой фабрики, находящейся в Кинешемском уезде, близ села Вичуги, у деревни Вонячки, купца Коновалова. Н. А. тогда же сказал, что со мною на эту фабрику отправит еще человека, а Никифора [Кондратьева] и Павла [Корюшкина] хотел отправить в Москву, говоря, что там дело идет что-то плохо». При знакомстве Тарасова с Шишко последний сообщил Тарасову, что «он тот самый, который должен ехать со мною в Костромскую губернию». А по показанию Никифора Кондратьева (предатель) Шишко даже «приказывал нам составить счет, сколько мы должны тут и сколько нужно вообще на издержки» (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 92—93). Другой рабочий, Егор Кудряшев, показал, что Чарушин намеревался отправить его, когда он научится хорошенько читать, в Тверскую губернию в деревню заменить Крылова или вместе с Крыловым заниматься чтением крестьянам книжек (там же, д. 351, л. 75. Показание от 24 января 1876 г.).

К стр. 198

* В подтверждение того, что «Вперед» в октябре 1873 г. уже появился в Петербурге, можно привести показание (от 20 декабря 1873 г.) Ярцева, присутствовавшего в октябре при чтении журнала у Синегуба (что это было именно в октябре, доказывается датой возвращения Ярцева из Петербурга домой, в Тверскую губернию, — 28 октября 1873 г.). См. «Революционное народничество 70-х годов XIX века», т. I, стр. 324.

К стр. 199

* Открытое письмо Чайковского в редакцию «Вперед» было напечатано в 3-м томе журнала (Лондон, 1874) под заглавием «Письмо из Петербурга». (Получено 1 января 1874 г. нов. стиля.) В этом письме, являвшемся выражением не личного мнения автора, а коллективного мнения всего кружка «чайковцев», статья Лаврова «Знание и революция» была признана «не только индифферентной для нас, а прямо вредной».

Отношение к «Вперед» большинства «чайковцев» на местах, по крайней мере в Киеве и Москве, не отличалось от отношения петербургского кружка. Для Москвы об этом свидетельствует Фроленко (см. его «Собрание сочинений», т. I. М., 1930, стр. 187—188), для Киева — Аксельрод. Интересно отметить при этом, что аргументация Аксельрода в некоторых пунктах вполне совпадает с чарушинской. «Пропаганда, — пишет Аксельрод, — принимала в этой программе [Лаврова] абстрактный характер, утрачивала революционную остроту. Требование серьезной теоретической подготовки к пропаганде оставляло радикалу возможность преспокойно пользоваться всеми благами жизни — в то время как у нас была внутренняя моральная потребность поскорее порвать всякие связи с «погрязшим в разврате миром» и «сжечь за собой корабли»» (*П. Аксельрод.* Пережитое и передуманное, стр. 110—111).

Но Аксельрод выдвигает еще один момент, отсутствующий, конечно, у Чарушина, поскольку последний не считает себя и большинство участников петербургского кружка сторонниками анархизма. Именно Аксельрод и его товарищи недовольны были отношением Лаврова к государству: «Неясным представлялось нам отношение Лаврова к государству. С одной стороны, отрицание государства — и притом не только полицейского государства, но всякой государственной организации вообще — провозглашение вольного союза свободных общин. С другой стороны, признание необходимости государственной организации как «переходной» формы. Этим признанием уничтожение государства отодвигалось куда-то в туманную даль, а для данного момента устанавливалась тактика приспособления, против которой восставало наше непосредственное революционное чувство (и примитивная политическая мысль)» (см. там же, стр. 111).

К стр. 209

* Шишко, тоже цитирующий заключительную часть записки Кропоткина (в изложении обвинительного акта по «делу 193-х»), подчеркивает, как и Чарушин, содержащийся в ней отказ от «*полной солидарности* со всеми партиями эмигрантов», но отнюдь не протестует против выражения ею «полного сочувствия международной ассоциации рабочих в лице ее *секции федералистов*» (курсив в обоих случаях Л. Шишко).

Шишко при этом считает необходимым оговориться, что он не помнит подлинных выражений программы, но хорошо помнит

общий ее смысл, который вполне совпадает в его памяти с содержанием приводимых им отрывков. Это замечание относится им, конечно, и к тому месту записки, которое трактует о сочувствии «федералистской» (т. е. бакунистской) ветви международного рабочего движения: слова «секции федералистов» подчеркнуты, как указано, самим автором. Мы усматриваем в данном вопросе определенное несовпадение в показаниях Чарушина и Шишко (см. *Л. Шишко.* Собрание сочинений, т. IV, стр. 217—218).

К стр. 212

* Идея «организации боевых крестьянских дружин для открытых вооруженных выступлений» нашла выражение — и достаточно определенное и яркое — в самом тексте записки.

К стр. 213

* Стаховский и Борисевич жили отдельно от Синегуба. Обыск у них был произведен не одновременно с обыском у Синегуба, а 15 ноября того же 1873 г.; после обыска Стаховский и Борисевич были арестованы (подробнее об этом см. в брошюре А. Файнштейна «Марк Малиновский». М., 1923, стр. 12—14).

Дело о Синегубе и других в мае или июне 1874 г. к разбору еще не назначалось, но предварительное следствие действительно к тому времени уже было закончено. Представляя 13 мая 1874 г. министру юстиции Палену оконченное следствие по делу Синегуба, Тихомирова, Стаховского, Борисевича и шести рабочих, прокурор судебной палаты Фукс указал на связь этого дела с делом Чайковского и др. 12 июля 1874 г. главный начальник III отделения Шувалов сообщил министру юстиции, что, ввиду производимого жандармским генералом Слезкиным общего дознания о пропаганде в империи, он не считает удобным давать теперь же делу Чайковского и других дальнейшее движение. Пален ответил (3 августа), что согласен с необходимостью приостановить это дознание.

[** Соображение Чарушина, что одним петербургским кружком программа не могла быть принята, не соответствует действительности. В 1903 г. на запрос Л. Шишко относительно этой записки П. Кропоткин ответил: «Писана вся мною. Поправки сделаны во время прений... После крайне бурных обсуждений, в которых, по особенно революционным пунктам, Чарушин, Перовская, Сергей [Кравчинский] и я всегда бывали в левой крайней, *она была принята нашим петербургским* кружком. Батюшкова ее переписала для отсылки в провинцию нашим же кружкам на обсуждение» (*Б. С. Итенберг.* Движение революционного народничества, стр. 239)].

Тихомиров по делу Синегуба подлежал освобождению из-под стражи на основании постановления производившего следствие члена Петербургской судебной палаты Геракова от 20 февраля 1874 г., но остался в тюрьме как привлеченный в Москве по делу Любавского. Последнее дело было прекращено по отношению к Тихомирову по «высочайшему повелению» от 28 августа 1875 г., после чего Тихомирова во всяком случае должны были освободить; тем не менее его продолжали держать в заключении уже без всякого законного основания, и только в декабре 1875 г. содержание его под стражей было снова «оформлено» соответствующим постановлением судебного следователя, одного из помощников члена палаты Крахта, производившего теперь предварительное следствие по «делу 193-х». Вся эта история с незаконным содержанием под стражей Тихомирова всплыла на «процессе 193-х» и

послужила темой для энергичного выступления одного из защитников, присяжного поверенного Герарда, доводы которого тщетно пытался опровергнуть пресловутый Железовский (см. «Стенографический отчет по делу о революционной пропаганде в империи», т. I. СПб., 1878, стр. 67—69).

К стр. 216

* По вопросу о кассе мы имеем интересное сообщение в показаниях рабочего Якова Иванова, целиком подтверждающее то, что пишет об этом Чарушин, но вместе с тем указывающее и некоторые подробности: «Раз как-то по приглашению Чарушина, Шишко и Клеменца собирались мы в доме № 32 по Малой Невке на Петербургской стороне, куда из рабочих пригласили меня, Егора [Кудряшева], Василия Прейсмана, Данила Прохорова и Андрея Коробова. Тут рассуждали о том, чтобы устроить кассу для помощи рабочим, предлагали собирать с рабочих по 3 коп. с рубля из получаемого каждым жалования в месяц. Касса эта была бы, как говорили учителя, помощью в случае болезни рабочих или когда кто без места, а также и в тех случаях, когда из рабочих был бы кто арестован. Шишко с Чарушиным показывали нам 500 руб., собранные ими для кассы. Касса эта должна была бы также служить и для покупки книг, какие вздумают купить учителя» (ЦГАОР, ф. ОППС, оп. 1, д. 209, л. 234. Показание от 19 апреля 1874 г.).

К стр. 221

* Большой провал в марте 1874 г. сразу оборвал всю налаженную за предыдущие годы работу «чайковцев» в Петербурге. Однако кое-кто из петербуржцев все же уцелел, а некоторые вышли на свободу сравнительно скоро после ареста. В Петербург стали потом стягиваться остатки разбитой армии шедших «в народ», и здесь же со временем проведена была та «переоценка ценностей», которая привела к выработке так называемой народнической программы. Понятно, что «чайковцы» и близкие к ним круги и после мартовского разгрома продолжали обнаруживать в Петербурге некоторые признаки жизни.

Довольно долго петербургский кружок даже формально не прекращал существования и принимал в свой состав новых членов. Чарушин указывает на вступление в кружок осенью 1874 г. Н. Ф. Цвиленева. Но это не единственный случай. Обращаясь к списку «чайковцев», которых застал тот же Цвиленев при своем первом появлении на заседании кружка, мы находим там «А. И. Сердюкова, жену его Любовь Ивановну, А. Я. Ободовскую, А. М. Эпштейн, С. Кравчинского, Н. Драго и, кажется, Левашева» (см. автобиографию Цвиленева в Энциклопедическом словаре Гранат, т. 40, стб. 524). Здесь мы встречаем, таким образом, еще одно новое лицо, вступившее в кружок до Цвиленева — Анну Михайловну Эпштейн. Морозов, присутствовавший на заседании петербургского кружка в ноябре 1874 г., упоминает из участников этого заседания, которых было, по его словам, «человек пятнадцать», следующих лиц: Перовскую, Клеменца, Кравчинского, Лизогуба, Сидорацкого, Эндаурова, Чемоданову-Синегуб, сестер Корниловых. В этом сообщении имеются неясности. Например, из Корниловых могла присутствовать только одна Любовь (Сердюкова), ибо Веры Ивановны уже давно не было в живых, а Александра Ивановна находилась в тюрьме (или, может быть, Морозов имел в виду младшую их сестру Надежду?). Затем вызывает

большое сомнение упоминание о Перовской, которая, если судить по воспоминаниям Вл. Перовского, приезжала в Петербург (после освобождения летом 1874 г. из тюрьмы Перовская отправилась вскоре в Крым, откуда и приезжала на время в Москву и Петербург) не в ноябре 1874 г., а позднее — в начале 1875 г. Это побуждает отнестись с осторожностью и к другим упоминаемым им именам, тем более что Морозов лично большинства присутствующих раньше не встречал; все же мы отметим те новые имена, которые вносят воспоминания Морозова, — это Лизогуб и Сидорацкий (см. *Н. Морозов*. Повести моей жизни, т. II. М., 1933, стр. 108—114). Н. И. Драго тоже называет в своих воспоминаниях в числе членов кружка «чайковцев» Анну Эпштейн и Сидорацкого (*Н. Драго*. Записки старого народника. — «Каторга и ссылка», 1923, № 6, стр. 15); вместе с тем он называет еще две новые фамилии — Богдановича и Зунделевича (при этом Драго всех их относит к «основному первоначальному кадру», что во всяком случае составляет грубую с его стороны ошибку). Юрия Богдановича не раз именует «чайковцем» и Вера Фигнер (например, в «Запечатленном труде»), и она же в заметке о Н. И. Драго называет «чайковцем» Зунделевича, а в статье о Натансоне — и Зунделевича и Лизогуба. Присоединение Богдановича могло иметь место в период 1874—1875 гг., а Зунделевича — только около осени 1875 г. или зимы 1875/76 г.

Правда, — по Морозову — к указанному сейчас моменту кружок уже формально должен был считаться распущенным. Именно, выйдя в марте 1876 г. на свободу (он пользовался ею только две недели, с 9 по 23 марта, затем снова был арестован), Морозов узнал от Кравчинского, что в 1875 г. (весной или летом) петербургский кружок вслед за ранее еще признанными ликвидированными одесским, киевским и московским филиалами тоже был объявлен распавшимся, и немногим остававшимся членам его возвращена полная свобода действий (см. *Н. Морозов*. Повести моей жизни, т. III. М., 1933, стр. 177). Но если такое постановление и состоялось в течение 1875 г., то все же уцелевшие «чайковцы» с некоторыми вновь присоединившимися лицами продолжали держаться вместе. Да и было ли это постановление? Ему как будто противоречит письмо Кравчинского же к Лаврову, опубликованное в заграничном «Былом», 1912, № 14, где автор говорит о «нашем кружке», как о существующем (письмо относится приблизительно к осени 1875 г.). Очень существенное значение для интересующего нас вопроса о дальнейшей судьбе кружка имеют и те обстоятельства, которые послужили поводом к письму Кравчинского. Письмо написано было под влиянием сообщений из России о намечающемся или уже состоявшемся слиянии кружка «чайковцев» с кружком лавристов. Инициатором этого слияния явился Марк Натансон, в 1875 г. вернувшийся (после ссылки и надзора) к активной революционной деятельности. К сожалению, сведения наши об этой организационной попытке Натансона весьма скудны.

Одним из наших источников служат воспоминания самого Лаврова, из которых видно, что объединение было задумано даже в более широком масштабе — со включением московского кружка («фричей» и кавказцев), точнее, его *остатков*. Вот выписка из воспоминаний Лаврова об этом: «Весною 1875 г. в Лондон явился один из самых крупных и искусных организаторов тех «чайков-

цев» и других из них развившихся групп, которые всего далее до тех пор держались от «подготовления». Он привез план общей деятельности с «впередовцами» как этих групп, так и нового кружка «московок» (будущего «процесса 50-ти»), уже гораздо более близких к «впередовцам». Этот план был принят с большим сочувствием, был обсуждаем и установлен в подробностях самым приятельским образом. Зная уважение и внимание, которым пользовалось это лицо в России, редакция «Вперед!» была уверена, что для возможности общей федеративной деятельности с разделением труда между группами представлялась прочная почва, и прощалась с посетителем с полными надеждами. Однако эти надежды не оправдались. В России в кружках, предлагавших сторонникам «Вперед!» общий план действия, оказались элементы, оппозиционные этому союзу или склонные исказить его характер, и всякая дальнейшая работа в этом направлении прекратилась» (*П. Лавров.* Народники-пропагандисты, изд. 2, стр. 247—248).

Лавров безусловно ошибается в определении даты приезда Натансона. По всем данным, Натансон был за границей не весной, а поздней осенью 1875 г. Он виделся там, между прочим, с В. Н. Фигнер, которая тоже вспоминает об описываемом эпизоде из деятельности Натансона и из истории кружка «чайковцев», но не о переговорах с заграничным штабом лавристов, а о попытке осуществления объединительного плана на месте — в Петербурге. «В Петербурге, — пишет В. Н. [Фигнер], — этот неутомимый объединитель добился с большим трудом слияния уцелевших «чайковцев» (Драго, Зубок-Мокиевский, Зунделевич, Лизогуб и другие) с лавристами, наиболее выдающимися были Таксис и врач Гинзбург); но это соглашение не было долговременным — все ближайшие товарищи Натансона и он сам были несравненно более склонны к агитации и по сравнению с лавристами более крайними, чем эти последние, и союз этих двух течений спустя несколько месяцев распался» (*В. Фигнер.* Марк Андреевич Натансон. — «Каторга и ссылка», 1929, № 7, стр. 143).

В июне 1876 г. остатки кружка «чайковцев», с ближайшим его окружением, проявили себя громким актом — организацией побега П. А. Кропоткина из Николаевского военного госпиталя. В этом деле участвовали среди других Орест Веймар, Левашев, Мария Лешерн, Мокиевский-Зубок, Богданович, Зунделевич.

Во второй половине 1876 г. начинается в Петербурге формирование новой революционной организации, получившей потом название «Земли и воли». В выработке новой, «народнической», программы, положенной в основу деятельности «Земли и воли», принимали деятельное участие «чайковцы» Иванчин-Писарев, Драго и Богданович, разрабатывавшие, впрочем, основы новой программы независимо от группы инициаторов «Земли и воли», проводивших ту же работу самостоятельно. Но, несмотря на совпадение взглядов на задачи революционной деятельности у большинства уцелевших «чайковцев» и у основателей нового общества, несмотря также на то, что главная роль среди этих последних принадлежала бывшему главному основателю организации «чайковцев» Натансону, большинство «чайковцев» не вошли тогда в «Землю и волю», а некоторые до конца остались вне ее рядов. Основной причиной этого были разногласия по вопросу о принципах построения революционной организации. «Придерживавшиеся прежней традиции составлять тесно сплоченную, морально одно-

родную и связанную симпатией группу, старые «чайковцы», в сущности уже выбывшие из активных работников (это совершенно неверно в отношении многих из них. — *Ш. Л.*), горячо стояли за прежние основы сплоченности членов организации между собой. Натансон с женой и некоторые из лиц, пришедших к ним, стояли за деловой принцип организации: согласие с программой и уверенность в честности данного лица они считали достаточными для членства» (там же, стр. 144). Отзвуки разногласий между «чайковцами» и землевольцами по вопросу о самом типе революционной организации мы находим даже еще в конце 1878 г. у Клеменца, тогда бывшего редактором «Земли и воли», в его письме к Кравчинскому, где он пишет о своих новых товарищах: «Искусно придуманный шифр, ловля членов, новая конспирация — вот на что они уповают. Вопрос о народе, о поднятии инициативы среди него, вопрос о самодвижущейся партии — все это для них трын-трава!» (*Ш. Левин.* Дмитрий Александрович Клеменц. М., 1929, стр. 82).

Это привело к тому, что слияние не состоялось. На первых порах образовались две почти равные по числу участников группы, но, в то время как «Земля и воля», появление которой выражало новые потребности движения, окрепла и развила широкую деятельность, от другой группы остался вскоре только кружок Веры Фигнер (Вера и Евгения Фигнер, Мария Лешерн, Иванчин-Писарев, Богданович, А. К. Соловьев).

Последняя попытка оживить кружок «чайковцев» была сделана в самом начале 1878 г., по окончании «процесса 193-х», когда многие бывшие деятели кружка вышли на свободу. Образовалась группа человек в 40, в которую входил весь кружок: Фигнер, Перовская, Тихомиров, Клеменц, Кравчинский, Александра и Любовь Корниловы, Мокиевский-Зубок, Морозов, Саблин, Татьяна Лебедева, Франжоли и др. Кружок одобрил народническую программу и выбрал бюро, но на этом, не приступив еще к настоящей практической работе, окончил свое существование (см. об этой попытке в «Воспоминаниях Льва Тихомирова», в «Запечатленном труде» Фигнер, «Повестях моей жизни» Морозова и др.).

[Искания революционных народников середины 70-х годов нашли отражение в работах Г. М. Лифшица: «К истории Московского съезда народников 1875 г.» (см. «История СССР», 1956, № 4); «Революционно-народническая идеология середины семидесятых годов XIX века (Предыстория землевольчества)». Автореферат кандидатской диссертации (М., 1969)].

К стр. 247

* Вторая попытка Ковалика и Войнаральского к побегу имела место 8 апреля 1876 г.

К стр. 255

* Суду было предано 198 человек. Но уже после составления обвинительного акта обвиняемые Иван Беляков и Павел Трудковский умерли в тюрьме; двое из обвиняемых, Леонид Попов и Иван Селиванов, — бежали. Из оставшихся 194 подсудимых к моменту открытия заседаний суда оказалось налицо 193 человека. По этой-то цифре и был назван процесс — и в официальной переписке, и в литературе — «делом 193-х». Во время суда умерли подсудимые Петр Кротонов, Николай Жилинский, Лазарь Тегельман и Виктор Сабелькин, так что приговор касался уже 190 человек.

К стр. 258

* Чтение обвинительного акта началось только в третьем заседании (21 октября). Выступление Мышкина, о котором говорит Чарушин (с изложением причин, которыми были вызваны волнения — «беспорядок» — на первом заседании), состоялось еще до оглашения обвинительного акта, 20 октября. [Об этом см. в книге В. С. Антонова «И. Мышкин — один из блестящей плеяды революционеров 70-х годов» (М., 1959, стр. 52—53)].

К стр. 261

* В первой группе из провинциальных «чайковцев» числились только двое, все же остальные участники местных отделений проходили по другим группам. Сам Чарушин фигурировал кроме первой в группах четвертой, одиннадцатой, тринадцатой и четырнадцатой.

К стр. 262

* Франжоли был приведен в суд не после, а до Чарушина. Дальнейший порядок указан не вполне точно. Следует: Чарушин, Мокиевский-Зубок, Ярцев, Лукашевич, Волховский, Стаховский, Зарубаев, Купреянов, Гриценков.

К стр. 263

* События, излагаемые на страницах 262—263 книги, на самом деле имели место не в одном, а в двух заседаниях — 25 и 26 октября. В заседании 25-го, как показывает стенографический отчет о процессе, никаких новых заявлений со стороны подсудимых после отказа каждого из них (речь идет о протестантах) участвовать в суде не последовало, и они, очевидно, присутствовали при допросе первого свидетеля — Митрофанова. Следующее же заседание, 26-го, началось выступлением Волховского, снова заявившего в резкой и вместе с тем иронической форме о своем нежелании участвовать в суде и потребовавшего категорически своего удаления. Ввиду того неуважения, которое он оказал суду, Петерс распорядился удалить Волховского, а вслед за этим были удалены и все остальные протестанты, заявившие о своем присоединении к сказанному Волховским. После их удаления осталось в зале восемь подсудимых первой группы, из которых только один член кружка «чайковцев» — Ободовская.

[Подробнее о «процессе 193-х» см. в работах: *Ш. М. Левин.* Финал процесса 193-х. — «Красный архив», 1928, № 5(30); *В. С. Антонов.* К процессу «193-х». — «Вопросы архивоведения». 1961, № 1; *Н. А. Троицкий.* Процесс «193-х». — «Общественное движение в пореформенной России». М., 1965].

К стр. 267

* В вопросе об обстоятельствах обратного перевода из Дома предварительного заключения в крепость во время суда части подсудимых есть неточность. Перевод этот был произведен сразу, причем и сам Чарушин был переведен одновременно с остальными.

Непосредственным поводом к переводу послужила речь Мышкина и связанная с нею бурная сцена в зале суда (столкновение с жандармами, насильственное удаление самого Мышкина и других подсудимых). После этих событий, имевших место в заседании 15 ноября 1877 г., первоприсутствующий Петерс препроводил на следующий день (16 ноября) министру юстиции Палену список тех «подсудимых, которых необходимо перевести для содержания из Дома предварительного заключения в С.-Петербургскую крепость». В документе нет никакой мотивировки,

и впечатление от него получается такое, что этот шаг Петерса уже был заранее согласован, вернее, продиктован ему «внешними сферами» и от него требовалось лишь проявить формально инициативу и представить персональный список. В последнем значились следующие подсудимые: Сергей Ковалик, Порфирий Войнаральский, Ипполит Мышкин, Сергей Стопане, Дмитрий Рогачев, Феликс Волховский, Моисей Рабинович, Николай Чарушин, Александр Артамонов, Соломон Чудновский, Петр Макаревич, Алексей Дробыш-Дробышевский, Митрофан Муравский, Виктор Костюрин, Феофан Лермонтов, Павел Максимов, Владимир Мейер, Сергей Синегуб, Анатолий Фаресов, Николай Аносов.

18 ноября Пален переслал список управляющему III отделения А. Ф. Шульцу при следующем письме: «Препровождая при сем доставленный мне тайным советником Петерсом список лиц, которые отказались присутствовать при рассмотрении Особым присутствием Правительствующего Сената дела по обвинению их в преступной в империи пропаганде и дальнейшее пребывание коих в С.-Петербургском Доме предварительного заключения не представляется уже вследствие сего необходимым, и принимая во внимание, что остальные обвиняемые находятся под давлением означенных лиц, которые, как вашему превосходительству, вероятно, также известно, были главными виновниками всех беспорядков, бывших на суде, я считал бы крайне полезным удаление их из Дома предварительного заключения, и потому обращаюсь к вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою, не найдете ли вы возможным сделать зависящее с вашей стороны распоряжение о переводе означенных в прилагаемом списке лиц в Петропавловскую крепость».

Тем же 18 ноября помечен и ответ Шульца, извещавшего Палена, что сделано распоряжение о переводе упомянутых 20 лиц в крепость.

Следовательно, перевод Чарушина состоялся неделей позже указываемого им срока, причем одновременно были переведены еще 19 человек (сравните также описание перевода в крепость в воспоминаниях С. Чудновского «Из давних лет» («Минувшие годы», 1908, № 5-6, стр. 364—366), где эти события изложены в общем более точно, чем у Чарушина).

По окончании суда в связи с приговором последнего несколько человек из списка 20 были вовсе освобождены, но, с другой стороны, к сидевшим уже с ноября в крепости участникам процесса прибавились, тоже переведенные теперь сюда, Жебунев, Зарубаев, Квятковский, Купреянов, Ларионов, Ливанов, Лукашевич, Осташкин, Сажин, Союзов, Чернявский и Шишко.

К стр. 270

* Купреянов умер 18 апреля 1878 г.

К стр. 271

* «Высочайшее повеление» по докладу министра юстиции Палена о приговоре Особого присутствия Сената состоялось 11 мая 1878 г. Десять лет, кроме Мышкина, к которому «высочайшее повеление» не относилось, получили Ковалик, Войнаральский, Рогачев и Муравский; Добровольский же получил девять лет каторги; в остальном приговор указан правильно (не отмечено только, что в срок каторжных работ зачтено было время, проведенное осужденными в предварительном заключении).

К стр. 275

* Из крепости были переведены (23 июня 1878 г.) Тютчев, который был посажен в Коломенскую часть, и Габель. Остальные подследственные были перемещены не в Алексеевский равелин, а в Екатерининскую куртину (см. *Н. Тютчев.* Статьи и воспоминания, ч. 2. М., 1925, стр. 140).

К стр. 277

* Мышкин был отправлен на каторгу один — раньше всех других осужденных, так как приговор о нем Особого присутствия не нуждался в утверждении царя (отправка его состоялась еще в апреле 1878 г.).

Рогачев, Муравский, Ковалик и Войнаральский отправлены 25 июня.

К стр. 278

* Кувшинская (жена Чарушина) и Чемоданова (жена Синегуба) были заключены в Литовский замок 26 июня 1878 г. (не в качестве арестанток, но «без права выпуска»). «Освобождение» их (очевидно, в связи с обстоятельствами, указываемыми Чарушиным) состоялось 3 июля. Накануне отправки партии, в которую были назначены их мужья, Кувшинская и Чемоданова снова были посажены (20 июля 1878 г.) в Литовский замок.

К стр. 279

* Вторая партия (Сажин, Шишко, Союзов, Рабинович, Стопане, Осташкин, Чернявский, Лукашевич, Чудновский и Волховский) была отправлена в ночь на 18 июля 1878 г.

** Сам Чарушин был отправлен не в ночь на 22-е, а с 22 на 23 июля 1878 г., что вполне точно устанавливается документами. Вместе с ним в третьей партии находились Синегуб, Т. Квятковский, Н. Скворцов, Стаховский, Брешковская и следовавшие за мужьями Кувшинская и Чемоданова.

К стр. 284

[* См. «Бюллетень Всероссийского общественного комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина». М., 1924, стр. 16—19.

К стр. 291

* Ш. М. Левин цитирует письмо П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер, опубликованное в «Голосе минувшего» (1916, № 9, стр. 123).

К стр. 298

* Такую справку об А. Д. Кувшинской Н. А. Чарушин прислал Ш. М. Левину. Приводим ее текст.

«Анна Дмитриевна Кувшинская. Дочь священника. Родилась 25 марта 1851 г. Скончалась 11 января 1909 г. Училась в Вятской гимназии, по окончании курса в 1868 г. заняла место классной дамы в Вятском женском епархиальном училище, где вскоре завоевала любовь и уважение воспитанниц старших классов. Затронутая сама передовыми идеями 60-х годов, она приобщала к ним и своих воспитанниц, некоторые из которых, как, например, А. В. Якимова и Л. В. Чемоданова (Синегуб), приняли позднее деятельное участие в революционном движении. «Вредное влияние» Кувшинской к концу второго года пребывания в училище обратило на себя внимание начальницы, поставившей совету училища ультиматум: «Или я, или Кувшинская». Из училища Кувшинская перешла в женскую гимназию преподавательницей математики и в то же время готовилась на курсы при Медицин-

ской академии, куда и поступила в 1872 г. В конце этого же года вошла в состав кружка чайковцев и стала принимать участие в занятиях с рабочими Выборгского района, которые продолжались до ее ареста в марте 1874 г. Предварительное заключение, тянувшееся около четырех лет, отбывала в Спасской части, а затем в Доме предварительного заключения и судилась по «процессу 193-х», по группе чайковцев, причем вместе с остальными чайковцами участвовала в протесте против суда. Освобожденная после суда, вменившего ей в наказание время предварительного заключения, А. Д. Кувшинская с большими затруднениями добилась разрешения на брак с Н. А. Чарушиным, осужденным на девять лет каторги, и последовала за ним на Кару. Последующая ее жизнь в Сибири (18 лет), потом в Вятке, обильная тяжелыми переживаниями, а затем и ее затяжная болезнь, лишившая ее возможности активного участия в общественной жизни, не убили в ней идеалов молодости, которым она оставалась верна до конца своих дней. Всегда отзывчивая и чуткая, она всюду, где бы ни жила, привлекала к себе сердца людей, действуя на них облагораживающим образом. В 1906 г., уже совсем больная, она как издательница местной газеты «Вятская жизнь» за напечатание «Выборгского воззвания» была выслана губернатором Горчаковым за пределы губернии и провела около года вдали от семьи».

К стр. 299

* Статья Ш. М. Левина «К характеристике идеологии «чайковцев»» не затрагивает всех вопросов, связанных с идейным развитием «чайковцев». Одной из проблем, рассматриваемых автором статьи, является вопрос о влиянии бакунизма на «чайковцев». Следует отметить, что в своих дальнейших исследованиях Ш. М. Левин несколько уточнил свою позицию в оценке идеологии «чайковцев», которые, по его мнению, не примкнули «целиком ни к лавристам, ни к бакунистам, в особенности к крайним бакунистам» (*Ш. М. Левин.* Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX в. М., 1958, стр. 362).

В своей статье Ш. М. Левин не рассматривает влияния Герцена, Чернышевского, Добролюбова на мировоззрение «чайковцев». Между тем это очень интересная проблема, исследование которой в последнее десятилетие привлекло внимание советских ученых (см. *Н. А. Троицкий.* Указ. работа, стр. 74—75; *Р. В. Филиппов.* Идеология Большого общества пропаганды (1869—1874). Петрозаводск, 1963, стр. 103—104 и др.)].

Указатель имен*

---

* Составлен Р. Г. Левиной к тексту воспоминаний Н. А. Чарушина, вводной статье и приложениям. В нем даются, как правило, биографические данные персоналий, относящиеся к эпохе 70-х годов XIX в. Фамилии современных авторов в указатель не включены.

Оглавление

Часть II

КРУЖОК ЧАЙКОВЦЕВ. ТЮРЬМА И СУД. 1871—1878 гг.

Чарушин, Николай Аполлонович

О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

Из воспоминаний о революционном движении 70-х годов XIX века

Редактор *О. П. Бочкова*
Младший редактор *Т. В. Яглова*
Оформление художника *Г. Гончарова*
Художественный редактор *А. А. Брантман*
Технический редактор *М. Н. Мартынова*
Корректоры *Т. С. Пастухова*, *Н. С. Приставко*

Сдано в набор 15 февраля 1973 г. Подписано в печать 22 июня 1973 г. Формат бумаги 84×108 1/32, № 2. Усл. печатных листов 21,52 (с вкл.). Учетно-издательских листов 23,34 с вкл. Тираж 34 000 экз. А03809. Заказ № 709. Цена 84 коп.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26.